ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2012

РОМАН АДАМА ФОУЛДЗА
«УСКОРЯЮЩИЙСЯ ЛАБИРИНТ»
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
«УСТРОЕНИЕ САДОВ» ЦЗИ ЧЭНА

Основан в 1955 году

[6]
2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Адам Фоулдз *Ускоряющийся лабиринт.* Роман. Перевод с английского Марии Фаликман

166 Томас Хюрлиман *Рассказы.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. Послесловие Татьяны Баскаковой

Документальная проза

188 Анна Холландер *Взгляд сквозь одежду.* Отрывки из книги. Перевод с английского Вадима Михайлина

Литературное наследие

221 Цзи Чэн *Устроение садов.* Фрагмент трактата. Перевод с китайского, вступление и комментарии Е. Кузьминой

Статьи, эссе

236 Джон Берджер Два эссе. Перевод с английского и вступление Анны Асланян

Обратная перспектива

252 Полина Козеренко *Несколько слов от переводчика*

252 Мариуш Щигел *Вера Саудкова – племянница Кафки.* Перевод с польского Полины Козеренко

255 Гана Бенешова *Кровь Кафки: Вера Саудкова.* Интервью. Перевод с чешского Полины Козеренко

БиблиофИЛ

269 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

275 *Среди книг с* Ю. Л. Оболенской

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

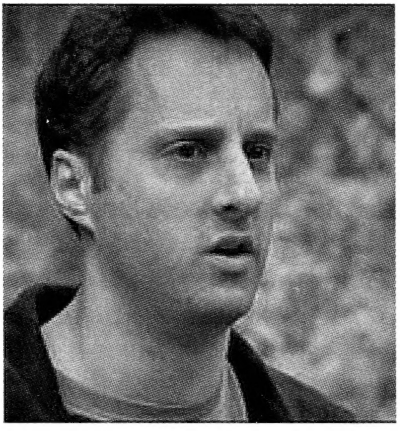
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Адам Фоулдз



Ускоряющийся лабиринт

Роман

Перевод с английского Марии Фаликман

Пролог: край света

ЕГО послали в лес за хворостом и сучьями, что остались на земле после бури. Стоило ему выйти из дома, как в лицо ударил свет — белый день со всеми его мельчайшими подробностями, вот дрозд, который свил гнездо на яблоне, рыхлит клювом землю.

А дальше — дорога к лесу, вересковая пустошь, зовущая вдаль. Тихое поскрипывание желтых можжевеловых веток на ветру манило в неведомую глушь.

Он был деревенский мальчишка и кое-что знал. Знал, что до края земли — не больше дня пути: вон он, там, где у горизонта затянутое облаками небо смыкается с полем. Знал, что, когда дойдет туда, увидит глубокую яму, и стоит лишь в нее заглянуть, как ему откроются все тайны земные. А еще знал, что в воде можно увидеть небо, и, стоя на коленях, неотрывно глядел на свинцовую рябь пруда в гравийном карьере или на мелкий ручеек, что искорками рассыпался по камням.

Reprinted by permission of United Agents Limited on behalf of Adam Foulds © Adam Foulds, 2009
© Мария Фаликман. Перевод, 2012

И он устремился навстречу всеохватному желтому благоуханию. Дров можно набрать и на обратном пути.

Вскоре он ушел от деревни так далеко, как никогда прежде, оставив позади дом — не менявшееся годами, до боли знакомое семейное гнездо. Он ушел за пределы знаемого, в мир, где птицы и цветы доселе его не видывали, где его тень еще не касалась земли.

Это сбило его с толку. Даже показалось, что солнце светит не с той стороны. Но страха не было: солнце щедро лило свет на чудеса нового мира, и мир не переставал изумлять. Однако удивляло, почему старый мир никак не заканчивается, почему горизонт не становится ближе.

Он шел и шел, и прежде чем ему пришло в голову, что утро, должно быть, уже переросло в день, стали сгущаться сумерки. Над кустами запорхали мотыльки. Вдоль кроличьих троп закопошились лягушки, тут и там слышался тонкий мышиный писк. Над головой замерцали первые тусклые звезды.

Настала пора пробуждения духов. Вот тогда он испугался.

Заколотилось сердце, он стал озираться по сторонам и увидел, что стоит на распутье. Чудом выбрал верную дорогу. Между тем темнело, поначалу мгла гнездилась под деревьями и кустами, а потом расползалась дальше, и тут он увидел невдалеке свою деревню. Во всяком случае, она была похожа на его деревню, но слишком долгий путь лишил его уверенности. Вроде бы и она. Да точно она, но что-то с ней не так, словно стоит не на своем месте. Даже возносящаяся над лесом церковь, которую он видел каждый божий день с тех пор, как вообще начал видеть, казалась чужой, ненастоящей. Затрепетав всем своим легким телом, словно сбившаяся с пути птица, он кинулся туда, где надеялся увидеть свой дом.

Имя. Он услышал, как кто-то выкликает его имя. Джон! Джон! Джо-он! Деревенские голоса. Он мог бы сказать где чей. И, не откликаясь, припустил со всех ног к дому, на бегу ощущая прилив облегчения. Когда он вбежал в распахнутую дверь, мать вскрикнула и бросилась навстречу. Вокруг него кольцом сомкнулись руки, он с разбегу уткнулся носом прямо ей в живот.

— Мы уж думали, ты погиб. В лесу. Тебя там ищут. Решили, пришибло... Ох, неужели ты вернулся!

Осень

Поначалу Абигайль шла чинно, поскольку мать только что ее принарядила, одернула платье и разгладила каждую скла-

дочку. Зашуршав всеми складками своего собственного платья, мать наклонилась и провела кончиком пальца по дочкиному носу, повторяя послание, которое следовало передать адресату. Но оказавшись за порогом, где теплое солнышко пробивалось сквозь кроны деревьев, а земля так и пружинила под ногами в туго зашнурованных ботинках, Абигайль не устояла: шаг-другой — и она понеслась вприпрыжку.

Девочка промчалась через сад, вбежала в парк, окружавший Фэйрмид-Хауз, пробежала вдоль ограды, мимо пруда, куда дурачок Саймон бросал камушки: даже она знала, что ему не раз наказывали этого не делать. Заслышав звук ее шагов, он резко обернулся, но очередной камушек уже летел в воду. Тут уж ничего не попишешь: их взгляды встретились в тот самый миг, когда камушек плюхнулся в пруд и по зеленой воде медленно пошли круги. Но, в конце-то концов, она ведь только ребенок. Он шкодливо усмехнулся, понимая, что она никому не скажет. А она уже бежала мимо мистера Стокдейла, санитара, который ей не нравился. Он был большой и строгий, а когда пытался с ней играть, она никогда толком не знала, что у него на уме. А вот и Маргарет — сидит на скамейке, вышивает. Маргарет она любила: ей нравилось это тонкое лицо с острым подбородком, напоминавшее деревянную игрушку, и большие, ясные, добрые глаза. Это была мирная, спокойная леди, и Абигайль подошла к ней и прижалась к ее коленям, чтобы хоть на миг окунуться в ее покой. Маргарет ничего не сказала, лишь провела ладонью по голове девочки, пока та разглядывала вышивку. Нитки были трех цветов: зелеными были вышиты холмы, коричневыми — крест, а черными — лучи, исходившие от креста. Абигайль погладила пальцем выпуклые черные стежки. "Любовь Господня, — прошептала Маргарет. — Свет". И быстро обвила нить, которой вышивала, вокруг пальца Абигайль, а потом еще и еще: "Да объемлет он тебя".

Абигайль улыбнулась. "Доброго вам дня!" — сказала она и припустила дальше, мимо праздно бродивших по саду людей, а увидев отца, со всех ног устремилась к нему.

Мэтью Аллен опустил топор на стоявшее перед ним полено. Лезвие вошло в древесину, да там и застряло, так что Аллену пришлось поднять топор вместе с бревном и с силой ударить оземь. Бревно разлетелось на две равные половины, запрыгавшие по траве. "Вот и все дела", — он наклонился, сложил дрова в тачку, залюбовавшись их белизной, и водрузил на колоду еще одно бревно.

Заприметив несущуюся к нему Абигайль, он передал топор одному из сумасшедших и подхватил девочку на руки. "Пожалуйста, продолжайте, пока тачка не наполнится".

Сквозь одежду Абигайль ощутила тепло его тела. Он коснулся её щеки влажными усами, и она попыталась увернуться от поцелуя.

— Мамочка велела тебе идти домой, потому что они приедут на минуту.

Аллен улыбнулся.

— Она сказала "на минуту" или "с минуты на минуту"?

Абигайль нахмурилась.

— С минуты на минуту, — ответила она.

— Тогда идем скорей!

Абигайль прижалась головой к его шее, вдохнула запах шейного платка и ощутила, как ее ноги подрагивают на весу в такт его шагам, словно она едет верхом на пони.

По пути отца то и дело приветствовали больные: кто кивал, кто менял позу, а дурачок Саймон, который, ясное дело, не бросал камней в пруд, даже помахал им рукой.

У дома, ухватив себя ладонями за острые локти, стояла в ожидании Ханна и сосредоточенно что-то чертила на дорожке носком ботинка. Когда они подошли, она сказала, словно бы оправдываясь:

— Я подумала, мне надо тут стоять, чтобы их встретить, раз уж никого больше нет.

Аллен рассмеялся:

— Уверен, что даже поэт способен позвонить в звонок.

Он отметил, что дочь уткнулась взглядом в землю и оставила его замечание без внимания. Абигайль вертелась у него на руках, ведь езда закончилась, и он спустил малышку наземь. Та тут же отбежала на несколько ярдов, чтобы подобрать какую-то особенно интересную палочку. Парадная дверь открылась, и к ним присоединилась миссис Аллен.

— Чудесная погода! — произнесла она.

— А нас не слишком много? — спросила Ханна. — Мы не напугаем его брата?

— Не только брата, но и его самого, — подхватил отец. — Впрочем, теплая семейная встреча не должна причинить никому из них вреда.

— Я постою с вами немного и пойду, — сказала Элиза Аллен. — У меня полно дел, просто я увидела вас всех тут на солнышке и не удержалась. Ой, смотрите-ка, а вон и Дора выглядывает!

Ханна обернулась и увидела в окне лицо сестры. Она не выйдет, это же яснее ясного. Не любит она необыкновенных людей. Она любит самых что ни на есть обыкновенных и готовится к свадьбе, после которой лишь такие и будут ее окружать. Дора исчезла из виду, словно рыба с поверхности воды.

— Аби, брось сейчас же! — строго приказала мать. — И не вытирай руки о передник! Иди сюда!

Аби медленно, чуть пристыженно приблизилась к ним и позволила матери вытереть ей руки носовым платком.

— А где Фултон? — спросила мужа Элиза.

— Уж наверняка без дела не сидит. Да и нам всем нечего тут задерживаться. Никто же не пишет наш семейный портрет.

Нет, совсем не так Ханна представляла себе эту встречу. Вокруг, хотя бы в первый миг, не должны были толпиться домочадцы, а сама она должна была оказаться здесь, у крыльца, по чистой случайности — ну, или хотя бы сделать вид, что вовсе никого не ждала. Одинокая и привлекательная семнадцатилетняя девушка, да что там, лесная нимфа, которую нечаянно приметили во время прогулки — вот кем ей хотелось казаться. И она принялась глядеть на дорогу, насколько хватало глаз. Но дорога резко уходила вправо, а лес, как ни вглядывайся, мешал увидеть, что там за холмом. Но она чувствовала, как они приближаются, как приближается что-то очень важное. Кто знает, чем все обернется? Ей не следует ждать слишком уж многого: невелик шанс, что ее надежды оправдаются. Но вдруг? Безусловно, вот-вот что-то произойдет. Вот-вот появятся новые люди.

И началось. Показался экипаж из Вудфорда, на крыше громоздились чемоданы, лошади покорно взбирались на холм, кучер хлестал их кнутом по широким спинам. Надеясь, что никто не заметит, Ханна быстро пощипала себя за щеки, чтобы придать им цвет. Миссис Аллен подхватила Абигайль и усадила к себе на колени. Мэтью Аллен обеими руками пригладил усы, одернул жилет и расправил узел на шейном платке.

Когда экипаж подъехал к крыльцу и кучер поприветствовал их, поднеся руку к шляпе, Мэтью Аллен шагнул вперед и открыл дверцу.

— Господа Теннисоны, — проговорил он густым профессиональным басом. — Добро пожаловать в Хай-Бич!

Из темного нутра кареты, где двигались длинные руки и ноги, послышались кашель и спасибо.

Когда оба брата вышли из кареты, Ханна придвинулась ближе к матери.

Теннисоны были высоки, гладко выбриты и чем-то неуловимо похожи друг на друга. Они приветствовали трех женщин почтительными поклонами. Ханна хотела было что-то сказать, но передумала. Она услышала голос матери: "Добро пожаловать, джентльмены!" Один из Теннисонов пробормотал что-то в ответ. Они стояли, моргая и переминаясь с ноги на ногу, видно, устали от езды в темной и тесной карете. Оба принялись раскуривать трубки.

Доктор Аллен вместе с одним из Теннисонов отвязали и спустили на землю чемоданы. Оба брата были красавцы, хотя один, пожалуй, выглядел чуть более ранимым и чувствительным — интересно, поэт или меланхолик? Ханна ждала, когда они вновь заговорят. Ей не терпелось узнать, кто из них станет отныне занимать все ее мысли.

Джон проснулся и понял, что не чувствует половины тела. Он потянулся рукой к лицу, ожидая нащупать шершавую ледяную корочку, и отдернул руку, ничего не ощутив. Стало быть, одно из двух: либо погода нынче теплая, либо он не на улице. Вот и воздух вокруг него — недвижимый, неживой. Итак, он в комнате, под замком.

Еще некоторое время он не открывал глаз, плавая в своей собственной, внутренней темноте, не желая узнавать, в какой именно он комнате, — хотя, по правде говоря, и так знал. Но что если он не здесь, а в другой, правильной комнате, и Пэтти встала первой и возится с детьми.

Медленно приоткрыв глаза, он увидел перед собой темные серые стены. Пригрезившаяся ему изморозь на теле, которую он принял было за истинное прикосновение мира, на поверку оказалась ничем иным, как застарелым парезом, приключившимся с ним из-за того, что ему некогда довелось спать под открытым небом. И он не дома. Вот окно, где брезжит тусклый осенний свет. А в окне — два дерева, кажущиеся изогнутыми в неровном стекле.

Он слышал, как внизу снуют туда-сюда обитатели дома, слышал бодрый голос миссис Аллен. Вскоре она за ним зайдет, чтобы проводить через сад к дому доктора, на завтрак, ведь он вел себя хорошо.

Он откинул одеяло, опустил слабеющие белые ноги на чистый деревянный пол, и ему тотчас же захотелось снова лечь и не ложиться, и куда-то идти и никуда не ходить, и быть не здесь и быть дома.

Джон намазал на хлеб толстый слой масла и откусил. Те, кому позволяла диета, получили отбивные, над которыми и трудились теперь с ножом и вилкой, включая Чарльза Сеймура, аристократа, который вообще не был сумасшедшим. Сегодня он снизошел до того, чтобы позавтракать вместе со всеми. Доктор излагал его родословную вновь прибывшим так, словно речь шла о породистом мастифе. За столом велись светские беседы, всё больше о Кембридже, этом счастливом, неведомом мире, а Джон молчал. Постепенно умолкли и все остальные. Джордж Лэйдло разговаривал сам с собой, едва за-

метно шевеля губами, — как обычно, производил какие-то фантастические подсчеты размеров государственного долга. Фултон Аллен наворачивал за обе щеки, подбирая соус нанизанным на вилку кусочком хлеба. Маргарет молча поклевывала свой завтрак. Ханна Аллен не сводила взора с новичка, Септимуса Теннисона, голова которого тряслась, а глазам, казалось, было больно смотреть вокруг, и поэтому, натолкнувшись взглядом на предмет, он прятал их, словно улитка рожки. Долговязый и поблекший — вот какой он был, этот Септимус. Нет бы Ханна глазела на него, на Джона! Он облизнул с зубов нежное масло и подумал, что был бы не прочь отведать ее, эту бледную прелестницу. Интересно, какова она на вкус в гнездышке между ног? Хотел бы он увидеть, как краснеют ее щечки, услышать сбивчивое дыхание. Доктор, не прекращая жевать, улыбался всем подряд.

— У нас на сегодня куча дел, а? Джордж, вы работаете в огороде, согласны?

Джон лежал в теплой ванне, поглаживая свой белый живот, погружая в него пальцы, словно в мягкое тесто. Где-то под животом то и дело всплывал на поверхность член, и от прохладного воздуха становилось щекотно. Джон откинулся назад, руки свободно плавали по бокам, вода плескалась вокруг ушей. Он лежал так тихо, что чувствовал, как в воде отдаются удары его сердца.

В дверь забарабанили: "Пять минут, мистер Клэр".

Питер Уилкинс был уже стар. Его тяжелое лицо увяло и обрюзгло, а нижние веки водянистых глаз обвисли, открывая не меньше четверти дюйма красной изнанки, словно у поношенного пальто с разошедшимися швами. Он был сыт по горло смирительными рубашками, купаниями, заговариванием зубов и теперь взял на себя обязанность охранять ворота. Он никогда не утверждал, что именно это считает теперь своей работой, особенно если ему пытались перечить и указывать на его прежние обязанности. Нет, он просто шел каждое утро целенаправленно, пусть не слишком быстро и не слишком заметно, к воротам и там стоял.

Казалось, на выразительном лице бывшего санитара отпечаталась вся его долгая жизнь, и Джон считал каждую встречу с ним подарком, как если бы ему перепало что-то вкусненькое. Когда Уилкинс открыл перед ним ворота, выпуская на работу, Джон поблагодарил старика, приподняв шляпу.

Быстрыми, легкими шагами разнорабочего поднимался он в гору к саду адмирала, думая, что ведь и телу нужно порой

дать немного разогреться и размяться. Даже начал насвистывать песенку "Повяжи платочек желтый", которую он давным-давно услышал не то от цыган, не то от приятелей и переложил для своей новой книги, а книга так никогда и не вышла, приказала долго жить на одном из столов в тесной лондонской конторе. До чего же легко попрать и отвергнуть истинную жизнь человеческую. Он громко запел: "Но фаты-друзья разорили меня, разорили меня в пух и прах", запел и умолк: слишком уж остро он все это чувствовал и слишком несвободно ощущал себя, опрощаясь в чужих словах, в то время как у него было столько своих. А кроме того, он увидал впереди двух угольщиков, грязных и сутулых, с черными невыразительными лицами. Надвинув шляпу на глаза, он подождал, пока они пройдут, а потом призадумался, не приняли ли они его за одного из сумасшедших.

Когда они скрылись из глаз, он вновь вгляделся в лес. Сырость. Покой. Промельк крыльев. Туман средь корявых стволов.

Когда он работал в саду у адмирала, ему неожиданно составила компанию зарянка. Она слетела к нему, привлеченная землей, которую он рыхлил, и, подрагивая на тоненьких ножках, не сводила с него выжидающих глаз. Джон заметил рядом со своей лопатой извивающегося червяка, подхватил его и бросил птахе. Та отпрыгнула было в сторону, но вернулась и червяка склевала.

Он глядел во все глаза, он весь был здесь, в этом самом месте и в это самое время, и мир предстал перед ним во всем своем безмолвии, распахнулся ему навстречу. Мир нежно дышал где-то совсем рядом, и все вокруг становилось ранимым, милосердным, полным тайн, принадлежащим ему и только ему. Потерянное возвращалось. Оно ждало его так долго, и теперь почти узнало его. А уж он-то знал и воспевал его всю свою жизнь. И, узрев его сейчас, среди праздности и страданий, Джон почувствовал, как глаза его полнятся теплыми слезами.

Его слишком легко растрогать — он и сам это знал. Вечно взволнованный, одним словом, комок нервов. Отерев рукавом слезы, он вернулся к работе, к ее легкому ритму и ощущению тяжести в руках. Безболезненное назначение. Да и работа легкая, не в пример обжигу извести или молотьбе. Он ударил по кому жирной эссекской глины и припомнил легкий цеп, который отец сделал ему, когда он был еще мальчишкой. Работая бок о бок со стариком, который споро, безо всяких усилий наносил удар за ударом, он пытался не отставать, руки горели, рубаха насквозь пропотела, влажная кожа зудела от

колючей зерновой пыли. Хил, да усерден — вот как говорил о нем отец.

— Добрый день, Джон. То есть утро.

Это был адмирал, как обычно, осанистый и величественный. Джон с самого начала подозревал, что сейчас, в отставке, он стал осанистее и величественнее, чем в ту пору, когда служил на море. Он был безупречно одет и очень тщательно причесан, остатки седых волос зачесаны на лоб, синий мундир вычищен, словно лошадь перед скачками. Должно быть, он был знаком с Нельсоном.

— И как у нас сегодня дела?

Джон встал, его пять футов два дюйма от земли против роста адмирала казались убогими и ни на что не годными.

— Очень хорошо, сэр. Чудесный день.

— И в самом деле, — адмирал выпростал из-за спины руку и указал на лес. Джон, словно пес, посмотрел на руку, а вовсе не в том направлении, куда она указывала. Он и забыл, какие у адмирала скрюченные и отечные руки, как похожи его узловатые пальцы на корни имбиря. Джон удивился, что адмирал без перчаток — наверное, ему просто не удалось их надеть. — Да, — сказал адмирал, — что за славная осенняя погода. А меня ждут в гости в городе, — объявил он. Джон со значением кивнул. — Так что я отправляюсь в Вудфорд, дабы препоручить свою бренную плоть поезду. — Адмирал улыбнулся.

Улыбнулся и Джон.

— Желаю вам добраться в целости и сохранности, — сказал он.

— Да, — медленно ответил адмирал. Похоже, ему пришлась не по нраву прозвучавшая в словах Джона искренняя озабоченность. Да и то, кого может порадовать мысль о собственной гибели на противоестественной скорости. — Да. В самом деле. Так что я должен с вами раскланяться. Передайте от меня привет доктору и миссис Аллен. Да, кстати. Кто-то снял Бич-Хилл-Хауз — сдается мне, какой-то из друзей доктора. Вы случайно не знаете, кто?

— Боюсь, что нет, сэр.

— Ну что ж. Тогда я пошел.

Адмирал захлопнул за собой ворота и стал спускаться с холма, сцепив толстые руки за сухощавой спиной.

Джон с завистью просвистел ему вослед: "Но фаты-друзья разорили меня, разорили меня в пух и прах". Вечер в Лондоне со старыми, сумасбродными приятелями — вот чего ему не хватает. Он почувствовал, как плоть его стремится к пиву, жаждет опьянения, чтобы мир размяк и поплыл вокруг него. Снова натянуть зеленую куртку, в которой он выглядел деревенским

клоуном в глазах друзей из "Лондон мэгэзин" с их ершистыми литературными спорами, с их острыми, передаваемыми из уст в уста эпиграммами, разбросанными в гуще разговора тут и там, словно алмазы в породе. А потом — бахвалиться и надувать щеки, а обстановка то и дело меняется, словно задники во второсортном театрике, и вот он уже с какой-то юной пышечкой, и ее гнездышко щекочет ему нос, в то время как он, напрягая язык, пробует ее на вкус, а потом гасит в ней свой пыл — о, это дивное освобождение — и стискивает ее в объятиях, стирая скулой румяна с влажной от пота щеки.

Он мог бы наведаться по старым адресам, отыскать былых приятелей, полысевших, раздавшихся, работавших лишь от случая к случаю после того, как журнал закрылся. Но толку-то: все это ушло, а он уйти не может, напомнил он сам себе. Он пациент, узник. Он должен вернуться к Аллену. И вообще, ему бы хоть этот день продержаться. У Джона возникло неодолимое желание по чему-нибудь ударить. Но Природа отстранилась от его маленькой грязной ярости и оставила при своем.

Он работал до сумерек, а потом пошел обратно. Ворота ему отворил Питер Уилкинс. "Поторопитесь, — сказал он, — а то опоздаете к вечерней молитве".

Чарльз Сеймур сидел за столом и писал. Его камердинер, которому некуда было податься в этом проклятом месте, торчал у стены за его спиной, точно конвоир.

...Ты советуешь мне утешать себя мыслью о свободе. Я вижу, как ты пытаешься, дорогая моя малышка, ободряюще мне улыбнуться сквозь слезы, но не думай, что я верю, будто ты это всерьез. Тем не менее, позволь мне ответить. Во-первых, когда тебя помещают в заведение наподобие этого...

Макнув перо в чернила, он уставился в стену.

...о свободе думаешь в последнюю очередь. Я под замком в сумасшедшем доме, будучи в здравом уме и твердой памяти, и желания мои тоже под замком.

Тут он остановился, оценивая взглядом свою несдержанность, но фразы не вычеркнул.

Отец привез меня в эту дыру, чтобы помешать нам соединиться, и я до сих пор здесь. Я понимаю, что ты имеешь в виду мою свободу от обязательств, то есть свободу от тебя. Не

стоит и говорить, что для меня это не свобода, а как раз наоборот. На что мне свобода, если я не могу обрести того, чего желаю? Такая свобода — бесполезное бремя, если она вообще возможна...

А может, Он — за деревьями?

Ну, конечно, Он там, Он пронизывает их насквозь, ведь они — Его творение, но Маргарет ничего подобного не чувствовала. Познав Его в истинном живом Духе, она отнюдь не стала поборником традиции и знала то, что знала. Она вновь и вновь ощущала Его за деревьями, за всем этим тварным миром, и деревья, подобно стражам, вытягивались в полный рост, словно хотели ее от чего-то оградить. Они тянулись друг к другу ветвями, не пуская ее и творя тьму в гуще леса. Нет, не тьму — чтобы обрести Его, ей нужно научиться взвешивать слова и иметь ясную голову, — просто сумерки. Из-за самого обычного листопада воздух казался разноцветным.

Ей, жалкому созданью, отмеченному печатью греха, ничего не остается, кроме как сидеть и ждать в невыносимом отдалении. Это отдаление превосходит любое другое в подлунном мире. Оно абсолютно. Но и здесь есть свое утешение: отдаление — знак Его силы и славы. Разделяющая их стена их же и связывает, воссоединяет, разделяя. И этой заветной близостью отдаленность цепляла, трогала ее и сама по себе была Его откровением. На нее можно было положиться.

Маргарет натянула на пяльцы новый кусок кисеи. Несколько готовых образцов уже лежали на столике у нее в комнате. Скоро она раздаст их. Они были лишь слабыми отголосками Истины, но вышивание умиротворяло, ей нравилось видеть, как решительно встает перед глазами крест, слышать шуршание нити, продеваемой через канву. Благодаря вышиванию дух ее достигал столь высокой степени созерцательности, что она уже не слышала ни криков безумцев, ни завываний бури, ни стука и потрескивания раскачиваемых ветром ветвей.

Но сколько ей еще ждать? Ведь она может и умереть. Умереть и никогда не узнать и затеряться во тьме.

И Маргарет задумалась, не пора ли ей снова начать поститься.

Альфред Теннисон нацепил монокль и, чуть наклонившись, принялся с пристрастием разглядывать френологический бюст, возвышавшийся на письменном столе Мэтью Аллена. Для начала он прочел несколько ярлычков на гладко отполированной поверхности головы, где значились названия соответствующих умственных органов. Эротизм. Уступчивость.

Идеализм. Начисто лишенная эмоций, стереотипная человеческая голова так и пестрела разнообразными способностями.

— Удивительное дело, — не умолкавший ни на миг доктор, заметив интерес гостя к этому украшению своего кабинета, тотчас же сменил тему, — чем дальше, тем больше утверждаюсь во мнении, что подобные категории, вообще говоря, носят символический характер. Быть может, в самых общих чертах они определены верно, но должен признать, что в своей врачебной практике я не встречал столь однозначных соответствий. Впрочем, карта по-своему полезна, поскольку позволяет не упустить из виду все те стороны человеческой натуры, которые нам следует принимать во внимание.

— Как-то раз некий господин взялся анализировать мои шишки, — откликнулся Теннисон. — И не могу сказать, чтобы меня потрясла глубина его анализа. Он явно переоценил мою бодрость и жизнелюбие — должно быть, потому что я крупного телосложения и только что отобедал с друзьями, с которыми мы, так сказать, малость выпили.

— Ну да, ну да. В этой области, знаете ли, полно шарлатанов, тьма-тьмущая, но вы о них и думать забудьте. Таких только в цирке показывать.

Мэтью Аллен огляделся, размышляя, что бы еще показать гостю. Он был взволнован тем, что принимал в своем личном кабинете столь высокообразованного молодого человека, и хотел поразить посетителя широтой своих изысканий. А пока наблюдал, как Теннисон снова раскуривает трубку, как втягивает гладко выбритые щеки, поднося огонь к чашке с опаленным табаком. У него была крупная, бесспорно красивая голова и гладкая смуглая кожа. Под сводом лба, высота которого несомненно указывала на интеллектуальную мощь, складывались многообещающие стихи. Внешность его разительно отличалась от внешности бедняги Клэра, но в форме лба было что-то общее. Поэт оценивал себя верно: бодрости и жизнелюбия ему явно недоставало. Случай, конечно, не столь тяжелый, как у его брата Септимуса, но и Альфред Теннисон двигался медленно, словно бы пробираясь сквозь вязкую паутину мыслей и сомнений. Возможно, дело усугублялось сильной близорукостью, из-за которой мир казался ему туманным и ненадежным.

Пока Мэтью Аллен оценивал гостя взглядом профессионала, Теннисон потянулся за минеральным образцом и, поднеся его почти вплотную к моноклю, загляделся на множество отливающих металлом граней. В сверкающем беспорядке прямых углов он увидел скопление наседающих друг на друга крохотных стен и крыш, похожих на разрушенный землетрясением город.

— Железный колчедан, — пояснил Аллен. — У меня тут по всему кабинету преизрядно образцов. Я все еще не отказался от мысли собрать коллекцию всех минералов, какие встречаются на Британских островах. Увы, пока моя коллекция далеко не полна. Знаете, некоторое время я вплотную занимался химией. Вот смотрите, — Аллен пересек комнату и, подойдя к полке, повел указательным пальцем по книжным корешкам, пока наконец не нашел пять одинаковых тонких книжиц. Одну из них он вытащил. — Мои лекции по химии. Я читал их некоторое время тому назад в Шотландии. Карлейль — знаете Карлейля? — да, Томас Карлейль ходил меня слушать, как сейчас помню. Мы с ним водили знакомство, когда оба жили в Эдинбурге. Если хотите, я мог бы взять вас с собой в Челси и представить ему.

— Я уже имею честь быть знакомым с ним и с Джейн.

— О, рад за вас. Тогда нам надо будет как-нибудь вместе их навестить. С тех пор как пустили поезд до Вудфорда, это проще простого.

Теннисон открыл книгу, которую передал ему Аллен, и прочел несколько строк об испускании тепла нагретыми предметами. Он имел об этом кое-какое представление благодаря своим домашним занятиям в Сомерсби, где, запершись в библиотеке от гомона домочадцев и возни комнатных собачек, всякий раз вынужден был собирать волю в кулак, чтобы не бросить учебу раз и навсегда. Но он бы ни за что не осмелился выступать с лекциями по этой теме. Похоже, доктор — человек эрудированный и одаренный. И у них общие друзья.

— Испускание тепла, — пробормотал он, отрываясь от книги.

— Ну да, ну да, — с радостью подхватил доктор. — Мое главное утверждение в этой работе, как обычно, состоит в том, что за феноменом теплоты, да и за любым другим феноменом, я усматриваю единую первооснову, имя которой — Верховная Сила.

— Верховная Сила?

— Точно так. Общая причина, объединяющий фактор. В мире все едино. Тепло и свет — лишь проявления, равно как живые организмы и их жизнелюбие.

— И энергия. И мысли.

— Да, и мысли. Энергия мысли — в ее течении.

— Я смотрю, вы своего рода спинозист. — И Теннисон в самом деле засмотрелся: перед его взором простерлась белая материя, ослепительно светящаяся, чистейшая, текущая сквозь самое себя, вздымающаяся волнами, заряженная силой, беспредельная. И мир наполнился многообразием

форм, их беспрестанным движением: устремляющиеся ввысь ветви деревьев, океанские волны, математическая выверенность морских раковин, полет стрекоз. Нескончаемая круговерть перемен. — Вот они, все метаморфозы живых существ, — сказал Теннисон, указывая трубкой на окно.

— Именно! — сияя, отозвался Аллен. — Лес — лучший пример.

Лес перетекал сам в себя, тянулся вверх, слабел, вновь разрастался. Да, да. И мысль, нестихающая волна, неустанно меняющаяся — цвета и формы, льющиеся в мир, их биение в языке.

— И неживая природа, неорганические вещества — в них ведь тоже заключена своя энергия.

— В своих философских размышлениях и я склоняюсь к этой точке зрения, — подхватил Теннисон.

— Ну надо же. Будучи поэтом, вы чувствуете...

— Будучи ребенком, — начал Теннисон, заражаясь воодушевлением собеседника и чувствуя, как пустая болтовня, обычная для шапочного знакомства, перерастает в свободное течение истинной мысли, — будучи ребенком, я умел вводить себя в транс, вновь и вновь повторяя свое имя, пока окончательно не терял свое Я. И тогда я превращался в существо, сливающееся... ну, или поддерживаемое чем-то большим, поистине необъятным. Отвлеченное, теплое, безликое и устрашающее — вот какое оно было.

— Верховная Сила?

— Возможно, возможно. Да, разумеется, она самая. Я хочу сказать, что если наше допущение в принципе верно, то что же это еще могло быть?

Доктор Аллен не стал говорить "психический феномен". Минуту-другую они просто улыбались друг другу. Какое пьянящее, дивное чувство — увидеть в собеседнике отражение своих сокровенных размышлений о Вселенной, о самом бытии.

— Как бы я хотел, — сказал Аллен, — продолжить этот разговор. Вы ведь еще здесь у нас побудете?

— О, да. Я как раз вчера снял дом.

— Чудесно, просто чудесно! Вы, вне сомнения, украсите собой эппингское общество, даже если оно не слишком вас достойно. И опять же вы будете рядом с Септимусом, для него это сейчас очень важно!

При упоминании о больном брате Теннисон склонил голову. Былое воодушевление оставило его, сжавшись до мучительного, жгучего стыда. Так нередко бывало, когда он слишком уж перед кем-нибудь раскрывался; а сейчас стыд

был еще острее из-за мысли о Септимусе. Его полные губы сжались. Заметив это, Аллен решил его подбодрить.

— Не сомневаюсь, что дела у Септимуса скоро пойдут на лад. Я обнаружил, знаете ли, что меланхолия, этот чисто английский, если угодно, недуг, вполне поддается излечению. Веселое общество, моцион, домашняя обстановка, возможность излить душу...

— Излить душу?

— Да-да, поведать о своих тревогах и несчастьях. Я нередко замечал, до чего же полезно бывает дать больному возможность, так сказать, выговориться.

Теннисон выдохнул целый клуб дыма:

— Стало быть, скоро вы услышите все о нашей семье.

— Не исключено. Однако я не делаю никаких определенных выводов из того, что рассказывают мне эти бедняги. Суть не в этом. Так или иначе, семью... — тут доктор улыбнулся, — никак нельзя назвать главным источником наших душевных недугов. Не вижу ничего дурного в том, что человек происходит из той или иной семьи. К тому же обычно у нас нет выбора.

— Погодите. Она еще себя покажет. Черная кровь Теннисонов.

— Вы хотите сказать, у вас семейная предрасположенность? К чему же — к меланхолии? Или к иному душевному расстройству? Очень часто...

— Да, семейка у нас не из спокойных. Должно быть, принимаем жизнь слишком близко к сердцу.

— Ах, вот как, — Мэтью Аллен склонил голову и замер, ожидая, что Теннисон разовьет свою мысль.

— Видите ли, я сам привез сюда брата, поскольку не исключал, что в один прекрасный день тоже могу оказаться в вашем заведении. А теперь решил пожить здесь, в этих краях, в новой для меня обстановке.

— В самом деле?

— Да. Подальше от всех. Хотя здешний лес довольно-таки мрачен.

— Всему виной осень. В другое время тут, знаете ли, всё в цвету и полно зелени. — Хотя по всему кабинету плавали густые клубы дыма, Теннисон вновь раскурил трубку. — Не вижу ничего постыдного в ваших трудностях. В некотором смысле, даже наоборот. Они служат доказательством великой душевной силы, стремящейся исчерпать себя до дна — в вашем случае, в творчестве. Полагаю, вам известны и другие подобные случаи среди поэтов.

— Разумеется. А как же. За все надо платить.

— Но не слишком дорого, — улыбнулся Аллен. — Очень рад, что вы зашли и немного познакомились с моими увлечениями. Мне следовало бы уделять им больше времени. Боюсь, в терапии душевных расстройств я уже сделал все назначенные мне судьбой открытия. А дальше — только рутинная работа, которая со временем начинает утомлять.

— Неужели?

— О, разумеется, я предан ей всем сердцем. Но в то же время ощущаю потребность в чем-то новом, что открывало бы простор для исследования и творчества. И опять же приходится все время помнить о деньгах, особенно когда у вас дом и семья.

— Правда? Не сомневаюсь, что при вашем уме вы всегда сможете что-нибудь придумать.

— Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, мне кажется, что узкая специализация — не самый удачный выбор. Если вы ищете первооснову, то ваша умственная деятельность должна быть разнообразна. Бэкон — вот лучший пример.

— В самом деле? У меня в Кембридже есть друг, который готовит к печати его труды. Хотите, я вас познакомлю?

— Что ж, это было бы чудесно, благодарю вас, — ответил Аллен и горячо пожал молодому поэту руку. — Знаете, а не пройтись ли нам? Мне нужно проведать одного больного.

Сидя у окна с книгами наготове, Аннабелла, чтобы убить время, набрасывала портрет Ханны. Они ждали свою учительницу французского, мадемуазель Леклер, которая вот уж никак не походила на мадемуазель. Это была коренастая старая дева откуда-то из Пикардии с широким бледным лицом, длинным белым носом и срезанным подбородком. Девочкам было уже поздно учить язык, но они не переставали совершенствоваться, поскольку готовились к замужеству. Мадемуазель Леклер понимала, что их занятия — не более чем модное развлечение, и потому была добра и всячески ободряла учениц, не сердясь на них за bêtises[1]. Ее полные плечи и кислый запах, доносившийся изо рта, когда она читала, порой вызывали у Ханны чувство неловкости.

Не то чтобы Ханна Аллен была во всем довольна собственной внешностью. В общем и целом она заслуживала одобрения: стройная, светловолосая, да и грудь вполне сносная. Хоть и поменьше, чем у ее сестры Доры, но зато и не такая грузная, не как у взрослых женщин. Однако ее бледность ни-

1. Глупые ошибки (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

как нельзя было назвать привлекательной. Пожалуй, эта бледность, которую она, конечно же, унаследовала от шотландских предков, будила желанные и даже достойные зависти ассоциации с Байроном и Скоттом, вот только губы выглядели словно окровавленные. А зубы, которые были совершенно обычного цвета, на этом фоне казались желтоватыми. Ресницы у нее были белые, а брови цвета яровой пшеницы.

Аннабелла так пристально ее разглядывала, то и дело отвлекаясь от рисунка, что Ханне стало слегка не по себе. Но понаблюдав, как подруга отрывает взор от листа бумаги и смотрит ей прямо в глаза, Ханна поняла, что на самом деле их взгляды не встречаются: Аннабелла вглядывается в какую-то часть Ханниного лица. Сама Аннабелла была бесспорно хороша, прелестна до такой степени, что, глядя на нее, Ханна неизменно задавалась вопросом, отчего так получается, что́ делает человека красивым. Красота людская так мимолетна и так изменчива, и среди отцовских больных она видела немало примеров угасшей, искаженной и извращенной красоты, но Аннабеллу красота не оставляла ни на миг. Она была красива в любое время дня и ночи. У нее был дивный цвет лица, и она очень мило краснела. А еще — большие темные глаза и полные губы, особенно нижняя, причем Аннабелле даже не приходилось их специально надувать. Если бы Ханна была мужчиной, она наверняка мечтала бы об Аннабеллином поцелуе. Но решительно отличала ее подругу от множества просто миловидных девушек шея — длинная, стройная, с таким грациозным изгибом. А сзади колечками вились нежные темные локоны, выбившиеся из шпилек. При виде их Ханна испытывала к Аннабелле такую же нежность, какую питают к ребенку, но было в этой нежности и что-то плотское. Если бы её подруга не относилась к своей красоте столь беспечно, по сути, не замечая ее, это было бы невыносимо. Пока же великая сила ее красоты проявлялась лишь в ее воздействии на других людей, но никак не в ней самой. Она была верной и лучшей подругой Ханны с самого детства, с тех пор как Аллены переехали в Эппинг. Аннабелла жила в тихом маленьком домике неподалеку от Ханниного. Ее отец был мировым судьей, уважаемым человеком, и Мэтью Аллен по приезде нанес ему визит вежливости. Увидев в доме у судьи милую и скромную девочку, ровесницу Ханны, он незамедлительно их познакомил, и с тех пор они росли, почти не разлучаясь. Ханна уже поделилась с Аннабеллой новостью о приезде мистера Альфреда Теннисона.

— А после этого ты его еще видела?

— Он был у нас, заходил к отцу, но мы разминулись.

— Ну что ж ты так, — улыбнулась Аннабелла. — Расскажи же мне снова, на кого он похож.

— На поэта, полагаю, — рассмеялась Ханна.

— Что, маленький и пухленький, как мистер Клэр?

— Нет, — отрезала Ханна. — Нет. И вообще, мистер Клэр — поэт-крестьянин, а Альфред Теннисон... — Ханне нравилось, как разворачивается, словно полотно, его длинное имя, — нет. Я имею в виду, что он задумчив. Иначе говоря, погружен в свои мысли. А еще он высокий.

— А какого роста?

— Высокого. Шесть футов или даже выше.

— А красивый?

— Аннабелла!

— Ну скажи!

— Да. Темноволосый. Широкоплечий. Чисто выбрит. Носит накидку и шляпу с широкими полями. Весьма похож на испанца.

— Да ты, небось, в жизни не видала ни одного испанца.

— Зато читала. И все знают, как выглядит типичный испанец.

— Все знают, как выглядит типичный испанец, — повторила Аннабелла. Девушки как раз достигли возраста бурного подражания и то и дело повторяли друг другу фразы и жесты других людей, чаще в насмешку, но иногда стремясь их присвоить. Когда вокруг никого не было, они повторяли друг за дружкой.

— А скажи, он женат? Или помолвлен?

— Аннабелла! — взвизгнула Ханна.

— Прошу тебя, перестань возмущаться. Нам по семнадцать. И нам просто необходимо думать о таких вещах. Так что давай-ка сообразим, как нам обратить на тебя его внимание.

— Поди обрати на себя внимание, когда вокруг одни сумасшедшие.

— А по мне, так лучше не придумаешь! Вокруг одни сумасшедшие — но что делает среди них эта бледная, полная достоинства девушка? Да это же очаровательная дочка доктора!

— Перестань, — вспыхнула Ханна. — И все-таки надо что-то придумать. По-моему, он близорук. Почти ничего не замечает, пока не подойдет вплотную.

— А может, эта рассеянность — из-за того, что он поэт?

— Может, и так. Но едва ли. Иногда он надевает монокль.

— Придумала! — просияла Аннабелла. — Нам нужно сделать так, чтобы я его увидела. Ну, или чтобы мы с ним встретилась. Думаю, тогда я смогу лучше оценить обстановку.

Ханна взглянула на взволнованную, радостно улыбающуюся подругу и задумалась над этой сомнительной идеей, но не успела ответить, как в комнату ворвалась мадемуазель Леклер. Рисунок, который Аннабелла мельком ей показала и который был обескураживающе точен, пришлось отложить.

— Bonjour, les filles, — поприветствовала их мадемуазель Леклер.

— Bonjour, Mademoiselle[1], — в один голос ответили девушки и открыли учебники.

Санитар Уильям Стокдейл ростом был выше доктора, но, когда они шли в направлении Лепардз-Хилл-Лодж, где содержались тяжелобольные, даже он вынужден был прибавить шагу, чтобы не отстать от своего хозяина. А Фултону Аллену, сыну доктора, и вовсе приходилось бежать. Для Фултона, которому недавно исполнилось шестнадцать, это вообще было обычное состояние. До его триумфа, о котором он сам еще не знал, оставалось не так уж и много. В скором времени он будет отвечать за все заведение сам. Пока же Фултон, как обычно, изо всех сил пытался удержаться на волне бешеной отцовской энергии. Старался шагать в ногу, стремился перенять у отца его искусство и обширные познания, каковых, к несчастью для сына, с каждым днем становилось все больше. Эта решимость ни в чем не отставать от отца только крепла во время визитов в Лодж, который наводил на Фултона ужас. В Фэйрмид-Хауз изобиловали легкие недуги, там содержали слабоумных и больных, идущих на поправку. А некоторые, вроде Чарльза Сеймура, были и вовсе здоровы. Лепардз-Хилл-Лодж был полон истинного безумия и душевных мук, полон людей, потерявших самих себя. Эти люди были необузданны и непредсказуемы. Отвратительно пахли. Вели себя непотребно. Ни с того ни с сего поднимали шум. Страданиям их не было предела. Изнанка рода человеческого, один из кругов ада — вот что это было. Там разворачивалось действие всех ночных кошмаров Фултона и всех его эротических снов, которые он тоже числил по разряду кошмаров, вне зависимости от того, что оставалось потом на его простынях. Даже само здание казалось безумным: простое, квадратное, прочное, с рядами узких зарешеченных окошек, откуда доносились крики и визг.

И вот теперь они направлялись прямо к нему через лес, среди теней и проблесков света.

Стокдейл докладывал о состоянии больного:

1. Добрый день, девочки... Добрый день, мадемуазель (*франц.*).

— По-моему, у него не было стула уже три недели.

— Подавление стула только усиливает его манию. Из-за него она и развивается. А от своей бредовой идеи он так и не отказался?

— А что у него за бредовая идея? — спросил Фултон.

Стокдейл рассмеялся:

— Что если он все-таки опорожнит свой кишечник, то его содержимое отравит воду, заразит лес, а потом впитается в землю и убьет всех жителей Лондона.

— Будем надеяться, что он ошибается, — пошутил Фултон.

— Фултон, — одернул его Аллен, — не следует упражняться в остроумии, когда речь заходит о больном. Безумие лишено чувства юмора. Сколько там сейчас санитаров? Нам понадобится по меньшей мере четверо, чтобы удержать его, пока я буду ставить ему клизму.

— Я могу помочь, — неуверенно предложил Фултон, досадуя на отца за излишнюю суровость.

— Подержишь голову. Ну, или руку. Если ты только попытаешься взять его за ногу, он отбросит тебя в другой конец комнаты. Увы, мужчина он крупный и сильный.

Стоило им ступить через порог, как в ноздри ударила вонь, в точности как Фултону помнилось. Но всякий раз вонь оказывалась резче и мерзостнее, чем он ожидал. Тут и там слышался шум, но в просторном холле, над которым возвышались галерея и палаты, было только двое больных. Остальные сидели взаперти. Один из незапертых больных стоял на месте и тер лоб, который уже протер до лысины. Другая, женщина, устремилась им навстречу и, уставившись на Стокдейла, принялась задирать свое запачканное платье. Фултон глядел на нее в ужасе, но не мог отвести глаз. Однако прежде чем она успела задрать подол выше грязных, рыхлых колен, Стокдейл крепко ухватил ее за руки и вернул платье на место.

— Следует держать ее подальше от мужчин, раз она себя так ведет, — сказал Аллен.

Сондерс — санитар, который открыл им дверь, — извинился:

— Она себя так не вела. Думаю, дело в вас, доктор, или в вас, Уильям. Должно быть, она решила, что ее будут осматривать.

Тем временем женщина, пытавшаяся вырваться из рук Стокдейла, постепенно затихла.

— Я не хочу, — бормотала она, — не хочу...

— Вот и хорошо, — успокоил ей Аллен, — и не нужно.

— Отпустите ее, — сказал Сондерс, — с ней теперь все будет в порядке, небольшой приступ миновал.

Сондерс был невысок, силен и жизнерадостен, но внимание Фултона приковали его грубые, ловкие руки. У него были широкие кончики пальцев, толстые желтые ногти, а большие пальцы дважды сгибались под прямым углом и торчали параллельно ладоням. Глаза молодо глядели из складок дряблой кожи. Под одной из бровей притулились две бородавки, каждая размером с ягоду. Казалось, он вовсе не считает свою работу обузой. Обихаживая своих подопечных, мучимых страхом и болью, он улыбался и что-то напевал себе под нос.

— В одиннадцать тридцать, — сказал Сондерс, — мы выпустим поразмяться еще несколько человек. Эти двое ночью плохо спали, потому-то мы и вывели их сюда передохнуть. Но давайте начнем с мистера Франкомба. У его двери ждут двое моих ребят — набираются храбрости.

— Очень хорошо. Мы идем наверх?

Сондерс повел их по лестнице к палатам, двери которых выходили на галерею. Оттуда Фултон бросил взгляд на двух выпущенных на свободу больных, что копошились внизу, словно сонные мухи.

— Доброе утро, джентльмены, — поприветствовал Аллен ожидавших их санитаров.

Те, поздоровавшись, посторонились. Аллен взглянул через решетку на крупного мужчину с посеревшим лицом, который сидел, прислонившись к стене и держась за окаменевший живот.

— Доброе утро, мистер Франкомб! — прокричал Аллен сквозь решетку.

Тот скользнул по нему безжизненным взглядом и отвел глаза.

Мэтью Аллен повернулся к своей команде:

— Значит, так. Вы четверо заходите в палату, хватаете его и вытаскиваете наружу. Когда я буду ставить клизму, лучше всего, чтобы он был в ванне или на одном из столов. Фултон, стой здесь. Стокдейл, Сондерс, вы отвечаете за ноги. Вы двое хватаете его за руки. Все поняли, кому что делать?

— Да, доктор, — ответил Сондерс. Остальные кивнули.

— Вот и прекрасно. Вперед!

Сондерс отпер дверь, отодвинул засов. "Готовы?" — спросил он, и все четверо вбежали в палату.

Фултон стоял за спиной отца и наблюдал за борьбой. Мистер Франкомб, обрушив на вошедших поток ругательств, во время схватки то ревел, то мычал. Его буйство превосходило самые смелые ожидания. Когда он дрыгал ногами, Сондерса и Стокдейла мотало во все стороны. Двое других еле удерживали его за руки. Он поднялся с земли, а

потом упал, поджав руки и ноги так, что четверо вцепившихся в него санитаров ударились друг о друга. Изо рта у него текла слюна. Он попытался укусить одного из тех, кто держал его за руку. Тому пришлось изо всех сил ударить мистера Франкомба в лоб.

— Фултон, если хочешь помочь, — сказал Аллен на удивление усталым голосом, — сейчас самое время. Обойди его со спины и держи за голову. Постарайся ухватить его за уши.

— Кто, я?

— Ладно. Подержи-ка, — он сунул сыну сумку и вошел в палату сам. Фултон пристыженно двинулся за ним.

Аллен поступил в точности так, как велел Фултону: обошел пятерых пыхтевших мужчин, присел на корточки и попытался покрепче ухватить Франкомба за голову. Но тот отчаянно забился, а ушей под сальными волосами было не нащупать. Тогда Аллен попытался просто прижать его голову к полу, обнажив булькавшее в ярости горло, покрасневший кадык и толстые вены. Поставив на лоб Франкомбу колено, он навалился всем своим весом, отбросил волосы и, наконец, ухватился за скользкие хрящи ушей.

И постепенно Франкомб начал сдаваться, задрожал, однако, когда его подняли и понесли, вновь забился, и пятеро державших его мужчин закачались, словно матросы на палубе во время шторма.

Когда в конце концов им удалось водрузить его на стол, Франкомб стонал от ярости и унижения. Штаны и белье с него сняли. Мэтью Аллен дрожащей рукой вытер пот со лба.

— Итак, мистер Франкомб. Вы знаете, что ваши страхи не имеют под собой никаких оснований, все это попросту вздор. Нам всем необходимо избавляться от отходов своей жизнедеятельности. И все мы так и поступаем, а леса не умирают, и города целы и невредимы.

— О, в самом деле? — внезапно обрадовался Франкомб. — В самом деле?

— Ваши испражнения ничуть не более вредоносны, чем у любого другого человека. Это, знаете ли, не грех. Ничуть. Вы здесь вообще ни при чем. Это побочный продукт питания. Понимаете? Переваренная пища.

Франкомб затих, но вдруг, напрягшись что было сил, натянул ремни, которыми его привязали к столу. Он тянул, медленно выдыхая сквозь широко расставленные зубы, ремни скрипели, а Фултон размышлял, выдержат ли они в конечном счете или нет.

— Ну что же, давайте начнем, — пробормотал Аллен. Он держал клизму наготове, сжимая в одной руке трубку, а в дру-

гой — баллон с теплой соленой водой. — Фултон, можешь выйти. Зрелище, знаешь ли, не из приятных.

Фултон поборол в себе минутную нерешительность и ответил:

— Я и не ожидал ничего приятного. К тому же когда-нибудь мне самому придется проделывать эти процедуры.

— Очень хорошо. Если ты остаешься, можешь мне помочь — помассируешь живот.

Наклонившись, Аллен воткнул наконечник клизмы в темное, извитое отверстие, ведущее в прямую кишку больного, и продвинул на несколько дюймов вглубь, определенно не обращая никакого внимания на мужское достоинство Франкомба, болтавшееся из стороны в сторону прямо у него перед носом.

Аллен начал вводить жидкость.

— А теперь, пожалуйста, начинай давить на живот сверху вниз. И посильнее!

Фултон выполнил приказание, нажав на то, что он принял за спрессованное дерьмо в утробе мистера Франкомба. Санитары стояли в стороне, сложив руки, и болтали.

Из мистера Франкомба хлынула теплая прозрачная жидкость.

— Сильнее, прошу тебя! — Аллен попытался перекричать стоны больного. — И вас тоже, мистер Франкомб. Попробуйте потужиться.

Мистер Франкомб пытался сопротивляться, но теплая вода, давление на живот и боль сделали свое дело: противостоять было более невозможно. И в скором времени доктор Аллен был вознагражден целой очередью газов, за которой последовал крохотный твердый кусочек кала, свернутый, точно раковина.

— Очень хорошо, — и он добавил еще воды из клизмы.

— Твою мать, — сказал мистер Франкомб. — Пердун. Старый пердун. Дерьмо собачье.

Показался еще один маленький кусочек кала, за ним — мощный залп, и еще. Кусочки становились все больше, достигая размера овечьих шариков.

— Хорошо, Фултон!

— Старый пердун! Ох!

Франкомб плакал от досады, а из его нутра на стол извергался нескончаемый поток дерьма. Аллен стоял рядом и продолжал сжимать в руках клизму, не боясь испортить туфли, на которые то и дело попадали брызги.

— Ох-хо-хо! — воскликнул Сондерс, помахивая рукой перед носом. — И он еще обзывает нас старыми пердунами.

— Благодарю вас, мистер Сондерс, — осуждающе произнес Аллен. — Полагаю, мистера Франкомба крайне расстроит эта процедура. Мистер Стокдейл, я просил бы вас вывести его потом в лес и там вымыть. Пусть заодно и проветрится. Мистер Сондерс, может, вы тоже присоединитесь?

— Конечно, доктор.

— Когда вы вернетесь, я поставлю ему на ноги пиявки — и, надеюсь, нашим взорам предстанет не столь багровый, больше похожий на себя мистер Франкомб.

— Будет сделано, доктор.

Слегка протерев туфли и вычистив из-под ногтей остатки испражнений лезвием перочинного ножа, Мэтью Аллен покинул Лепардз-Хилл-Лодж. Фултон нес его сумку. Они возвращались к легким недомоганиям и сумятице Фэйрмид-Хауз. Аллен рад был вернуться, но лишь отчасти. Он устал, так устал от сумасшедших, от их убожества и упорного нежелания лечиться. Его разум жаждал чего-то еще, устремлялся к новым горизонтам.

Когда он пересекал лужайку, где Джордж Лэйдло застыл, судорожно складывая и вычитая что-то в уме, один слабоумный гонялся за другим, но перестал, увидев приближающегося доктора, а больные с топорами вновь заполняли поленницу, к нему подошел Джон Клэр.

— Джон, Джон, как вы сегодня себя чувствуете?

— Превосходно, доктор, просто превосходно. Лучше не бывает!

— В самом деле?

— Я хотел спросить, знаете ли, с учетом того, что я заслужил ваше доверие, ну и так далее, не позволите ли вы мне войти в число тех, кому разрешено иметь свой ключ...

— Гулять да рифмовать? Конечно, Джон Клэр. Я сам об этом думал.

Джон вздрогнул, но затем кивнул.

— Гулять. Собирать травки. Ну и так далее.

— А вы все еще сочиняете стихи, а? — спросил Аллен. — Те, что я читал некоторое время назад, были душевными излияниями красоты необычайной. И ваше доброе имя наверняка еще не предано забвению. Когда вы последний раз пытались что-нибудь напечатать?

— Подобные душевные излияния, как вы изволили их назвать, больше не по вкусу публике.

— А может, вы позволите мне попытать счастья за вас? Я был бы рад обратиться к нескольким своим знакомым, вращающимся в литературных кругах, чтобы вас напечатали в журнале.

— Не думаю, что из этого что-то получится, — ответил Клэр, опасаясь мучительного жара надежды, готовой вспыхнуть в его душе.

— Беру это на себя. Вам не придется ничего делать.

— Полагаю, вреда от этого не будет...

— Вот и отлично. Почему бы и нет? Не дело, чтобы произведения, вроде ваших, пылились в больничной тумбочке. Я дам вам ключ, только пойдемте со мной.

— Благодарю вас, доктор.

Сжав ключ в руке, Джон немедля отправился в путь. Питер Уилкинс с улыбкой поднял на него водянистые глаза и потянулся за ключом, но Джон показал ему свой. Питер Уилкинс расправил плечи:

— О, у вас есть ключ. Очень рад, Джон, очень рад.

И хотя Джона слегка смутило это поздравление, ему все равно было приятно. Однако он постарался скрыть свои чувства и ответил грубовато, по-деревенски:

— Да и погода ничего себе.

— Желаю приятной прогулки, — сказал ему вслед старик. — Я и в самом деле очень рад.

Джон махнул ему на прощанье рукой и пошел по тропе, мимо знакомых деревьев в направлении покуда незнакомых и невидимых, коими полнились многие мили вокруг. Между деревьями тут и там виднелись ветхие листья папоротника, начавшего по осени подсыхать. Никто не пел, лишь редкие звуки раздавались над головой — это птицы тихо предупреждали друг друга о его приближении. Черный дрозд, скакавший по опавшим листьям, тотчас взлетел и, опустившись на одну из нижних ветвей, издал сигнал тревоги, свирепо глядя на незнакомца.

Разглядывая желтый клюв птицы, острый, словно пинцет, прелестную черную головку, таращившийся на него блестящий круглый глаз, Джон услышал человеческий крик. И сразу пошел вперед, подальше от шума, но жившее в лесном лабиринте эхо его обмануло, и он вышел прямо на одного из больных, который топтался босиком по мху и листьям, скинув туфли, потея и размахивая руками. Увидев Джона, больной устремился ему навстречу с искаженным от гнева лицом, но при нем было двое санитаров. Один из них спрыгнул с бревна, где они играли в карты, вооружившись старой, потрепанной колодой, и поднял руки. Сумасшедший сделал вид, что не заметил его, но остановился.

— Эй, проходи, — сказал санитар Джону. Это был Стокдейл. — Проходи. Всё в порядке. Ему с утра досталось, ну,

этому. Не беспокойся. — Другой санитар, которого Джон не узнал, улыбнулся сквозь табачный дым.

Поспешив уйти, Джон на ходу снял шляпу и, утерев выступивший от внезапного испуга пот, поглубже натянул ее обратно на голову.

Пройдя несколько ярдов, он наконец оторвал взгляд от выстилавших землю листьев, от валявшихся тут и там колючих буковых орешков, похожих на звездочки, и от пересекавших тропу древесных корней. Подняв глаза, он увидел вызывающе крючковатые, темные листья падуба, а под ними — длинные прутья и ветхие листья куманики. Приметив ягоду, он положил ее в рот, но ягода оказалась такая терпкая, что даже нёбо зазудело.

Он шел и шел. Видел трухлявое бревно, все заросшее грибами, рябь бледно-желтых грибов, разъедающих гнилую древесину — в них он узнал иудино ухо. Что же ему слышно, этому уху? Он вгляделся в завитки и цветные разводы, шедшие волнами и кругами, розоватые у самой кромки гриба.

А на краю полена обнаружились следы дроздиной наковальни. На самую плоскую часть бревна птица приносила улиток и, зажав их в клюве, мотала головой, чтобы разбить их домики. Осколки скрученных ракушек, на которых тут и там виднелась слизь, были похожи на созвездие, которое Джон завихрил кончиком пальца.

А ведь к Марии он прикоснуться так и не смог, пришло ему в голову, — к сладчайшей из двух его жен, к потерянной девочке, что так его любила, столь близкой в его мечтах, что лишь протяни руку — и касайся сколько хочешь. “Мария”, — промурлыкал он себе под нос. Стены времени — наивернейшая из тюрем. К ним не прикоснешься, о них не разобьешь в кровь голову, но они окружают, не оставляя ни единой лазейки, не пускают к любимым, и домой не пускают, и бродит он как потерянный в лесу далеко-далеко от них. Джон поднялся на ноги. “Мария, — проговорил он. — Мария. Мария. Мария, спой же песню мне”. Порывшись в карманах, он извлек трубку, камушек-голыш, лист бумаги и обломок старого карандаша. Вновь сел, снял шляпу, расправил бумагу на тулье и принялся писать:

Мария, спой же песню мне,
Спой о любви, красе, весне,
Моя тоска сильнее бед...

И через некоторое время у него уже было новое стихотворение, записанное на обеих сторонах листа, а потом и

поперек: не хватило места. На миг возникло ощущение целостности, душа распахнулась в безмятежности, вновь и вновь повторяя только что рожденные стихи, гудя их на все лады. Вокруг был лес, Джон взметнул руки навстречу свету. Заморосило, капли дождя застучали по ветвям и листьям.

Еще одно стихотворение, вдобавок к тысячам других. Хорошо, что они приходят по одиночке, а не сыплются из него одно за другим в лихорадочном бреду. Его мимолетные спутники, его же и погубившие. Не без содрогания вспомнил он, как деревенские приятели сторонились его, чтоб он не сочинил про них стишок, которого они не смогут прочесть. К тому же именно из-за его стишков в деревню то и дело являлись чужаки. *А правду говорят, что вы, деревенские, спите со своими бабами в свинарнике?* С другой стороны, доктор Аллен будет доволен, подумалось ему. Еще одно украшение его в высшей степени представительного заведения для сумасшедших.

Джон миновал угольщиков, сидевших в своих ветхих лачугах из жердей, обложенных дерном. Изо дня в день им приходится торчать тут с рассвета до заката, следя, чтобы огонь не разгорался, а медленно превращал в уголь прикрытые сверху поленья. Поднимавшийся к небу дым был сладок, куда слаще, чем дым из печей для обжига известняка, где от случая к случаю доводилось работать Джону. Он заметил, что они поднимают глаза и таращатся на него из тьмы, и отважился поприветствовать их, приподняв шляпу, но они не шелохнулись.

А потом, всего в полумиле пути, на полянке, его взору предстали разноцветные кибитки, лошади на привязи, и дети, и курящийся костерок. Учуяв Джона, маленький терьер замер и вытянулся вперед на всех четырех лапах, словно буква, написанная курсивом, готовясь залаять. У огня, завернувшись в одеяло, сидела старуха. Она взглянула на Джона и произнесла:

— Добрый день!

— День добрый! — откликнулся Джон, и, чтобы она поняла, что он свой, добавил: “Cushti hatchintan”[1].

Старуха удивленно подняла брови.

— Верно. Неплохое местечко. Rokkers Romany[2], стало быть?

— Немного, да. Я часто бывал у цыган в своем hatchintan, в Нортгемптоншире. Много долгих ночей. Они учили меня

1. Хорошее место (*цыг.*). (*Здесь и далее примечания выполнены при любезном содействии канд. фил. наук В. В. Шаповала.*)
2. Говоришь по-цыгански (*цыг.*).

своим мелодиям — ну, и много чему еще. Абрахам Смит. И Феба. Вы их знаете?

— Мы тоже Смиты, но твоих Смитов я не знаю. Я там не была, а они не были тут. Хорошее тут местечко, — она сделала широкий жест рукой, — много земли, и никто не гонит. И зверье, множество hotchiwitchis[1], есть чем подкрепиться зимой. Это общая земля, и пока ее как будто никто не прибрал к рукам.

Джон покачал головой и сказал устало, как говорят промеж собой старики:

— То, что нынче называют законом, само по себе преступно. Тут и там воруют, отнимают у людей общую землю. Помню, как пришли к нам в деревню со своими приборами, измеряли, огораживали, делили. Тогда и цыган выгнали. И бедноту.

К старухе подбежал мальчонка и что-то зашептал на ухо, косясь на Джона. Остальные держались в стороне, словно кошки, лишь глаза поблескивали средь ветвей. Терьер, предупредивший о приближении Джона, теперь отскочил и присоединился к их тайному обществу.

Старуха заговорила:

— Он думает, ты полицейский или лесник — ни те ни другие с нами не церемонятся.

Джону до того захотелось остаться в этом уютном, вольном уголке, со свободными людьми, что он представился так:

— Я сам бездомный, сплю тут неподалеку. И меня часто ловили лесники! — Что было истинной правдой: когда он сновал по лесу и сочинял свои стишки, его нередко принимали за браконьера — не верили, что пришел в лес просто так, без злого умысла.

— А зовут тебя как?

— Джон. Джон Клэр.

— Что ж. Я Юдифь Смит. Ты кажешься мне человеком порядочным, Джон Клэр, ты слаб и заброшен, хотя и неплохо откормлен, кем бы ты там ни был. Я чую в людях недоброе, чую дурные намерения, но в тебе я их не чую, у тебя глупое и открытое лицо. У меня глаз наметанный, и, если я что провижу, так и будет, да, ровно так и будет.

— Я знаю много баллад. Могу спеть, если хотите.

Юдифь Смит рассмеялась и выдернула из огня прутик, чтобы запалить трубку.

— Потом, если тебе захочется, когда остальные вернутся. А я быстро завожу друзей, да? Вот сосунки боятся, но скоро и они уймутся.

1. Ёж (*цыг.*, *искаж. англ.* hedgehog).

Джон оглянулся на детей, четверо или пятеро жались поодаль, а тот, что шептал старухе на ухо, стремглав бросился к ним.

— Сосункам положено бояться, — ответил Джон. — Только осторожность их и спасает.

— Может, и так. Ну что, присядешь? Можешь последить за yog[1], пока нам поесть не принесли. Вот они чего так беспокоятся. Парни наши ушли, понимаешь, поискать чего-нибудь поесть, и они боятся остаться без ужина.

— Вот и правильно, — сказал Джон.

И присел подле нее, и принялся ворошить в костре прутики, чтобы огонь не погас, и вскоре сосунки перестали бояться и подбежали поближе, подбрасывая в воздух сухие листья и выжидая, не загорится ли какой, не отправится ли в бесцельный, кружащийся полет, не прилетит ли наконец, ко всеобщему восторгу, прямо к ним. Старуха предложила Джону деревянную трубку с желтыми вмятинами от зубов на мундштуке, однако он вытащил свою собственную. Продув сквозь нее гниловатый воздух, чтобы проверить тягу, он набил ее табаком из старухиного кулька. Этот обрывок старой газеты был, вероятно, единственным печатным изданием на всей стоянке, и Джон улыбнулся, подумав, что ему нашли правильное применение: запачканные, расплывшиеся слова так никто и не прочел, а резкие голоса не нашли отклика ни в чьей душе. Он разжег трубку горящим прутиком. Поговорили о погоде, о травах. А долгие паузы в разговоре заполняли потрескивание костерка, несмолкающий шум ветра в ветвях и птичья суета.

Из кибиток появились молодые женщины — должно быть, прятались там все это время. Джон представился и им. Казалось, они были не столь уверены в его благих намерениях, как Юдифь Смит, и сухо приветствовали его, проходя мимо по делам, ополаскивая горшки, собирая хворост для костра, стряхивая грязь с одежды своих ребятишек. Джону была по душе эта бойкая, свободная, немного суматошная жизнь, и он наблюдал за нею с приязнью, а сумерки становились все гуще, а огонь в костре — все краснее.

Голоса мужчин послышались несколькими минутами раньше, чем появились они сами. К тому времени костер разгорелся на славу, котелки были наготове. Когда голоса стали ближе, ребятишки прекратили посыпать друг друга листьями и даже пригладили волосы, до того свисавшие на глаза. Собака, исступленно лая, носилась кругами. Выбежав

1. Огонь (*цыг.*).

навстречу мужчинам, она вернулась в сопровождении нескольких поджарых борзых и великого множества терьеров.

Когда Джон увидел мужчин, двое из которых несли привязанную за ноги оленью тушу, легко угадываемую под одеялом, которым она была обернута, ему стало ясно, почему все так осторожничали. Он тотчас же встал и представился:

— Я Джон Клэр, странник, верный друг цыган. Хочу передать вам сердечный привет от Абрахама и Фебы Смит из Нортгемптоншира.

— Он хороший парень, — подтвердила Юдифь. — Знает травы и снадобья не хуже меня, да и зовет теми же именами, что и мы, — похоже, провел немало времени с теми Смитами.

Главный среди мужчин принял решение столь же быстро, как в свое время Юдифь, и ответил со всею чинностью человека, говорящего от лица своего племени:

— Раз уж ты не друг лесникам и не станешь на нас наговаривать, мы рады приветствовать тебя здесь, Джон Клэр. Меня зовут Иезекииль.

Тем самым Джону позволено было остаться и смотреть на мужчин, которые свежевали оленя без всяких задних мыслей о высылке и каторге.

И он с превеликим удовольствием смотрел на этих умельцев, чьи ножи сновали взад-вперед, словно бойкие рыбешки. За всё это время они не проронили ни слова, а если и производили шум, то такова уж была их работа: постукивали суставы, с влажным звуком сдиралась кожа, с хрустом отделялись части оленьей туши.

Первым делом вырыли канавку, чтобы спрятать кровь, и повесили оленя на ветку вниз головой прямо над ней. Остро заточенными ножами быстро разрезали его до середины и отыскали рубец. Один из мужчин крайне осторожно отсек его с обеих сторон и перевязал скользкие трубки, чтобы не испортить желудочным соком мясо. Получилось что-то вроде подушки, набитой непереваренной травой.

Передние ноги подрубили по суставам и отделили. Затем шкуру оленя подрезали ножом и содрали. Шкура, влажно чмокнув, сошла целиком, обнажив темное мясо и кости под серебристо-синей подкожной пленкой. То и дело приходилось пинками отгонять собак: те толкались у канавки, лакая кровь.

Распластали глотку и отделили пищевод от трахеи. Тушу освободили от внутренностей. Сердце и легкие вырезали и положили в миску, после чего вытащили моток длинных, неровных кишок и бросили в канаву. Зайдя со спины, отделили от ребер и позвоночника лопатку, седло и филей — одним куском с двух боков разом, точно кровавую книгу размером с цер-

ковную Библию. После рассекли этот кусок на части, из которых несколько нарезали и тут же повесили над костром. Оставшиеся части забрали женщины. Затем сняли мясо с шеи. Олень стал выглядеть пугающе: нетронутая голова с мехом и торчащими вниз рогами, шейные кости, позвоночник и ребра, мясо, оставленное на задних ногах. Тут ноги тоже отрубили, разрезали и уложили в мешки. Ребра отпилили и по одному положили на огонь. Олень был освежеван. Скелет слабо отсвечивал в сумерках. Печальная оленья голова терялась в тени. Вырыли еще одну яму, в нее положили скелет, свернув его на манер зародыша. Яму засыпали, а сверху набросали листьев и веток.

Собаки, расталкивая друг друга, вились у первой канавки в окружении целого роя мух. Джон слышал, как голодные звери щелкают челюстями и прерывисто дышат. А почуяв поднимающийся над костром запах оленины, он понял, что и сам страшно голоден. В животе у него протяжно заурчало, словно голубь заворковал. Между тем разлили и выпили пиво, и скоро лес наполнился голосами и разговорами. Джон в них особо не встревал, лишь следил за их плавным течением, за переходами с одной темы на другую, вслушивался в цыганские слова, про которые уже почти и не помнил, что когда-то их знал.

Первое ребро Джону протянули со словами: "Теперь и твои руки в крови, друг мой. Теперь ты наш сообщник". Мясо оказалось удивительно вкусным, там были и обожженные на огне мышцы, которые приятно было рвать зубами, и мягкий нежный жир. Нет ничего дурного в том, чтоб съесть оленя, подумалось Джону: они размножаются, здесь их немало. Под сенью леса несть им числа.

Потом снова пили и пели, а над головой, последний раз в этом году, то и дело мелькали летучие мыши. Джон доказал, что знаком с их музыкой, когда ему дали скрипку. Он играл нортгемптонширские напевы и цыганские напевы. Сыграл тот, что кружился словно хоровод, а припев вызвал у всех улыбку. Сыграл и мелодию, которая вознеслась ввысь, к ветвям. И еще одну, однообразную и унылую, словно торфяные болота, холодную, как зимний туман. И еще одну — для Марии. Когда он кончил играть, стали петь, и Джон вслушивался в хор сильных голосов, вплетая в общую гармонию и свой собственный голос, и словно бы видя себя и всех остальных со стороны в темнеющем лесу, вокруг костра, а рядом растянулись собаки с вымазанными кровью мордами и туго набитыми животами. Песня била ключом, врываясь из вечности прямо в это мгновенье. Потрясенный, Джон откинулся на спину и сквозь почти что обнажившиеся ветви увидел звезды.

Он закрыл глаза и оказался в центре мира, отринув жен своих и дом, среди людей, с которыми было ему покойно.

Но вот песня стихла, и вскоре он почувствовал, что его накрыли одеялом. Открыв глаза, он увидел розоватые язычки пламени, все еще бьющиеся среди побелевшего хвороста. Сухим, хриплым голосом прокричала сова, вокруг с тонюсеньким писком сновали летучие мыши. Как же хорошо лежать под пологом этого бесконечного леса, где корни деревьев питаются сгнившими листьями, и так год за годом, век за веком. Чтобы потрафить себе, украсить свой путь ко сну, он взялся перебирать в уме лесные создания. Пред его мысленным взором предстали деревья — береза, дуб, граб, липа, остролист, орешник, а за ними — ягоды, разнообразные грибы, папоротники, мхи, лишайники. Он увидал быстрых, низкорослых лис, трепетного оленя, диких кошек, что гуляли сами по себе, крепко сбитых, переваливающихся на ходу барсуков, разнообразных грызунов, летучих мышей, зверье дневное и зверье ночное. Увидал улиток, лягушек, мотыльков, похожих на кору, и крупных мотыльков, похожих на призраки, бабочек: белянок и зорек, перламутровок и углокрыльниц. Не забыл пчел и ос. Вспомнил всех без исключения птиц: дятлов-барабанщиков и смеющихся зеленых дятлов, поползня с полоской на спине и крючконосую пустельгу, черного дрозда и пищуху, что умеет взбираться вверх по древесным стволам. Увидел лазоревок, снующих в ветвях, и белый промельк хвоста улетающей прочь сойки, и голубей, тихо сидящих на дереве поодиночке, но неподалеку друг от друга. И бойкую сладкоголосую малиновку. И воробьев.

И прежде чем погрузиться в сон, увидел себя: голова цела, а влажный скелет, лишенный остатков плоти, свернувшись в клубок, кротко покоится в земле.

Проснувшись, Джон ощутил покалывание в половине лица. Однако, открыв глаза, понял, что дело на сей раз не в парезе, а в сыплющемся на него легком дождике. Капли почти неслышно падали на золу в угасшем костре. А вокруг мерцали, отражая свет, мокрые ветви деревьев.

Джон натянул одеяло на лицо и вскоре согрел дыханием свой уютный кокон из грубой шерсти, в котором так и клонило в сон.

Когда он проснулся вновь, вокруг него вовсю копошились люди и потягивались собаки. Юдифь, которая раздувала огонь в костре, улыбнулась.

— Мне пора, — сказал он.

— Это в ту усадьбу, дальше по дороге? — спросила Юдифь. Он кивнул. Знал ведь, что она догадается. — Ума не приложу,

чего тебя там держать, — продолжала она. — Уж если кто так играет на скрипке, там ему не место.

— Спасибо. — Джон встал, встряхнул и свернул одеяло. Чтобы лишний раз не беспокоить старуху, он просто положил его на землю там, где спал.

— Похоже, мы пробудем тут всю зиму. Так что, если захочешь вернуться...

— Спасибо, — повторил он. — Вернусь, если смогу. — Он повысил голос, обращаясь ко всем, кто оказался поблизости. — Спасибо. Мне пора.

— Перекуси на дорожку, — предложила Юдифь.

— Спасибо, я пока сыт.

И Джон поспешил уйти. Точнее, попытался. Сперва ему пришлось попрощаться за руку со всеми детьми, окружившими его плотным кольцом.

Солнце было еще низко, и он понадеялся, что ему удастся проскользнуть обратно незамеченным. Угольщиков в хижине еще не было. Он повстречал птицелова с болтавшимися на шесте двумя клетками — тот шел в Лондон, что так нуждался в песнях. О частые прутья клетки бились несколько зябликов — утренний улов. Птицелов надвинул шляпу на глаза. Джон поступил так же, а когда тот прошел, покачал головой, подумав, что слишком уж это простой символ, и решил не сочинять по этому случаю стихотворения.

У ворот он был раньше даже Питера Уилкинса. Отперев их собственным ключом, поспешил по тропинке к Фэйрмид-Хауз, но не успел войти, как навстречу ему вышел Мэтью Аллен.

Увидев Джона — а не увидеть Джона он не мог, ибо между ними было не больше трех футов — доктор явно расстроился.

— Джон, вы поступили очень плохо, — начал он, и Джон ощутил, как в нем вскипает гнев, выхода которому он дать не сможет. Он был неправ, сам это понимал — и теперь должен вести себя так, чтобы его пожурили, как ребенка. И он попытался ответить как ребенок.

— Я потерялся.

— Правда?

— Было темно. Я зашел слишком далеко.

Мэтью Аллен пристально глядел на него, посасывая ус. Джон оглянулся, потом опустил глаза. Не найдя другого выхода, Аллен сказал:

— Только смотрите, чтобы это было в последний раз! Обещаете?

— Я больше не буду уходить так далеко, доктор. И постараюсь не упускать из виду, где я. Я сочинял — может, дело в этом.

— Да, кстати, Джон. После нашего разговора я взял у вас в комнате пару стихов. Чтобы отправить издателям. — Мэтью Аллен поморгал, должно быть, усомнившись в благопристойности своего вторжения.

Джон заметил, но возражать не стал, порадовавшись, что теперь правда на его стороне.

— В самом деле? — спросил он как можно более небрежно, дабы усилить смущение доктора. — Как я говорил, — продолжил Джон, — я сочинял. Стихотворение, посвященное моей жене, Марии. Мне кажется, оно удалось. Могу переписать его для вас набело, а вы добавите к тем, что выбрали.

Мэтью Аллен покачал головой.

— Джон, мы же уже об этом говорили, и вы знаете, что Мария — не ваша жена. Это девочка, в которую вы были влюблены в детстве. Ребенок, Джон. Девчушка девяти лет. Или десяти. Ваша законная жена — Пэтти. И я знаю, что ей очень не нравится эта ваша навязчивая идея.

— Нет, — возразил Джон. — Нет, я прекрасно знаю, как правильно. — А еще он знал, что законное и естественное — две разные вещи. — Мария — моя жена. И Пэтти тоже. И если такого не случалось прежде, отсюда не следует, что это невозможно. Кроме того, так уже было. В Библии.

Ханна предложила взять Абигайль на прогулку. Но уже с самого начала она сбила малышку с толку, отклонившись от обычного маршрута: на сей раз она повернула к Бич-Хилл-Хауз.

Абигайль предпочитала гулять с матерью, которая куда как больше интересовалась ее находками — красивыми камушками и перышками. Ханна же думала о чем-то своем, совсем своем, а вовсе не об Абигайль, да и ходила к тому же слишком быстро. Абигайль ухватила ее за рукав и повисла на нем всем своим весом, чтобы заставить сестру идти помедленнее, но та заставила ее чуть ли не бежать вприпрыжку.

— Или ты будешь вести себя хорошо, — сказала Ханна, — или я немедленно отправлю тебя домой.

Ханна шагала вперед, сердито рассекая ногами воздух. Абигайль еле поспевала за ней, но вдруг старшая сестра остановилась.

— Почему мы стоим? — спросила младшая. — Не туда пошли?

— Шшш, Аби. Я думаю.

— И что ты думаешь?

— Шшш.

Ханна стояла и смотрела на дом с большим прудом и лужайкой — дом, где теперь жил он. Еще недавно ей и дела не было

до этого места, но теперь оно щекотало ей нервы, словно гудящий улей. Она даже привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть. Сделав несколько шагов, подобно балерине, чтобы разглядеть дальний угол сада, она заметила его. Наверняка это он. Такой высокий, стоит к ней спиной, застыв на месте, в густом облаке дыма, который сам же и выдохнул, в той самой накидке. Она тоже застыла, стараясь не шелохнуться, теряя равновесие от ударов собственного сердца, на грани между жизнью и смертью. Скоро что-то произойдет. Иначе быть не может.

Абигайль, заскучав, но не желая мириться со своим положением, вытянула вперед руки и с разбегу врезалась прямо ей в живот.

— Не смей! — зашипела Ханна, невольно сделав пируэт. Она схватила сестру за руку и подтянула к себе. Абигайль увидела, как лицо сестры, искаженное вспышкой гнева, приближается к ней, словно хищная птица. Губы дрожали. Как же ей не идет, когда она злится. Абигайль попыталась высвободить руку, но Ханна ухватила ее покрепче, а сама вновь встала на цыпочки и принялась куда-то глядеть.

Попеременно, то пригибаясь, чтобы остаться незамеченной, то вытягиваясь в полный рост, чтобы лучше видеть, Ханна пыталась убедиться, что Альфед Теннисон не обратил внимания на их появление. И вдруг почувствовала, как ее запястья коснулись влажные губы Абигайль, и в руку впились острые мышиные зубки сестры. Тут уж она не сдержалась и вскрикнула, и теперь-то Теннисон наверняка услышал. На мгновение выпрямившись, она увидела, что он оборачивается. Тогда она вновь втянула голову в плечи и побежала, таща за собой орущую Абигайль. Когда они вернулись домой и немного успокоились, ей удалось подкупить девочку кусочком сахару, чтобы та ничего никому не рассказывала.

Альфред Теннисон даже и не пытался подбодрить сидевшего рядом Септимуса или хотя бы заговорить с ним. Похоже, любая, даже самая скромная попытка выразить родственное участие задевала брата, тот весь съеживался и, подняв вверх руку, выдавливал из себя ужасающую улыбку. Так что Альфред просто вытянул свои длинные ноги самым что ни на есть обыденным образом, решив, что пока обитатели лечебницы доктора Аллена собираются, можно себе это позволить, а когда начнется вечерняя молитва, он непременно примет подобающую позу.

За органом он смутно различил миссис Аллен, которая играла, по правде говоря, весьма недурно. Ее бледная дочь, до того тонкая и непоседливая, что ее образ колыхался перед его

близоруким взором, переворачивала ноты. Он закрыл глаза и прислушался к музыке. Она вздымалась равномерно, словно гребни волн, в то время как педальный насос вновь и вновь гнал по трубам воздух, и, оттолкнувшись от этого зубчатого звука, Теннисон увидел море, Мейблторп, тяжелые низкие волны и песок, застывший складками на берегу во время отлива. И пошли слова. *Волны. Скалы. Хлестали.* Или *касались. Воды, что касались. Воды, что касались грубых скал. Что бичевали скалы. Что, набегая, бичевали скалы. Касались, набегая, острых скал.*

Маргарет смотрела на бедняжек, рассаживающихся вокруг нее, чтобы помолиться, и вновь не знала, что и думать. Она подозревала, что во всем этом нет ничего подлинного, что, когда доктор произносит свои бесцветные проповеди, Истинно Сущее оскорбленно отворачивается. Лично она бы так и сделала. Но тогда выходит, что это она, с ее ненавистью к человеческим слабостям, лишена сострадания. А вдруг среди всех молящихся именно она, она одна, — заблудшая душа, погрязшая во грехе, остальные же чисты в своих молитвах и будут услышаны? Господь явит им свое милосердие. А разве заслуживает милосердия она, немилосердная? Она никогда не любила всех этих сложностей совместной молитвы, не любила отвлекаться на других, они ей мешали. Лишь уединение было ей по нраву. Но когда она оставалась одна, ее не отпускала мысль, что она отрезанный ломоть, заблудшая душа, брошенная на произвол судьбы.

Между тем все встали и запели. Джон Клэр тоже поднялся и вплел свой голос в хор безумцев, но без особого рвения. Устроившись рядом с камином, он то и дело отвлекался на бушевавшее там пламя. Санитары пели спокойно, не теряя бдительности. Один из слабоумных пел ужасно громко, а стоявший рядом с ним Саймон, напротив, лишь безмолвно шевелил губами и потирал левый глаз. Клара, ведьма, не пела вовсе. Она глазела по сторонам, а когда на нее оглядывались, хихикала себе под нос.

Когда все они с горем пополам миновали короткий этап двухсложного "Аминь", доктор Аллен плавным движением обеих рук дал команду садиться и приступил к вечерней проповеди.

Это было седьмое его обращение к заповедям блаженства, и он прочистил горло, прежде чем произнести: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими". Читая проповеди, он испытывал самые искренние, истинно отцовские чувства к своей пастве, не сводившей с него исполненных ужаса взоров. Он спиной чувствовал: за органом сидит жена, видел прямо перед собой троих своих детей. Фултон причесал-

ся как-то непривычно, должно быть, зачесал волосы на другую сторону, и теперь в его внимательности была какая-то особая независимость, словно он сам себе хозяин, сам принимает решения, оказался здесь по собственной воле, и по собственной же воле следует по стопам отца в занятиях медициной. Дора, тишайшая из его детей, чудо как подходит своему жениху, который, похоже, пытается уговорить Абигайль не болтать под стулом ногами. Среди прочих особенной прямотой и открытостью выделялся взгляд Джорджа Лэйдло. Джордж каждый день только и ждал вечерней молитвы, лишь она приносила ему временное отдохновение от ужасов Национального Долга, за который, как ему думалось, он один в ответе.

Доктор Аллен перечислил несколько категорий миротворцев, в том числе тех, что прекращают войны и раздоры. Но есть и другие миротворцы, способные положить конец горьким спорам и внутренним раздорам. Маргарет поняла, что он имеет в виду себя, и с презрением подумала о его слабости. Она почти жалела его, ведь его тщеславие было поистине болезненным. И друзья — это тоже миротворцы, продолжал он, ибо своей любовью дарят нам мир и покой. Миротворцы — не только те, кого принято так называть, не только священнослужители, послы и врачи, но и все мы, благодаря нашему братству.

Джон знал наверняка, кто принесет мир ему. Его жены, Мария и Пэтти. Мир воцарится, когда он будет лежать под дубом, а они — ошую и одесную, а вокруг — густой сладкий запах травы, и теплые солнечные лучи, и клубящиеся летние облака над головой. Он отвернулся от Мэтью Аллена, который, раскачиваясь на носках, с заметным удовольствием изрекал очередную банальность, и стал глядеть в огонь. Мысли понеслись с угрожающей быстротой, он глядел и думал, что вот горят единственные в своем роде бревна, обрубки вполне определенных деревьев, горят вот в этом самом огне, в этом месте и в это время, и все это могло произойти и происходит лишь раз в истории Вселенной — здесь и сейчас. Когда-то на них садились птицы, вполне определенные птицы, по ним ползали разные твари, солнце освещало их то с одной, то с другой стороны, их обдували ветра, а над ними проплывали единственные в своем роде облака, а к утру они превратятся в золу. Как же мало нам отпущено времени. Он должен каждый божий день быть со своими женами, а не тратить время попусту здесь. Похожие то на ветви, то на листья, языки пламени сами по себе тоже были единственными в своем роде, как и деревья, — одновременно вечными и мимолетными.

Ханна не обращала на слова отца никакого внимания. Ее взор был устремлен мимо взлетающих фалд его пиджака, ми-

мо рук, порхающих по обе стороны аналоя и опускающихся на лежащую перед ним стопку бумаги, — туда, где сидели Теннисоны. У Альфреда Теннисона был задумчивый, печальный вид — да и каким еще ему быть? — но смотреть на него все время она не могла. Справа от него сидел брат, лицо которого было похоже на посмертную маску, глаза прикрыты, но по щекам текли слезы. Вдруг она увидела, как он разомкнул воспаленные губы и вздохнул. Не открывая глаз, он осушил слезы носовым платком. А когда вскоре он вместе со всеми поднялся на ноги, Ханна поняла, что снова пришла пора петь.

Теннисон стоял и пел вместе с убогими, раскрывающимися навстречу Господу. Проповедь показалась ему вполне сносной, более внятной и более ясно изложенной, чем проповеди его покойного отца, более щедро и сочувственно обращенной к пастве. Когда больные начали сдавать свои сборники гимнов санитарам и двинулись к выходу, а с ними куда-то уковылял и Септимус, Теннисон подошел к доктору с похвалами. Ханна заметила, куда он направляется, и тотчас же встала рядом с отцом.

Теннисон взял Аллена за руку и пожал ее.

— По-моему, проповедь удалась.

— Очень рад, — ответил Аллен.

— Она была превосходна, — подала голос Ханна.

Аллен с некоторым удивлением взглянул на дочь, которая обычно не выказывала никакого интереса к проповедям, снисходительно улыбнулся и положил руку ей на плечо. От этого прикосновения Ханна застыла на месте и покраснела от обиды: она уже не ребенок, и к тому же это идет вразрез с ее планами. В то же время ей пришло в голову, что сейчас роль нежной и преданной дочери для нее наиболее выигрышна, и она вновь удивила Аллена, поощрительно погладив его по тыльной стороне ладони.

От этой семейной сценки Теннисона отвлекло появление еще одного персонажа. Когда тот приблизился, стало заметно, что на лице у него сияет улыбка, а голова слегка подрагивает. Он схватил доктора за руку сразу двумя руками и крепко пожал. “Спасибо, — произнес он, — и вновь спасибо”. Когда он отошел, Аллен рассказал, кто это такой и как он страдает от Национального Долга, и объяснил, что молитва для него — единственное отдохновение. Теннисон проводил взглядом удаляющуюся спину больного, чья походка становилась все более напряженной, по мере того как он уходил все дальше и дальше от этого исключительно успешного доктора.

Стоя на самом краю земли, Маргарет смотрела, как замирают за грязным ледяным окошком рыбы. Твердый снег в черных ветвях деревьев порябел от недавнего дождя. Свернувшиеся в комок вороны цеплялись за ветви, раскачивавшиеся на ветру. Голоса больных доносились и сюда, но среди леса в зимнем облачении звучали приглушенно, словно аплодисменты зрителей в перчатках.

Ей по нраву был этот привкус отсутствия, пустой воздух, напоминающий об отсутствии истинном. Хотелось остаться тут, висеть на своей собственной веточке, пока холод не прожжет до костей. Пусть ее выбеленные кости останутся здесь, на снегу, а она умчится подобно свету. Выбеленные кости, словно бы выкрашенные белой краской. *Гроб повапленный*, пришло ей в голову. Не о ней ли здесь речь? Иначе почему она об этом подумала? Она привычно принялась искать во всплывшей невесть откуда цитате скрытый смысл. Гробом повапленным Он назвал фарисея, что был красив снаружи, а внутри полон *мертвых костей и всякой мерзости.* Но не таков ли любой человек? И не о той ли мерзости речь, что извергалась на нее из мужа, хлестала, марала ей лицо? Но к чему задавать столько вопросов? Как будто от мыслей есть хоть какой-то прок. Словами делу не поможешь. Что было, то было. Если и есть в чем-то прок, то лишь в том, чтобы не омрачать себя мыслями, погрузиться в ничто. Превратиться в ничто. Стать такой же пустой, как холод. И ждать.

Но ей вновь было в этом отказано. Услышав позади хруст шагов, она понадеялась, что звук их вот-вот затихнет, но шаги становились все громче. Она обернулась. Вся лужайка была в следах, словно в синих стежках. А над нею — серое небо, куда темнее земли: призрачное, вот-вот готовое разразиться грозой. Там, где следы кончались, она увидела ведьму Клару и дурачка Саймона, которые праздно глазели на нее, пиная льдинки.

Маргарет уставилась на Клару, на ее пухлые, плохо смыкающиеся губы, на свисающие ниже плеч грязные растрепанные волосы. Клара, несомненно, считала себя чувственной особой и даже ходила, покачивая бедрами и нарочито красуясь, но на самом деле чувственности в ней не было. Фигура у нее была самая обычная, да и лицо тоже казалось более кротким и здоровым, чем ее разум.

— Привет, Мария, — улыбнулась Клара. Назвать Маргарет Марией — это была ее обычная злая шутка. Маргарет промолчала. — Так ничего и не ответишь? — Маргарет продолжала смотреть на нее в упор. — Что, твой язык сожрали черти?

— Какие черти? — спросил дурачок Саймон, засовывая руки в карманы штанов и почесывая ноги.

— Я же тебе говорила.

Маргарет посмотрела на них еще немного и отвернулась к пруду.

Их голоса не умолкали, звучали еще какие-то фразы, наконец — отдельные слова, резкие и обидные. Но напрасно им казалось, что они смогут помешать Маргарет.

Около часа спустя она вновь услышала приближающиеся шаги. На этот раз ей на плечи опустились чьи-то руки. Ее развернули, и она увидела перед собой лицо доктора. Он сказал: "Маргарет, вы замерзли. Как давно вы тут? — Растер ее руки в своих ладонях. — Да вы дрожите. — Она и правда дрожала: эти мерцание и трепет были дрожью. — Пойдемте-ка в дом". Обхватив ее за плечи, он повел ее в Фэйрмид-Хауз, поближе к камину.

В его обильном, досадном тепле она постепенно перестала содрогаться. В неё влили горячий чай, сделав больно замерзшим зубам. Чай вздымался в ней волнами, раздувал изнутри. Она закрыла глаза, слова доктора бились об нее подобно мотылькам. И погрузилась в сон.

Элиза Аллен открыла дверь и увидела на пороге человека, чье лицо показалось ей вроде бы и знакомым, но бог весть откуда. Чтобы понять, как давно он не был в тепле, достаточно было взглянуть на посеревшую бугристую кожу его лица. Человек выдохнул себе на руки целое облако пара и улыбнулся.

— Не узнаешь меня, Элиза?

Стоило ей услышать его голос, его говор, как она узнала.

— Почему же? Ты Освальд. Заходи, заходи. А я и не знала, что ты будешь в наших краях. Мэтью не говорил...

— Потому что и он тоже не знал! Я хотел сделать вам сюрприз.

— Что ж, сюрприз удался. Проходи, не стой в дверях.

Освальд наклонился, чтобы поднять баул. Судя по всему, он рассчитывал погостить. Вновь выпрямившись, он вдруг испугался какого-то шума. Элиза подметила, что их нежданный гость чуть не упал. Он весь сжался, колени подогнулись, рука непроизвольно вытянулась вперед. Он встретился с нею взглядом:

— Это кто-то из больных? — шепотом спросил он.

— Нет-нет, — успокоила его она. — Собака лает, не иначе.

— Да, конечно.

Когда он вошел, она помогла ему снять пальто и шляпу. У огня лицо его запылало, глаза покраснели и покрылись поволокой. Вид у него был усталый.

— Садись же, — Элиза указала на кресло.

Он сел, скрестив ноги и засунув сцепленные руки между бедром и подлокотником кресла: у него всегда была эта странная манера сцеплять руки на одном боку наподобие орденской ленты. Теперь его трудно было не узнать.

— Пойду принесу чаю. Тебе с дороги просто необходимо согреться.

— Будет очень кстати.

Поспешно выйдя из комнаты, она нашла во второй гостиной Дору, велела ей немедленно бросить все дела и пойти сказать отцу, что нежданно-негаданно появился его брат.

— Отец в кабинете, — возразила Дора.

— Тогда это тем более не займет у тебя много времени.

Едва Элиза вернулась с полным подносом чайных принадлежностей, как в комнату ворвался ее муж.

— Освальд, а я и не знал!

— Так я тебе и не говорил, — с улыбкой ответил ему брат. — Я тоже рад тебя видеть.

Мэтью изобразил на лице улыбку и одновременно нахмурил брови, показывая неуместность намека.

— Ну да, и я рад тебя видеть, а как же. Надеюсь, путешествие не доставило тебе неудобств.

— О, все было превосходно, лучше и быть не могло. А завершил я его приятной прогулкой из Вудфорда.

— Ты пришел пешком? С баулом? Можно же было нанять кэб, неужели ты не знал? На станции тебе любой показал бы мистера Мэйсона, он всех подвозит.

— Ну уж нет. Расчет, расчет, Горацио[1].

Горацио? Это же из "Гамлета". Не иначе как Освальд решил напомнить Мэтью об образованной компании, которую водил в Йорке, мол, не только в Лондоне ведутся окололитературные разговоры. До чего же это на него похоже: заявиться вот так, втихомолку, без предупреждения, и всем показывать, каков он из себя, без устали красуясь.

Мэтью Аллен от волнения забыл про щипцы и, ухватив кусок сахару пальцами, со всплеском уронил его в чашку.

— Что за странное время ты выбрал для приезда, — сказал он. — Я имею в виду твою аптеку. Зимой же все болеют. Неужто на лекарства нет спроса?

— К счастью, есть, — рассмеялся Освальд. — Но я оставил аптеку в хороших руках. У меня есть ученик и еще двое на подхвате. — Ну вот, снова хвастается. — Сейчас я стараюсь

1. Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 2. Перевод А. Радловой.

бывать в аптеке как можно реже, чтобы у меня оставалось время на благотворительную деятельность, ну, и на все остальное.

— О, прекрасно, — Мэтью Аллен отхлебнул чаю.

— Мы могли бы заниматься всем этим вместе, если бы ты не избрал для себя иной путь, — улыбнулся Освальд. — Однако не будем сейчас в это вдаваться.

Мэтью улыбнулся в ответ.

— Но ведь я и правда избрал иной путь. — Не следовало попадаться на эту удочку, однако он увидел возможность хотя бы для минутного триумфа и не устоял, смакуя множественное число, которое наконец-то представился шанс использовать. — Обещаю тебе показать свои владения, но сначала мы покажем тебе твою комнату.

Стоя за аналоем, доктор Аллен наслаждался каждой минутой: тут он всегда прав, всегда в центре внимания, и ничто ему не угрожает. Выражение лица брата — потупленный взор, задумчиво растянутые губы — он решил трактовать просто как сосредоточенность, хотя знал, что тот его не одобряет. Сам же Освальд стремился придать своему лицу особо благочестивое выражение. И едва служба закончилась, не преминул осыпать брата замечаниями. Не успели больные разойтись, а Джордж Лэйдло — вновь выразить свою искреннюю благодарность, заставившую Освальда озадаченно улыбнуться, как он завел свою песню:

— Как же все это далеко от того, что пришлось бы по нраву нашему отцу, Мэтью.

— Верно. Столь же далеко, сколь, полагаю, далеки от него мы. Или я.

— Гм, — кивнул Освальд. — Отец не одобрил бы подобного свободомыслия.

— Да уж наверняка. Но, видишь ли, нужда и не такому научит. Я проповедую крайне смешанной пастве, причем, раз уж на то пошло, речь идет не только о вероисповедании.

— Он сказал бы, что все секты отличаются друг от друга, однако он воспитал нас в русле истинной веры. Я хочу сказать, тут все просто. Разве могут постичь истину секты, которые, как нам известно, заблуждаются?

— Освальд, даже при всем своем желании я не смог бы обратить это заведение в сандеманизм[1]. Начать с того, что

1. Религиозная секта, основанная в Шотландии в XVIII в. пастором Джоном Глассом и его зятем Робертом Сандеманом. Впоследствии к ней принадлежал, в частности, выдающийся физик Майкл Фарадей (1791–1867).

принципы истинной веры пришлось бы долго и подробно разъяснять людям, чьи умственные способности и без того находятся на грани краха. А если вспомнить, что паства должна быть едина в своих духовных порывах, то разве же можно добиться такого единства с паствой, состоящей сплошь из сумасшедших и слабоумных?

— Да и тебе самому едва ли знакомо это чувство.

— Да и мне самому. — Мэтью Аллен глянул сверху вниз на брата, который был на несколько лет старше и на несколько дюймов ниже него, и все еще пытался командовать вместо отца. — И меня частенько изгоняли. Вот так-то! — Он попытался рассмеяться. — Я был не слишком уж хорошим сандеманцем, а потому недостоин того, чтобы пытаться создать здесь общину.

Освальд даже не улыбнулся.

— Ты всегда был слишком слаб духом и отвлекался на мирские заботы. Тебе, видишь ли, не нравилось принадлежать к обособленной церкви, не слишком известной в обществе и лишенной всяческих украшательств. Тебе не по душе были нестяжание, лишения...

— Послушай, Освальд, неужели нам нужно вновь об этом говорить? Мне казалось, в свое время мы уже наговорились вдоволь. Что до лишений, я вижу их в избытке, наблюдая за своими больными, хотя и не всегда понимаю, зачем они нужны.

Освальд фыркнул.

— Я говорил о лишениях совсем в ином смысле. Помню, как недоволен ты был похоронами отца, их излишней простотой. Да, пожалуй, простота — вот что я имею в виду.

Тут он был прав. Вспомнив похороны, Мэтью Аллен вновь испытал неловкость: голые холмы, сплошь усеянные мелкими влажными катышками овечьего помета, доносящееся до скорбящих с порывами встречного ветра громкое блеяние животных, уродливо расступившаяся земля и ни слова, ни надгробного камня.

— Да, обряд показался мне... чересчур суровым. Я мог бы заплатить за надгробие — ну, хоть за что-нибудь, чтобы обозначить место его упокоения. Лежать вот так, неведомо где...

— Богу ведомо где.

— Да я понимаю, что Ему ведомо. Но люди покоятся среди людей. Общественная мораль — тоже мораль.

— Все суета.

— Не сомневаюсь, что ты так и думаешь. Полагаю, наши с тобой взгляды вполне устоялись.

— Устоялись, это верно. Знаю, как страстно тебе хочется казаться респектабельным. Что можно понять, если вспомнить, кем ты был. И где ты был.

— Кем я был, здесь никому не интересно... — Мэтью заметил, что начинает говорить на повышенных тонах, и приказал себе остановиться. Как же тяжело было говорить с Освальдом, который вечно искал в словах Мэтью проявления слабости, признаки двусмысленности, прикрывающей грех. Вот и теперь он стремился одержать своего рода победу, которой Мэтью, как он прекрасно знал, мог запросто его лишить, и все, что для этого нужно — не терять дружелюбия и жизнерадостности и не поддаваться на провокации. Если вовсе не выходить на поле боя, то никогда и не проиграешь.

— Давай-ка сменим тему, мы как-никак за столом, — сказал он и хлопнул брата по спине.

Обед стал для Освальда лишь еще одним подтверждением суетности братнего семейства, собравшегося за обеденным столом. Обе старшие дочери вышли к столу в кружевах и брошах. Носовые платки — и те у них были кружевные. И даже у флегматичного и здравомыслящего сына (которого Мэтью представил юношей трудолюбивым и исполнительным, этими своими качествами — тут он не смог удержаться от лести — напоминающим самого Освальда), даже у него на жилете красовались пуговицы из слоновой кости. Освальд не мог решить, какое из его подозрений ближе к истине и что хуже: либо брат до такой степени преуспевает, что может позволить себе расточительность в быту, либо снова влез в долги. Возможно, он попросит денег, чего Освальд отнюдь не исключал — но тут получит решительный отпор. Человек, попавший в долговую яму, пусть и много лет назад, должен был научиться жить по средствам, не швыряя деньги направо и налево.

Еще от одного бокала вина Освальд отказался, решительно накрыв свой бокал ладонью. Это резкое движение привлекло всеобщее внимание, и Освальд счел, что лишних слов тут не надо. Мэтью подозревал, что, выпивая в ином обществе, брат себя не ограничивал, и потому счел его непоколебимость показной. Вот Джеймс, Дорин жених, — тот пил, пил прямо на глазах у Мэтью, с тихой приверженностью напуганного, робкого человека, хватаясь за бутылку всякий раз, когда она оказывалась у него под рукой. Поистине, столь полное отсутствие характера не могло вызвать ничего, кроме разочарования. Мэтью надеялся, что Освальд не слишком заинтересуется этим бездарным прибавлением к его семейству. Однако на всякий случай он решил отвлечь брата, вынудив похвалить свою жену.

— До чего же вкусно, — проговорил он.

— И в самом деле, — попался на крючок Освальд, но тут же решил убавить пафоса. — Только что же это такое?

— Вареная курица, — внятно произнесла Элиза. — Ничего особенного. Если бы мы только знали, что ты приедешь, то могли бы позаботиться о настоящем угощении.

— О, не сомневаюсь. Но поверьте, на мой счет беспокоиться не стоит.

— Абигайль, сиди и жуй как следует!

— Итак, дядюшка Освальд, — вступила в разговор Ханна, от скуки надумав переломить ход нудного взрослого разговора, — вы, должно быть, знаете множество историй о том, каким папочка был в молодости.

— Послушай, — он промокнул рот салфеткой, — а как же соблюдение личной тайны и дочернее почтение?

— Но я же не имела в виду ничего постыдного.

Освальд в замешательстве поджал губы:

— Нет, я отнюдь не хотел сказать...

— Но если вы знаете что-то этакое, то тем интереснее!

— Что ж...

Мэтью бросило в жар. Ему вспомнилось, как он сжимался от страха, как прятался, был в бегах, вспомнилось понесенное наказание — что из всего этого Освальд, смакуя, вытащит на свет божий? Должно быть, как его всё время изгоняли. Сандеманцы требовали от прихожан единства духа, а тех, кто такового не выказывал, гнали прочь. Мэтью вспомнил деревянный молельный дом на краю болота, вспомнил доносившийся изнутри приглушенный жар голосов, в то время как сам он, изгнанный и пристыженный, бродил снаружи. Но ведь такое случалось в жизни каждого ребенка. Об этом он слышал от родителей, когда те открывали ему душу. И даже слышал кое о чем похуже. Вечно этот Освальд делает вид, что он, Освальд, никогда не был ребенком.

— Ханна, прекрати! — строго сказала мать.

— А может, не будем? — Мэтью быстро обвел глазами стол.

— Не бойся, братишка, я не раскрою твоих самых страшных тайн!

— Ну, пожалуйста! — захлопала в ладоши Ханна.

— Нет-нет. Хотя был как-то раз случай... Припоминаю, что твой отец всегда был своеволен и, так сказать, не без греха.

— А кто из нас без греха? — рассудительно поинтересовался Мэтью.

— Когда он был маленький, у него был учитель...

— А, я понял, о чем ты хочешь рассказать! — вмешался Мэтью. — Это был не человек, а варвар. После каждого урока я уходил с синяками.

— И вполне естественно, что при этом ваш отец — иначе он не был бы самим собой — не мог сдержать своих чувств. А возможность их выразить представилась, когда дело дошло до писем по образцу.

— А что такое письма по образцу? — спросила Абигайль, держа вилку торчком, словно крошечную алебарду. Она, несомненно, слушала с немалым интересом.

Освальд опустил взгляд на сидевшую за столом малышку. Вот типичный пример бессмысленного и ничем не сдерживаемого пренебрежения правилами: ребенку место в детской, а не за обеденным столом.

— Это когда ты учишься правильно писать разные письма, которые отправляются разным людям, — пояснила Ханна.

— В тот раз сочиняли письмо городскому судье, — продолжил Освальд. — Так что можете себе представить, что было дальше. Письмо призывало наказать мистера Мазерса по закону за жестокость и бесчинства.

Элиза рассмеялась.

— Так я и думала. И он побил бедного Мэтью.

— Однако ничего из этого не вышло, — добавил ее муж в качестве постскриптума. — Помню, что еще много недель спустя он вел себя точно так же. — Мэтью рассмеялся вместе со всеми, испытывая облегчение, что Освальд не рассказал чего похуже. Он встретился с братом глазами: тот глядел дружелюбно, хотя всем своим видом красноречиво намекал на то, о чем пришлось умолчать. Впрочем, Мэтью и здесь не преминул отомстить, указав пальцем на то место, где на усах брата повисла янтарная капля жира.

Борода Освальда отсырела и свисала редкими клочьями, похожими на намокшие птичьи перья. Мэтью, проведя рукой по холодным прядям собственной бороды, зачесал ее вперед.

— А что тут за деревья? — поинтересовался Освальд, сделав рукой широкий неопределенный жест.

— Вон те? — переспросил Мэтью, указав тростью на толстый темный ствол одного из них? — Это грабы.

— А, ну да.

— Очень крепкая древесина. Сейчас из нее делают детали для разных механизмов. Тут неподалеку есть производство.

— Тут? Неподалеку?

Когда они возвращались сырой тропой в Фэйрмид-Хауз, ступая по прелой черной листве, Мэтью Аллен заприметил впереди двух своих козырных клиентов — братьев Теннисон. Для случайной встречи лучше не придумаешь! Но что они вы-

творяют со своими лицами? Теннисоны передвигались нерешительными шажками, словно вслепую, обхватив ладонями щеки и растягивая глаза растопыренными пальцами как можно шире.

— Доброе утро! — окликнул их Аллен. Они взглянули на него неестественно вытаращенными глазами, словно морские чудовища, и лишь потом опустили руки.

— Что, ради всего святого... — пробормотал себе под нос Освальд.

Мэтью вышел вперед, чтобы поприветствовать братьев.

— А будет ли мне позволено поинтересоваться... — оживленно заговорил он.

Альфред непринужденно принялся объяснять, а Септимус молча спрятался у него за плечом.

— Мы это придумали в детстве, еще мальчиками. Я просто решил напомнить Сепу.

— Чтобы лучше видеть?

— Именно.

— И что, помогает?

— Доброе утро, — обратился Альфред к Освальду, который тем временем подошел и остановился рядом с братом, скрестив руки на груди. — Да, тут уж трудно не увидеть. Настолько, насколько вы вообще способны что-то увидеть.

— Понятно. Выслеживаете Верховную Силу, стало быть, — улыбнулся Аллен, хотя Альфред при этом смущенно опустил голову. — Джентльмены, позвольте мне представить вам своего брата, мистера Освальда Аллена. Освальд, это Альфред и Септимус Теннисоны.

— В высшей степени приятно познакомиться.

Альфред Теннисон протянул руку, вынудив Освальда изменить позу и пожать руки высоким и эксцентричным братьям. Однако Освальд сразу же вновь сцепил руки за спиной и, словно высокий гость, изучающе уставился на остальных.

— А как сегодня чувствуете себя вы, Септимус? Похоже, у вас неплохое настроение.

Не успел Септимус ответить, как из кроны дерева над ними выпорхнул дикий голубь. От громкого звука Септимус было съежился, но потом улыбнулся, мягко поднял руки и развел в стороны, будто извиняясь и одновременно пытаясь что-то объяснить. Но Мэтью выжидательно смотрел на него, словно требуя ответа. Септимус вновь взглянул на ошметки листьев под ногами и произнес шепотом, словно бы мимоходом, но все же уверенно: "Люблю зиму".

— Очень хорошо. Что ж, удачного дня вам обоим. Не смею отвлекать вас от прогулки.

Войдя на земли, принадлежавшие лечебнице, Мэтью взялся объяснять брату, кого они только что встретили, но Освальд опередил его вопросом:

— Что, ради всего святого, они делали со своими лицами?

— Так они же объяснили, разве нет? Или ты тогда еще не подошел? — Мэтью взглянул на обеспокоенное лицо Освальда и странным образом ощутил прилив любви к брату. Сколько он его помнил, Освальд всегда был запуган, зажат и непреклонен. Он был прилежным и серьезным мальчиком, побаивался горячности и звенящего голоса отца и тихо жил в нерушимом мире правил своего собственного изобретения. Мэтью вспомнил его ребенком — аккуратно причесанные волосы, шерстяной костюмчик, отчаянный, беспокойный взор, безмолвно взывающий о мире, покое и о том, чтобы все происходило по правилам, — и эта картина его умилила.

— Это Теннисоны, — продолжил он. — Линкольнширское семейство. И, надо сказать, семейство не из последних. Ты не поверишь, чего я только не наслушался от Септимуса! Опиум. Алкоголь. А еще зверинец. Обезьяна. Совы. Собаки без счету. Они из знати, но уже начинают вырождаться. Альфред — поэт, начинает прокладывать себе дорогу в жизнь. Ему пророчат большое будущее — прежде всего его друзья из Кембриджа. Жаль, что ты не погостишь у нас подольше. На Бедфорд-сквер бывают литературные вечера, я там завсегдатай.

Освальд особо не прислушивался, ушей его достигали лишь отдельные снаряды: "из знати", "Кембридж", "Бедфорд-сквер".

— Да, да. Ну, что ж. Такие дела.

— Прости?

— Очень рад за тебя, что ты водишь знакомство со знатью. Поистине, тебе есть чем гордиться.

— Освальд, перестань. Септимус — мой пациент.

— Конечно. Конечно. — Освальд остановился, вглядываясь в лицо брата. — Еще одна лазейка для твоей ужасной гордыни. Еще одна возможность унизить меня.

— Освальд, ради всего святого, о чем ты?

— Брось играть со мной в эти игры, Мэтью! — Освальд перешел на крик, лицо его побелело от злости. — Может, ты тут и неплохо устроился, и пользуешься уважением, хороший доктор и все такое прочее, но не забывай, что я-то знаю, кто ты есть на самом деле. Не сомневаюсь, что ты влез в долги по самые уши, чтобы все это обустроить. Запомни: от меня ты не получишь ни пенни!

Освальд был не меньшим занудой, чем любой из безумцев: лишь одна мысль всецело владела его разумом, вела его,

распирала изнутри. Мэтью пытался сохранить спокойствие, превратить все в шутку, но до чего же это было трудно! Вот лицо брата — такое знакомое, такое властное, его слова вновь подняли из небытия давно забытое прошлое, и к тому же Мэтью так устал от безумцев.

— Да. Не забывай, что я-то знаю, кто ты есть на самом деле. Литературные вечера на Бедфорд-сквер! Мэтью Аллен. Уверен, твоих новых друзей не оставит равнодушным рассказ о твоих долгах и арестах...

Это было уже слишком. Мэтью схватил брата за лацканы. Освальд поскользнулся на сырой тропе, но Мэтью удержал его, как бы ни было больно пальцам, впившимся в толстое сукно. "Только посмей... Только посмей..." Вдруг картинка перед глазами Мэтью словно остекленела. Вот прямо рядом с его руками — лицо брата, такое знакомое, но раздавшееся с годами. Он услышал свое собственное дыхание, мягкое похрустывание веточек под ногами. Услышал голос Фултона: "Отец!" И тотчас же поставил Освальда на ноги. Фултон был все ближе, и Освальд победно улыбнулся.

— Отец, тебя ждут дома.

Мэтью Аллен лежал, препоручив весь свой вес кровати, голова утонула в подушке, руки и ноги бездвижно покоились на перинах, словно плавучие бревна. Он любил свою постель — этот уютный островок, где он находил приют после неизбежных треволнений дня, проведенного среди сумасшедших, с их безумной, суженной до предела логикой, с их стенаниями, безнадежностью, озлобленностью и непристойным поведением. А здесь — здесь ему не надо напрягать ни единого мускула. Лампа тихо шипела. Рядом с ним на подушке высился такой знакомый и такой спокойный профиль Элизы: мягкие прямые брови, точеные ноздри, тонкая канавка, соединявшая их с большим, теплым, подвижным ртом. Ее лицо, окаймленное заколотыми волосами и ночным чепцом, отличалось перед сном особой простотой, какую чаще увидишь в церкви или в операционной, и эта простота его даже забавляла. Именно чепец делал ее облик столь милым, чуть детским и комично-церковным. Высокомерное, горделивое, непреклонное выражение ее лица во сне тоже не раз заставляло его улыбнуться.

— И на что ты, спрашивается, уставился? — проговорила она.

— На тебя. Разве нельзя мужчине поглазеть на собственную жену?

— А с чего вдруг? Я выгляжу... у меня где-то что-то не так?

— Нет-нет, ты выглядишь чудесно.

— Ну, тогда ладно. Завтра утром он уезжает.

— Да, уезжает.

— И он вел себя с нами не так уж и дурно.

— Э, не скажи. Жду не дождусь, когда мы его наконец спровадим. До чего же он обидчив и злопамятен.

— В самом деле?

— Да ты не знаешь и половины.

— Чего же я не знаю?

— Неважно. Нет ничего важного, что тебе следовало бы знать, что имело бы смысл рассказывать.

— Что ж, сочувствую. Как я погляжу, он тебя совсем замучил.

— И ведь по-другому он просто не может.

— Бедный драный старый кот, — проговорила она. И, мягко прижавшись к мужу, погладила его по голове.

— Ммм, хорошо.

— Да, — сказала она, надув губки.

Мэтью сунул руку под одеяло и положил ладонь на ее широкое теплое бедро. Под скользящей мягкой тканью тело казалось особенно гладким.

— Лучшее успокоительное.

Отбытие Освальда Аллена вышло на редкость благостным. Он раздал детям шестипенсовые монеты, что, впрочем, порадовало лишь малышку Абигайль. Поблагодарил Элизу за гостеприимство и пригласил все семейство к себе в Йорк.

Мэтью и Элиза проводили его пешком на станцию — он настоял, что карета ему не нужна, и во время прогулки все напряженно молчали. Однако Освальд делал вид, что его живо интересует все вокруг: бездвижное и безучастное стадо, пруды, окруженные сухим камышом, прохожие.

Заняв место в вагоне, он помахал им на прощанье рукой в перчатке. Перчатка была застегнута на пуговки сбоку, пальто — спереди, воротничок — под самый подбородок. Мэтью подумалось, что вот, наконец, брат упакован в смирительную рубашку и благополучно подготовлен к отправке. Освальд, повернувшись к ним в профиль, открыл небольшую книжицу, должно быть, религиозного свойства, и принялся читать.

— Давай-давай, — прошептал себе под нос Мэтью, — скатертью дорога.

Паровоз зашипел, лязгнул и покатил четыре своих вагона в сторону Лондона. Перрон заполнился дымом. Словно джинн в облаке, Освальд исчез.

— Надеюсь, мы его еще некоторое время не увидим.

— Ты забыл о свадьбе.
— И правда забыл.
Свадьба. На которую нужны деньги.

Играть никто не хотел. Отец ее как будто не замечал. Даже когда Абигайль вскарабкалась к нему на колени, он едва заметно ей улыбнулся и спустил обратно на пол. Не прошел даже обычный фокус со скручиванием его уха в трубочку: он лишь мотнул головой, как норовистый конь, и отругал ее за то, что она трогала его бумаги, хотя на самом деле она к ним даже не прикоснулась. Когда она ему об этом сообщила, он извинился и даже улыбнулся, но, запечатлев у нее на лбу крепкий и щекотный поцелуй, все же отослал прочь.

Ханны нигде не было, с матерью дело обстояло ничуть не лучше: та вела какой-то бесконечный разговор с Дорой. Абигайль подергала было ее за юбки, но мать решительной рукой высвободилась, после чего принесла теплую одежду, засунула туда Абигайль, туго завязала шапку, совершенно оглушив малышку, и отправила побегать в саду.

Снег! Свежий снег засыпал прогалины и сиял теперь повсюду. Яркий свет бил прямо в глаза. Абигайль зажмурилась и вдохнула до того морозный воздух, что у нее даже защипало в носу. Она пробежала немного вперед, оставляя следы, оглянулась на них и побежала по лужайке, но не успела приспособить шаг и споткнулась, забелив колени и рукавицы. Она лизнула снег на ладошке: вроде и никакого вкуса, но чувствуется в нем что-то большое и неназываемое, исполненное дали, исполненное небес. Снег быстро просочился сквозь шерсть, и рукам стало зябко. Абигайль отряхнула их о пальто и побежала дальше, вспомнив о водяном насосе неподалеку от Фэйрмид-Хауз.

И не напрасно. Что за сосульки свисали из его жерла! Ровные у самого основания и заостренные книзу, выпуклостями и неровностями они походили на стручки гороха, а на самом кончике каждой сосульки висела, словно стеклянная бусина, застывшая капля. Отломив одну из сосулек, малышка немедленно сунула ее в рот и держала на языке, пока во рту не набралось на целый глоток воды.

Там ее и застал дурачок Саймон. В пальто, перчатках и натянутой по самые глаза шапке он казался огромным, словно бы раздувшимся. Абигайль показала ему сосульки, и ему тоже сразу понадобилось отломить одну из них. Сосулька выскользнула из рук, и Саймону пришлось ловить ее в снегу, чтобы сунуть в рот. "Холодная", — пробормотал он.

— Давай слепим снеговика! — попросила Абигайль.

Саймон покачал головой.

— Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста!

Саймон снова покачал головой.

— Давай кошку, — предложил он.

Вместе они скатали два снежных кома — побольше и поменьше. Саймон водрузил маленький ком на большой. Руки в промокших варежках зудели и чесались, а когда слишком замерзали, девочке приходилось ими встряхивать, но она все же помогла Саймону слепить треугольные уши, которые они приделали сверху на меньший ком. Однако потом Саймон дал своей помощнице отставку, решив, что дальше будет делать все сам. Он попытался воткнуть оставшиеся три сосульки вместо усов, но их непонятно как было делить пополам, и к тому же они слишком уж торчали в стороны, а потом и вовсе выпали. В итоге Абигайль решила, что у них получилась никакая не кошка, а просто снеговик с дурацкими ушами.

Когда Мэтью Аллена осенила эта идея, он аж вскочил с кресла. Только осуществимо ли это? Да, безусловно осуществимо. А не читал ли он прежде о чем-либо подобном? Все составные части были тут как тут: разбросанные по журналам и научным трактатам, в окружающем его мире, прямо у него перед глазами, на самом виду — и вместе с тем незримые. И вдруг они сошлись у него в голове, соединились в этом исключительном, вдохновенном сплаве, в идее, которая решала сразу все проблемы. От возбуждения он весь сжался, словно пытаясь удержать, не упустить посетившую его мысль. Он пришел в восторг от возможного развития событий, от его общественных, духовных, финансовых сторон — и, не удержавшись, даже захлопал в ладоши. Скуке конец! Да, в самом деле. Не в силах усидеть на месте, доктор отправился на прогулку. Без шляпы и пальто он вышел из кабинета навстречу белому утру.

Мир был весь как напоказ. Вся лужайка в инее, каждая былинка, каждый стебелек — все украшено кристалликами льда. Ломаясь, они хрустели под ногами. Он поднажал, каждым своим шагом круша и давя лед и оставляя позади себя следы — на которые он даже оглянулся — цвета зеленого камня, мокрого малахита. Шагая, доктор потирал руки и смеялся. Да, вот они, деревья, милые друзья, вот они собрались тут и ждут его. Целым строем поджарых лакеев застыли в ожидании его указаний. Обнаженные ветви чутко колышутся на фоне исчерченного облаками белесого неба. На одном из деревьев какие-то птички — не иначе как синицы — затеяли порхать с ветки на ветку, меняясь местами, и вдруг все вместе унеслись прочь в прелестной панике. Проследив за ними взглядом, доктор

увидел невысокого сгорбленного человечка, направляющегося к нему со стороны Фэйрмид-Хауз. Он узнал походку: весь немалый вес приходится на бедра, шаги мерные и прямые, плечи напряженно приподняты — иначе не удержать столь обременительной головы. Джон Клэр.

Джон подошел к доктору, который казался необыкновенно оживленным: без шляпы и пальто, он приплясывал на месте, дуя на озябшие ладони, то и дело улыбаясь. А что если у него новости, о которых Джон только и мечтал, презирая себя за слабость, но будучи не в силах отказаться от мучительной надежды.

— Доброе утро, доктор!

— О, да. В самом деле. Чудесное утро, — и Аллен театрально втянул трепещущими расширенными ноздрями воздух, словно вкушая сладостную ледяную ясность. Он чувствовал себя бодрым и окрыленным.

— У вас для меня ничего нет?

— Простите?

— Я хочу сказать, чего-нибудь для меня от... ну, знаете...

— Ах, да. Ах, да, на самом деле есть. Как раз вчера пришло письмо, но мы с вами не виделись. Вот оно, — Аллен сунул руку в карман пиджака. — Только не знаю от кого.

Джон взял у него письмо. Обратного адреса нет.

— Вам не холодно? — спросил он, вновь подняв глаза. Доктор спрятал руки под мышками и притоптывал ногами.

— Да, похоже на то. А давайте пойдем ко мне, выпьем чаю?

Войдя в дом, доктор Аллен сразу направился на кухню. Джон потрусил за ним. Шуганув повариху и девочек, что были у нее на побегушках, Аллен сам взялся готовить чай. Не переставая напевать себе под нос, он открыл чайницу и достал с полки чашки. Джон сел за стол, вцепившись обеими руками в письмо, и уставился на девочек, сгрудившихся у стены и болтавших без умолку. Ему захотелось дать им знать, что и он — один из них. Он попытался показать это своей позой, не двигаясь с места, изображая из себя этакий неловко увязанный человеческий сверток, который принесли сюда, да тут же и забыли. Но девочки никак не хотели встречаться с ним взглядом. Им до него не было дела. В прежние времена все было иначе — в те поры, когда он, страшно смущаясь, неуклюже шагал в грубых, подбитых гвоздями башмаках по полированным паркетам своих знатных покровителей, этакий не слишком-то похожий на гения тип, которого приглашали наугад, чтобы побеседовать да поглядеть, а потом отсылали на ту половину дома, где жили слуги, чтобы его накормили обедом, прежде чем он отправится обратно к се-

бе в деревню. И он жевал хлеб с ветчиной и чувствовал, как расслабляются мышцы лица, уставшие изображать улыбку, и забывался, прислушиваясь к разговору прислуги. Но теперь-то он больше не был крестьянином, не был и поэтом. Тот, кого они перед собой видели — если вообще видели, — был одним из здешних больных, попросту сумасшедшим.

Перестав обращать на них внимание, он распечатал письмо.

Глубокоуважаемый поэт, мистер Джон Клэр!

Я, как и Вы, простой человек, во всяком случае, если взглянуть со стороны. Надеюсь, Вы простите мне ту дерзость, с которой я к Вам обращаюсь. Примите мои уверения, что я берусь за перо не без смятения.

Я простой трудяга из графства Дорсет. Работаю батраком, как работали и вы, если я чего не путаю, но этим моя история не исчерпывается. Вот уже много лет я питаю сильную тягу к высокому искусству поэзии и приношу жертвы на алтарь Музам. Добрые люди говорили мне, что мои сочинения не лишены достоинств, и что я небесталанен...

Ничего. Ни тебе поддержки, ни отклика из литературного мира, повернувшегося к нему спиной, списавшего его со счетов и бросившего умирать в глуши. Джон пробежал глазами привычную просьбу о помощи и, не будет ли он столь любезен, взглянуть "грозным взором" на прилагающиеся сочинения? Может быть, кто-нибудь из его друзей, сочувственно относящихся к сельской поэзии, захочет опубликовать одно из них?

— Чай, — сказал доктор Аллен, протягивая Джону чашку.

Джон скомкал письмо и засунул в карман — позже посмотрит, как оно почернеет и скрутится в огне. Тем временем доктор, не удосужившись присесть, быстро выхлебал свой чай.

— А может, есть какие-нибудь новости? — спросил Джон. — По поводу тех моих стихов, которые вы отправляли своим друзьям.

— А. О, да. Да, простите. Совсем вылетело из головы. — Джон увидел, как доктор с трудом согнал с лица непрерывно светившуюся там улыбку, и понял, что ничего хорошего не услышит. — Да, боюсь, вы были правы в своем предположении касательно того, что ваш род гения вышел из моды. То, что в таких вопросах оглядываются на моду, безусловно, заслуживает всяческого осуждения, однако, мне представляется, бывают такие периоды...

Приподнятое настроение доктора перетекло в рассуждения на тему новейших тенденций в сфере литературных вкусов, а Джон, для которого чашка чаю превратилась теперь в обузу, принялся громко составлять в уме ответ Э. Хиггинсу, эсквайру, где было бы сказано все, что тому следовало знать.

...ни при каких обстоятельствах не возлагайте даже малейших надежд... изменчивы и капризны... держитесь подальше от своих собратьев... отняли у меня душевный покой, родину, жен...

Когда Маргарет проснулась, было еще темно. Прежде чем пошевелиться, она некоторое время лежала спокойно, широко раскрыв сухие глаза, удерживая пальцами верхний край одеяла и всматриваясь в смутные серые очертания комнаты.

Мир — комната, заполненная громоздкой мебелью. А потом вам разрешают из неё выйти.

Она ощутила, как внутри нее так же спокойно лежит Безмолвный Страж. Так она называла его — того, кто следил за всем происходящим, хотел, чтобы она продолжала жить, и порой давал ей об этом знать, но ничем не мог помочь. Он лишь наблюдал, наблюдал откуда-то из глубины ее глаз. Следил за влажными глазами ее мужа, глядящими на нее сверху вниз, следил, как муж заставлял ее есть тухлое мясо, смрадное, отливающее синим и зеленым, этими радужными оттенками распада. Следил и запоминал. Как муж запирал ее в уборной. Как она пристрастилась проводить дни в приходской церкви, полюбив тамошний покой и защищенность.

Она заставила себя подняться с постели и выпустила тонкую струйку в ночной горшок. Подошла к тазу с водой и проломила хрупкую корочку льда. Распустила завязки на шее и стянула через голову ночную рубашку. И застыла обнаженная, не видя во мраке своего тела — тени, вознесшейся над полом. Потом она зачерпнула ледяной воды и плеснула на голову и шею — будто полоснула кожу бритвой. Маргарет любила зиму, любила чистоту ее наказаний, чистоту бодрствования перед отходом ко сну, при свете одной лишь свечи. Но рядом всегда был муж, он не отставал от нее, заполнял собою сияющую пустоту, и к тому же терпеть не мог холода: сквернословя и кляня все на свете, он все пуще раздувал огонь, играл в карты, пьянствовал, обжирался, хохотал красным ртом, а по ночам, распалившись, жалил и жалил ее своим осиным жалом.

Она вытерла насухо гладкую онемевшую кожу. Снова натянула ночную рубашку. Держась за край стола, опустилась на колени помолиться. На мутно-серой стене явственно про-

ступал черным маленький деревянный крест. Она вперила взор прямо в него. И начала.

Мэтью Аллен поднял голову и вгляделся в утро. Вот они, деревья, прямо за голубой лужайкой. Тонкие ветки сливаются, образуя коричневатую дымку. Он вновь опустил взгляд на листок с расчетами.

В сумме получалось вполне прилично, и это при весьма умеренном количестве предполагаемых заказов. Он улыбнулся. Вновь поднял глаза и увидел, как по лужайке тихо скользнула лисица, почти касаясь низким брюхом земли и ведя по ней острым носом. До чего она легка в движениях, до чего быстра, словно стрела, устремленная в цель.

Джон проснулся в ярости, прекрасно отдавая себе отчет в том, где он. Скатился с постели, с глухим стуком опустив босые ноги на половицу. Справил малую нужду в ночной горшок, прочистил горло и сплюнул туда же, после чего задвинул ногой горшок обратно под кровать, ощутив пальцами тепло фарфора.

Он обтер лицо холодной водой из кувшина, гоня прочь сон, все еще опутывавший его мысли. Девушка с темными непокорными волосами. Она хотела раскрыть ему тайну, которую он бы понял. Глаза у нее сияли. Даже его мужское достоинство встало торчком, когда она приблизила к его уху влажные губы и принялась шептать слова, вспомнить которые он не мог, но которые тихим эхом звенели у него в душе, не отпуская, полнясь смыслом. Что-то о месте, которое она могла бы ему показать, если бы он пошел за ней. Ему так хотелось узнать, о чем она говорит, что он даже проснулся: напряженный, припухший со сна, изо всех сил стремясь вслед за ней. Теперь он раскрыл глаза, словно специально для того, чтобы не видеть заветного темного блеска ее глаз и не чувствовать минутного прикосновения ее волос. Смочив голову, он быстро оделся и прямо в одежде уселся на постель. Что бы такое сделать? Куда бы пойти? Прочь отсюда. Этого будет достаточно. В конце концов, у него есть ключ. Подождать в комнате, пока кончится завтрак, выклянчить у девушек на кухне хлеба и уйти куда глаза глядят.

Уильям Стокдейл заканчивал чистить ботинки, растягивая двумя руками лоскуток и споро водя им по носку ботинка туда-обратно, словно доил корову. Теперь другую ногу. А теперь можно и натянуть штрипки, попавшие точно между каблуком и подошвой.

Он свернул лоскуток и положил обратно в ящик.

Развел руки в стороны, сделал поворот торсом влево-вправо, влево-вправо. Словно ветряная мельница, помахал руками, чтобы наполнить их кровью, а когда закончил, руки и впрямь стали тяжелее и ухватистее.

Оправил куртку, одернул рукава. Не в пример больным, он одевался подчеркнуто аккуратно, застегивался на все пуговицы, не позволяя себе никаких вольностей.

Подхватив увесистую связку ключей, он вышел. И запер за собой дверь.

Ханна сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. Они ниспадали по обе стороны от тонкого пробора — белой полоски кожи, казавшейся девушке слишком широкой из-за того, что волосы у нее были прискорбно тонкие. Она водила по ним расческой от макушки до кончиков, пятьдесят раз с каждой стороны, пока волосы не стали шелковистыми и блестящими, и перестала лишь тогда, когда они начали взлетать вслед за расческой. И тогда свет, подобно венцу, окружил ее голову ровным сиянием.

Ловкими и быстрыми движениями она разделила волосы на пряди и заплела две косички, начинавшиеся от висков. Оставив их на время в покое, зачесала остальные волосы за уши и заколола, а потом свила волосы, спускавшиеся по спине, в жгут и приколола его к макушке. После чего свернула две заплетенные косички колечками и заколола, обрамив ими хрупкие, точеные белые ушки.

Девушка оглядела себя с тем внимательным выражением, которое всегда придавала своему лицу перед зеркалами: губы крепко сжаты и опущены, глаза умильно глядят вверх, лицо бездвижно. Повернула застывшее лицо в одну сторону, потом в другую. Неплохо. Едва ли можно желать лучшего. Сегодня она постарается, чтобы хоть что-нибудь произошло. Ситуация вполне прозрачна: вот он, вот она. Дело за малым: начать.

Джон услышал, как ворота захлопнулись, но замок тут же щелкнул вновь, и за спиной раздались быстрые шаги. Он сошел с тропы и спрятался за толстым, влажным стволом. Жуя ломоть хлеба, который он никак не мог смочить слюной, чтобы наконец проглотить, он увидел угловатую фигуру Уильяма Стокдейла, направлявшегося куда-то по своим делам: должно быть, в Лепардз-Хилл-Лодж, то легендарное место, хуже которого не бывает. Джон прислонился к стволу. Под его подошвой мягко хрустнула сырая ветка. Уильям Сток-

дейл остановился. Джон наклонил голову и прижался к холодной и скользкой древесной коре. И вновь кусочек той же самой ветки сломался у него под каблуком. Он услышал, как Уильям Стокдейл возвращается. Не иначе как приметил Джона: послышался стремительный шорох шагов по листьям, и тотчас же Джон ощутил удар по плечу. Стокдейл вытащил его из-за дерева, чуть приподняв, словно котенка за шкирку, и изо всех сил дернул за пальто.

— У меня есть ключ, — сказал Джон. — У меня есть ключ.

— Чего ж ты прячешься, дурак?

— Глядите. Глядите, — вытащив из кармана ключ на измочаленной тесемке, Джон помахал им прямо перед глазами Стокдейла.

— Так чего ж ты прячешься? — Уильям Стокдейл выпустил его и отряхнул свой пиджак.

— Не знаю.

— Я уж думал, ты тут сбежать пытаешься.

— Нет.

— Ну, тогда ладно. Значится, просто валяешь дурака. — И он грубо потрепал Джона по щеке.

Стокдейл ушел, а Джон наклонился, чтобы поднять оброненный хлеб, стряхнул с него налипшую землю и ошметки листьев и откусил. Он пыхтел и ругался, но хлеб все равно застревал в горле.

За долгие часы прогулки он не раз проигрывал в уме происшествие, все сильнеее распаляясь. Надо было показать этому Стокдейлу, где раки зимуют, уж кто-кто, а боксер Джон мог бы его проучить. Вновь и вновь Стокдейл с дрожью отступал, виноватый и потрясенный, вновь и вновь ощупывал свое лицо и, моргая, разглядывал кровь на кончиках пальцев. Джон был само великодушие, считая, что раз мерзавец получил по заслугам, об этом можно забыть раз и навсегда. А если Джону казалось, что урок не слишком хорошо усвоен, он продолжал бить до тех пор, пока его противник не падал поверженный в траву, пуская кровавые пузыри.

Альфред кружил по льду, и ветви окружавших пруд деревьев кружились вместе с ним. Его плащ развевался на ветру так, что казалось, будто у него выросли крылья. Он катился, перенося вес то на одну, то на другую ногу, и коньки несли его по льду с тонким звуком точильного камня. Лишь в движении ему удавалось хоть немного разогнать свою густую кровь, в полной мере прочувствовать этот пронзительный зимний день. Выписывая загогулины на льду, исчерчивая узорами замерзший пруд, он почти переставал думать об Ар-

туре[1], о своем милом покойном друге, мысли о котором иначе его не оставляли.

Очертив круг, он оказался на противоположной стороне пруда, и там его вспугнула девичья фигурка, темным силуэтом выступившая на фоне неба цвета потускневшего серебра. Замедлив движение, он подъехал к ней. Она спокойно стояла на берегу, возвышаясь над ним.

— Добрый день? — вопросительно произнес он.

Темные глаза, словно отполированные ветром, сияли на его землисто-желтом лице.

— Добрый день, — откликнулась Ханна.

— Чем могу служить?

— Я пришла...

— Вы дочка Аллена, так ведь? Белокурая Как-вас-там...

— ...вас навестить. Я пришла вас навестить. В случае, если...

— Ясно. Вас просили что-нибудь мне передать?

— Нет. Я подумала, что вам может быть одиноко...

— Ясно. Вы пришли меня навестить.

— Верно.

— А зовут вас...

— Ханна.

— Ханна. Ну, конечно же.

Движимый любопытством, он неосторожно наклонился вперед, чтобы лучше разглядеть ее лицо. И заметил, что ее бледные губы дрожат, когда она, вдохнув морозный воздух, едва заметно выдыхает.

— Вы замерзли, — сказал он. — Пойдемте в дом?

Она кивнула.

— Минуту, — он отъехал туда, где легче было выбраться со льда. Она пошла вокруг пруда ему навстречу и молча протянула руку, чтобы помочь подняться на берег, но он не увидел и вскарабкался сам, цепляясь за траву. Вместе они двинулись в сторону дома, Теннисон ковылял, возвышаясь над Ханной, молча размышлявшей, отчего бы ему не отстегнуть коньки и не идти в ботинках, что было бы несравненно удобнее. Она с гордостью шествовала рядом с ним, подчиняя свой шаг его медленной и осторожной поступи, и лишь самую малость досадовала на острый сладковатый запах пота, исходивший от его одежды. У порога он наконец снял коньки, наклонившись так низко, что она смогла разглядеть его макушку. Густые волосы, поистине густые, и каждый толщины необычай-

1. Артур Генри Хэллем (1811—1833) — английский поэт. Известен прежде всего благодаря стихотворению Теннисона "Памяти А. Г. Х.". Путешествуя по Европе с отцом, внезапно умер в Вене от кровоизлияния в мозг.

ной, ниспадали крупными волнами. В них застрял обрывок листика. Ей захотелось ухватить его и вытащить, но, конечно же, она не посмела, как не посмела ничего сказать.

Теннисон открыл дверь и провел ее в дом. Войдя, она тотчас же принялась поедать глазами обстановку, в надежде увидеть хоть что-нибудь, что говорило бы о необыкновенной жизни хозяина, но увидела лишь самую обыкновенную прихожую: обои, столик, зеркало. Однако на оленьих рогах висели его пальто и та самая широкополая черная шляпа. Он скинул плащ и повесил туда же. А потом, проявляя должную почтительность, нежными пальцами бесстрашно прикоснулся к ее плечам и, сняв с нее пальто, повесил рядом со своими. "Благодарю", — прошептала она.

Увы, его джентльменской учтивости хватило ненадолго: не удосужась пропустить ее вперед, он устремился внутрь дома с такой скоростью, что ей пришлось бежать за ним чуть ли не вприпрыжку. Однако, оказавшись в комнате, где все говорило о том, что здесь живет поэт, она почувствовала себя с лихвой вознагражденной. Он склонился к камину, чтобы добавить дров, после чего ему пришлось вытереть испачканные сажей и золой ладони о штаны, а она тем временем изучала дивный творческий беспорядок. Груды книг и бумаг, продавленная тахта и захламленный стол, обсыпанные пеплом трубки с короткими чубуками и натыканные повсюду обожженные лучины — все говорило о том, что это его кабинет, куда он собрал кучу всего, не думая о том, какое это производит впечатление. И вот теперь он, расталкивая подушки, пробирался к середине своего обиталища, которое словно бы излучал из себя. Комната как будто изливалась из него, и побывать в ней в его отсутствие было бы равносильно тому, чтобы подслушать его мысли или выведать что-нибудь о нем у его друзей. А на столе, в толстой распахнутой тетради, больше всего похожей на книгу, куда мясник записывает долги... вдруг там новое стихотворение? Строки определенно обрываются на середине страницы. Его почерк. Притягательная, словно магнит, страница поплыла перед ее глазами. Там жили стихи. Ах, если бы ей только довелось пересечь комнату и прочесть эти только что написанные слова, которых никто пока не видел, кроме нее и поэта, выбравшего их из множества других слов. Как бы они пели в ее душе! Какие же чувства он туда вложил?

— Садитесь же, — сказал он, — а я велю подать чаю.

Позвонив в колокольчик, он опустился на тахту напротив кресла, где примостилась она. Вытянув и скрестив длинные ноги, он запустил пальцы в волосы, решительно взъеро-

шил их, но так и не вычесал обрывка листика, который она приметила еще в прихожей.

— Итак, вы дочь доктора Аллена, — повторил он.

— Да, так и есть.

Дверь отворилась. Вошла служанка. Пожилая женщина, седая, с огрубевшими руками и красными прожилками на щеках — следами холодной погоды и возни у кухонного очага, она мельком глянула на них и присела в реверансе.

— А вот и миссис Йейтс.

Миссис Йейтс неспешно кивнула, обведя глазами хозяина и его юную гостью. Ханна пристыженно уткнулась взглядом в колени и натянула пониже юбку быстрым, обыденным движением, пытаясь создать видимость безразличного спокойствия. Она не подумала о том, что их могут увидеть вместе.

— Да, видите, мы тут сегодня решили отдохнуть. Так что принесите нам, пожалуйста, чаю. Ну, и чего там к нему положено. И побольше того, чего положено, будьте уж так любезны. Катание на коньках, знаете ли, разжигает аппетит.

— Слушаюсь, сэр.

Миссис Йейтс, пятясь, вышла из комнаты. Теннисон улыбнулся Ханне. Казалось, он хочет что-то сказать. Ханна подняла голову, посильнее вытянув шею, чтобы та выглядела длинной, как у Аннабеллы, и застыла в ожидании. Но Теннисон ничего не сказал. Теперь его внимание отвлек камин. К счастью, Ханна заготовила несколько вопросов.

— Как вам нравится в наших краях, мистер Теннисон?

— О, я очень доволен, — он вновь взглянул на нее. — Да, здесь у вас весьма мило.

Ханна покраснела.

— А вы уже были в Копт-Холле? — спросила она.

— Нет. Должен признать, не был.

— Кажется, это там впервые поставили "Сон в летнюю ночь", специально к свадьбе. Это прелестный дом в лесу. Вам отсюда ничего не стоит дойти...

При этих словах он вскочил и склонился к ней, широко распахнув глаза. Она почувствовала, как его взгляд пронизывает ее насквозь, отдаваясь в позвоночнике.

— Так что же, все они были здесь? И Гермия, и Лизандр, и все остальные, все блуждали в этом лесу? И Пэк являлся им в ветвях? Как хорошо, что вы мне об этом сказали!

С пустым желудком, ощущая легкость во всем своем хрупком теле, Маргарет стояла посреди леса, глядела на голые, тянущиеся во все стороны ветви и думала о висящем на них теле Христовом, о пяти Его ранах. Тёрн, сродни тому терну, что

растет здесь, стягивал Его голову тугим венцом, и голова полнилась болью. Раны от гвоздей, вбитых в Его бедную невинную плоть ударами Греха. Они удерживали его. На них он висел. Неожиданно эта мысль стала расти и шириться. Так вот как он висел в этом мире: Его раны, Его боль — они-то и соединяли Его с миром. И тут она ощутила то же самое и в себе: что именно в точках ее соприкосновения с миром рождается боль, что душа ее пригвождена к плоти и страдает, задыхаясь от несвободы. Она крепко сцепила пальцы, подчиняясь силе этой мысли. И со свистом задышала сквозь сжатые зубы, полнясь благодарностью за это откровение и страстно желая новых.

Абигайль возилась на коврике у камина со своими куклами, вполуха слушая разговор родителей. От жара ее левая щека раскраснелась, кожа словно бы натянулась, а одежда высохла до хруста. Если не двигаться, можно было ощутить где-то внутри головы белое сияние. Она знала, что, когда сидишь у камина, остальная комната кажется темной и холодной, будто стылая вода, и ей это нравилось. Куклы глядели друг на друга глазами-бусинами, которые мерцали в свете камина, когда девочка наклоняла их друг к другу и вела за них беседу: "Да что ты говоришь, Анжелика..."

— Кроме всего прочего, вполне возможно, что в итоге я смогу вернуться к своим лекциям, — произнес Мэтью.

— Возможно, — Элиза, проходя мимо, погладила мужа по макушке, после чего присела рядом с ним, — если все пойдет так, как ты задумал.

— Если! — повторил он. — Если! — Элиза зачастую не разделяла его энтузиазма, пока он на деле не доказывал, что был прав.

— Ну, — поддразнивая мужа, медленно проговорила она, — как знать.

— Очень даже понятно как! Во-первых, здесь у нас уже есть несколько работающих промышленных компаний, откуда следует, что это вполне осуществимо. Во-вторых, моя схема обладает целым рядом преимуществ перед тем, как работают они, а значит, в ближайшем будущем я смогу вытеснить их с рынка. Так что не сомневайся. И уверяю тебя, — продолжил он, погрозив ей пальцем, — мои выступления в скором времени будут востребованы по всей стране.

— А что у тебя за схема? — спросил Фултон, который только что вошел в комнату с книгой в руке.

— Не беспокойся, сынок. Со временем ты все узнаешь. Ведь не исключено, что все это весьма ощутимо повлияет на твое будущее. И на твое состояние.

— Так почему бы тебе не рассказать мне прямо сейчас? Зачем держать меня в неведении? — Фултон незаметно сжал в карманах кулаки.

— Нет-нет, пусть некоторое время побудет втайне. Для этой личинки еще не настало время вылупиться из кокона. Скажем, пока что речь идет... ну, о некотором механизме.

— О механизме? Машине?

Абигайль, которая теперь уже внимательно прислушивалась к происходящему, решила вставить только что услышанное в разговор между куклами: "Машина для изготовления пирожных, — произнесла она, — только, чур, никому! Это секрет".

— Абигайль, не сиди так близко к огню. Ты же сгоришь дотла! — обернувшись, сказала Элиза.

Абигайль в ужасе подняла глаза и тотчас же отползла подальше.

— Да нет, не на самом деле сгоришь, — заверила ее Элиза.

— Это просто фигура речи, — объяснил отец.

Взрослые с любовью улыбнулись, в том числе и Фултон, который уже почти успокоился и чувствовал себя причастным к их тайне, в чем бы она ни заключалась.

Две лошади в попонах стояли друг за другом, на их длинных ресницах намерз иней. Они с трудом поморгали выпуклыми, опущенными долу глазами, когда Джон, проходя мимо, погладил их по спинам и направился к затихшей стоянке.

Вокруг желтого костерка, укутав спины толстыми одеялами, склоняясь к огню и неотрывно глядя в него, сидели люди.

— Иезекииль? — окликнул Джон.

— Ты меня нашел, — ответил, обернувшись, один из сидевших у костра. — Джон Клэр, не иначе. Ты снова с нами.

— Да, нашел.

— Должен тебя огорчить, еды теперь стало мало. Ты голоден?

Джон хотел было сказать, что нет, но минутное колебание выдало его.

— Так значит, голоден? У нас есть немного мяса. Сейчас достану сковороду. Позже мы принесем еще, маленьких сладеньких hotchiwitchis. Самое время для них сейчас. Но для начала надо немного укрепить дух в твоем теле, а ну как не дождешься?

Иезекииль вытащил откуда-то жирную черную сковороду и, швырнув на огонь, двигал ее до тех пор, пока она прочно не угнездилась на дровах. Джон присел на полено рядом с одним из мужчин, улыбаясь всем, чтобы показать свое дружелюбие,

и протягивая белые руки к потрескивающему костерку. Иезекииль встал и, удерживая на поясе одеяло, мелкими шажками двинулся к кибитке, откуда принес кусок оленины, уже протухшей и вовсю смердевшей. Достав из кармана нож, он откромсал несколько тонких ломтиков белесого мяса и бросил на сковородку, где они тотчас же зашипели и изогнулись. Когда мясо зажарилось до черноты, Джону предложили его отведать, вытащив из сковороды пальцами. На вкус мясо мало отличалось от угля, однако оказалось вполне съедобным и горячим. Джон съел всё без остатка и облизал пальцы.

— Холодает, этак и околеть недолго, — сказал Иезекииль.

Джон вытер рот тыльной стороной ладони.

— Давайте поборемся, — предложил он, все еще не растеряв воинственности после встречи со Стокдейлом. — Побоксируем немного. А ну, есть тут кто-нибудь, кто дрался на ринге? — Он поднялся и несколько раз ударил воздух полусжатыми кулаками. — Пусть выходит на бой! Кто тут самый смелый?

Мужчины рассмеялись.

— Есть у нас такой человек, — сказал Иезекииль. — Разъезжает по ярмаркам. Зарабатывает деньги своей чугунной башкой.

— Весь ум из нее вышибли, — добавил другой.

— Иеремия, — пояснил третий. — Дерется как сам Цыганский Барон.

— Сейчас проверим, быстра ли твоя рука, Джон Клэр, — сказал, вставая, Иезекииль. Подняв плечи до самых ушей, он выставил вперед два крепких кулака.

— Вот и славно, — ответил Джон, выдохнув облачко пара и нанося прямо сквозь него правый хук.

— Вот это запах! — сказала Ханна, улыбаясь сквозь редкие жгучие слезы. — Вы курите какой-то особый сорт табака?

— Здесь главное, — ответил Теннисон, отрывая трубку от нижней губы, — загодя как следует его просушить. Тогда вам обеспечен полноценный аромат.

Чай допили, Теннисон закурил, его неопрятная комната наполнилась сумеречным вечерним светом, и поддерживать разговор было все сложнее. Ханна чувствовала себя одиноко в своем кресле. Теннисон выдыхал дым в невероятных количествах — такого густого и едкого она еще в жизни не встречала. От этого дыма у нее даже засвербило в горле, а хозяин сидел себе спокойно в самом его средоточии, задумчиво глядя в пространство. Унесся от нее мыслями за тридевять земель. Молчание сгущалось, и нарушить его становилось все труднее и труднее. Когда она представляла себе эту встречу, ей думалось, что разговор к этому времени должен будет

превратиться в музыку, в дуэт, но на деле их голоса звучали редко и разобщенно. Наконец ей пришел в голову вопрос, который наверняка его расшевелит и заставит обратить на нее внимание. Во всяком случае, он поймет, какая она дерзкая и прогрессивная.

— Позвольте вас спросить, а что вы думаете о поэзии лорда Байрона?

Он и в самом деле поднял брови, выпустив из ноздрей две длинные струйки дыма. И ответил с дивной откровенностью.

— Это настоящее явление. Его стихи, так сказать... — Тут он, видимо, решил не вдаваться в критические изыскания. Должно быть, счел, что ей не понять. Однако то, о чем он поведал, порадовало ее ничуть не меньше. — Помню, как его не стало. Я был тогда подростком. И ушел в лес, сокрушенный новостью. Я думал о том, чего он не написал, о его даре, внутреннем свете, что навеки угас, сгинул во тьме. Печаль и отчаяние овладели мною. Я начертал его имя на скале, на песчанике. Полагаю, его до сих можно там разглядеть.

Иезекииль вернулся с мешком через плечо в сопровождении двух пыхтящих терьеров. Когда он вытряхнул содержимое мешка на землю, собаки прижались к его щиколоткам. Из мешка с глухим стуком вывалились три ежа. Иезекииль поднял одного из них, натянув на ладонь рукав.

— Говорил же я тебе, — сказал он. — Самое для них время. Смотри, какие жирненькие, всегда к зиме жиреют. Ну вот, пусть успокоятся.

Он опустил ежа на землю рядом с двумя другими и застыл в ожидании, нашептывая: "Давайте, дорогие мои, не бойтесь". В скором времени колючие шарики развернулись, выпростав длинные лапы и робко высунув сопящие мордочки. Коротком сильным ударом Иезекииль оглушил одного из ежей. Затем воткнул нож у загривка, надрезал шею и с усилием провел лезвие вдоль хребта; перевернул и вспорол брюшко. Убрав нож в карман, он потянул за голову и выдернул разом и хребет, и потроха. Мордочка ежа бессмысленно скалилась, под ней болтались синеющие вены. На выброшенные останки тут же накинулись собаки. Тушку он отдал Юдифи, чтобы та закатала ее в глину, и принялся за следующего ежа. Юдифь превратила ежа в гладкий глиняный шар и засунула в костер.

— Хорошо, что тут полно глины. Хорошая глина: липкая, желтая.

— А нортгемптонширские цыгане, — сказал Джон, — выкапывают под костром ямку и зарывают их туда.

— Да ну. У них, конечно, свои правила, но, по-моему, они зря тратят время. Так-то оно куда лучше.

Часом позже шары с готовым мясом выкатили из костра палкой, разбили и вынули оттуда гладких дымящихся печеных ежей. Колючки застряли в глине и легко отделились от шкуры. Юдифь раздала всем нарезанные вдоль крапчатых спинок аппетитно пахнущие ломти.

Джон ел. Вкус был точно такой, как он помнил: сладкий, земной, с привкусом тайны. И мясо такое нежное. Губы покрыл теплый жир.

— Говорил же я тебе, он жирный, как свинья, — сказал Иезекииль, снимая губами с лезвия ножа кусок мяса.

Чтобы скрасить трапезу, по кругу пустили бутылку виски. Джон отхлебнул, ощущая, как огненная жидкость льется ему прямо в грудь.

— Старина Джон Ячменное Зерно! — произнес он, поднимая руку с бутылкой. — А теперь — внимание: перед вами чемпион. Скольких силачей он стер в пыль — вам и не снилось!

Все засмеялись.

— Тогда давайте с вас и начнем, — сказал он, вставая и сжимая кулаки.

— Ого. Кое-кому неймется, — ответил Иезекииль. — Кто готов взять его на себя?

— Ну, давайте же, — взмолился Джон. В нем начала подниматься волна гнева. Хотелось кому-нибудь врезать. — Эй, кто из вас давно не был в нокдауне? — Он несколько раз мягко ударил перед собой воздух, быстро меняя руки.

— Что ж, я помогу тебе размяться, дружок, — сказал, поднимаясь, один из мужчин.

— Молодчина, Том! Джон, это Томас Ли.

Джон пожал противнику руку и отступил. Том, крупный и красивый парень, весь заросший курчавым черным волосом, широко улыбался. Похоже, он не слишком-то шустр. Толпившиеся вокруг цыгане начали свистеть и подбадривать его. У Джона кровь неслась по жилам все быстрее. Он склонил голову, собираясь с силами. Ледяной воздух обжег легкие. Томас Ли неторопливо прохаживался из стороны в сторону, поигрывая кулаками у бедер. И вдруг, сделав выпад, нанес удар. Джон уклонился, шагнул вперед и что было сил обрушил удар на пуговицы пальто, в которое был облачен Томас Ли. Томас ухмыльнулся и отпихнул противника одним движением плеч. И тотчас же нанес удар прямо в грудь Джона, из-за чего тот отступил еще дальше. Этот добротный удар пришелся Джону по нраву, и он снова ринулся вперед, подпрыгивая, помахивая кулаками и выжидая, потверже встал на ноги, покачиваясь и

вновь выжидая, и, наконец, стремительным движением рванулся в сторону противника. Левым кулаком он попал Тому в челюсть, холодную и щетинистую. И тут началась потасовка. Противники лупили друг друга почем зря, напрочь забыв об осторожности. Всякий раз, когда Джон не успевал уклониться от удара Тома, а чаще всего так и выходило, он немного подавался вперед, с благодарностью принимая удар за ударом. Спустя минуту-другую ветви деревьев взлетели вверх, а твердая влажная земля ударила Джону в спину. Он встал, смеясь, чтобы поаплодировать сопернику, голова звенела, на губах чувствовался сладкий привкус крови. И вновь он бросился на Тома. И вновь увесистый кулак перевернул мир вверх ногами.

Иезекииль ухватил его за плечо.

— А ну-ка хлебни, маленький Джон.

Джон, тяжело дыша, огляделся. Том тоже пошел на попятную.

— Силен. Ну, силен, Робин.

— А?

— Маленький Джон. Ну, и Робин Гуд.

Иезекииль помог Джону встать, подхватив его под руку, словно старуху.

Вернувшись к костру, Джон оглядел лица цыган, блестевшие в свете пламени. До чего же они все разные! Словно возникнув из ночной тьмы, они собрались здесь, на этой своей временной стоянке. Том опустил тяжелую руку Джону на плечо и сел рядом. Они запели. Какой-то мальчуган поднял вверх руку Джона, назначая его победителем. Вновь зазвучали аплодисменты и смех. Джон ополоснул рот виски, сплюнул кровь, вновь ополоснул и проглотил.

Позже он растянулся под толстыми одеялами, и разум его запестрел какими-то расплывчатыми пятнами и бессмысленно повторяющимися обрывками одной и той же усталой мысли: *А тебе хватит отваги? А тебе хватит отваги?*

Когда девушка ушла, Теннисон остался сидеть в темнеющей комнате со своей верной трубкой. Дрова в камине с шуршанием обвалились. Его большая правая рука покоилась на колене, а левой он держал теплую чашечку трубки.

Что за странный визит! Конечно же, он внес какое-то разнообразие в это неизбывное одиночество, и в этом смысле его нельзя было назвать нежеланным. Может, она тоже одинока. А может, просто заскучала. Ей так хотелось поговорить о поэзии. Должно быть, ей не хватает таких разговоров. Но если бы их было в избытке, она бы превратилась в "синий чулок", каких привечают лишь в литературной среде. А этакой жизни и врагу

не пожелаешь. Интересная девушка. И такая бледная. Из-за этой белизны ее узкое лицо словно светилось в темноте. Он задумался о том, как она живет здесь, среди лесов, в окружении безумцев. Вот уж поистине любопытно. Он вновь вообразил себе ее, на сей раз в белом, с рыжим жгутом волос на спине, мерцающей в тени дерев — хотя, конечно, эта "тень дерев" никуда не годится. Отгороженной от мира ветвями деревьев, что сплелись, словно прутья клетки, древних деревьев, за ветвями которых не виден закат. Лес. Безмолвные тропы. Безумцы. Где листья гниют и рассудок приходит в упадок. Жирные водоросли, что гниют на летейском причале.

Одиночество только что выдуманного им образа слилось с его собственным одиночеством; исполненное поэзии, оно блуждало по комнате, вилось в табачном дыму. Он вновь подумал о ней, о том, какие слова были бы ей к лицу, и потянулся к тетради. Пролистав ее, нашел самое первое стихотворение, написанное после смерти своего друга Артура, — о том, как привезли из Триеста его тело. Он стукнул кулаком по ноге. Вот оно — готовое, завершенное, закрытое. Ему вновь захотелось пережить это чувство: словами приблизить Артура к себе, создать что-то завершенное из всех этих движений и течений, из бесформенных осколков своей собственной жизни. Он не может без Артура. Сколько же ему уже лет, этому стихотворению? Шесть? Или семь? Он почувствовал, как жизненная сила его оставляет.

От италийских берегов
Прекрасный челн по глади вод
Останки Артура несет.
Благословением ветров

Пусть к тем он мчится, кто скорбит
Вотще. Пусть волны бьют в корму,
Сквозь море путь торят ему,
Пусть мачта на ветру скрипит.

Пусть ночь пути не преградит,
И буря спит, пока рассвет,
Подобный дружбе юных лет,
На палубе не заблестит.

Лей свет огней своих вокруг,
Пусть в их мерцании ночном
Спит молча небо над челном,
Как спит теперь мой брат, мой друг.

И мне тебя не увидать,
Пока не сгину сам во тьме.
Всех братьев ты дороже мне,
Милей, чем для ребенка мать[1].

Джон стоял, окруженный золотым облаком собственного дыхания. Восход. Кажется, что тяжелое низкое солнце висит почти вровень с головой. Видно плохо. Левый глаз глядит сквозь узкую щель, со всех сторон подступает розоватый туман. Половина тела онемела. Воздух такой холодный, что зуб на зуб не попадает. Дотронувшись до лица, он обнаружил, что губа распухла, а рот перекошен, будто в ухмылке. И вообще, где он? Чья-то стоянка. Интересно, как он сюда попал. Наверняка это как-то связано с тем, что он боксер, боксер-профессионал. У него что, был здесь бой? А это похоже на золу от ночного костра под свежим снегом. Должно быть, его вызвали на бой цыгане. Он осмотрел кулаки: нет ли ссадин и синяков? Вроде всё в порядке. Деревья размахивали дубинками как надо ветер пихал в бок хватит ли тебе смелости Старина Джек Рэндалл осмелишься ли ты Джек Рэндалл должен осмелиться выйти на ринг самый знаменитый боксер среди них небось разнес их всех в пух и прах в мгновение ока! Старина Джек Рэндалл наверняка бы не так ли ведь рука его тверда никаких вопросов быть не может он устоял Джек Рэндалл. Подпрыгивая, он нанес несколько ударов по воздуху. Голова разламывалась, но он готов был вступить в бой, кто бы ни бросил ему вызов. И Джек Рэндалл отправился обратно в... в другое место, просто в другое, туда, где он сейчас живет. Он помнил, как идти туда через лес.

Снежный покров приглушал все доносившиеся до него звуки, словно он потерял слух или погрузился в сон. Ботинки с хрустом проваливались в снег. Мимо, каркая и с усилием взмахивая крыльями, медленно пролетели две вороны, ветер подхватил их и закрутил в воздухе, словно палец, переводящий стрелки часов. Вороны изо всех сил рванулись вперед и исчезли из виду.

Он снова лупанул по воздуху. То-то им был урок. То-то он им показал, как вызывать на ринг Старину Джека Рэндалла.

Вернувшись в свою комнату, Джек Рэндалл попытался привести себя в божеский вид, прежде чем снова удрать. Он умылся и вытер лицо. Зеркала в комнате не было, и, чтобы разглядеть свежие боевые раны, ему пришлось воспользо-

1. Перевод Д. Коломенского.

ваться оконным стеклом, зайдя за шторы, чтобы было лучше видно. Увидев свое отражение, он расхохотался. Из-за дули на губе улыбка у него стала кривая и жуткая. Он попытался улыбнуться пошире. Подбитый глаз тут же совсем заплыл, скрылся в мягкой розовой складке отека, такой женской и теплой на ощупь. Теперь надо бы привести в порядок волосы и одежду. Зачерпнув в пригоршню воды, он вылил ее себе на макушку и причесался.

Когда Маргарет увидела, что к ней кто-то идет, она как раз стояла в своем любимом месте в коридоре первого этажа — в небольшой полукруглой нише с высоко расположенным круглым оконцем, через которое в такт ее мыслям весь день напролет лился хмурый зимний свет. Израненный мужчина направлялся прямо к ней, прикрывая половину лица и держась рукой за выбеленную стену, чтобы не сбиться с пути. Он был невысок и плюгав, его расцвеченное синяками лицо наводило ужас. А потом, словно в театре, она увидела, как его заметил и окликнул доктор: "Джон! Джон, куда вы?"

Джон не остановился. Мэтью Аллену пришлось бежать за ним вдогонку и ловить за руку. Джон попытался выдернуть руку, но Аллен поймал его и развернул.

— Джон! Джон, Боже праведный, что с вами случилось?

Джон вновь попытался высвободить руку. При этом он несильно ударил доктора Аллена в висок. Тогда Аллен сделал выпад и обхватил его обеими руками, прижав его руки к бокам и сцепив пальцы замком на его мягком животе.

— Отпусти! Отпусти! Мерзавец, да я тебя в нокдаун отправлю! Да кто ты такой против Джека Рэндалла? Ну? Ну?

— Джон! Джон, послушайте, вас зовут Джон, — пыхтел доктор. — И я вас предупреждал, что вам нельзя уходить на всю ночь. Теперь последствий не оберешься.

— Отцепись от меня! Отправлю в нокдаун!

— Мария! Мария!

Неожиданно Маргарет перестала быть просто зрительницей в этой прискорбной пьесе. Доктор обращался к ней и глядел прямо на нее. Она вопросительно ткнула себя пальцем в грудь.

— Да, вы.

— Я Маргарет.

— Да-да, Маргарет, простите. Пожалуйста, позовите Стокдейла. Он должен быть на втором этаже.

— У меня был бой! — оправдывался Джон. — Вот и все дела. Чем не занятие для честного человека?

— Я вас предупреждал, — повторил доктор. — Теперь будете сидеть два дня в темной комнате.

Когда подошел Стокдейл, Джон уже почти повалил доктора на пол, пытаясь высвободиться из его объятий, словно пьяница из брюк. Стокдейл поспешил на помощь и тотчас полностью обездвижил Джона.

Маргарет наблюдала, как они волокут израненного беднягу, чтобы запереть в темноте.

Когда его швырнули на пол и захлопнули деревянную дверь, Джек Рэндалл вскочил и начал стучать в нее кулаками.

— Ну что, у кого тут хватит отваги выйти на ринг? — рычал он. — Мерзавцы! Всех в расход пущу! И первым — этого докторишку, нечего с ним миндальничать!

В ответ Мэтью Аллен спокойно сказал сотрясавшейся от ударов двери:

— Джон, вас предупреждали. Вам нельзя ночевать в лесу. Вы прекрасно знаете, что вечером должны возвращаться сюда.

— Ублюдок! Чтоб ты подавился своим дерьмом! Слышишь, ублюдок! Я... Я... — он изменил ритм ударов и принялся лупить в дверь по три удара подряд с равными промежутками.

— Джон, так вы сделаете себе только хуже! Посмотрите, на кого вы похожи.

— Сукин сын! — И тут на него опустилась тьма. Он распростерся на полу поближе к полоске света под дверью.

— Джон, вы знали, что будете наказаны. Два дня.

— Вы не имеете права заточать человека! Не имеете права. Я выломаю дверь.

— Я вернусь позже.

— Света! Послушайте, дайте мне света!

Но доктор Аллен уже удалялся по коридору. Занимаясь другими больными, он еще долго слышал отрывистые крики Джона, похожие на лай собаки, брешущей на ворота. Однако несколько часов спустя все стихло.

Ханна прогуливалась с Аннабеллой и её собакой Муфтой там, где уже не было слышно сумасшедших. Снег почти сошел, снежные корочки виднелись лишь кое-где в ложбинах и с подветренной стороны деревьев. Было сыро, лес простирался вдаль, теша глаз неброскими гобеленовыми цветами.

Муфте холод явно не нравился. Она трусила впереди и время от времени оборачивалась, беззвучно бросая на девушек обеспокоенные взгляды и суетливо поводя бровями.

— Ой, забыла рассказать, — продолжила Ханна. — Когда я пришла, он катался на коньках.

— На коньках?

— На пруду около своего дома, — как хорошо, что ей вспомнилась эта подробность! Ханна с такой скоростью вывалила

на подругу первую порцию подробностей, что в повисшем молчании начала было сомневаться, произвел ли ее рассказ должное впечатление. Однако в радостном возбуждении Аннабеллы со всей очевидностью читался интерес.

— И что, он хорошо катается? Небось, вовсю перед тобой рисовался?

— По-моему, неплохо. Но я не так уж долго за ним наблюдала. Он сразу перестал, как меня заметил.

— Тоже хорошо.

Муфта, похоже, напала на след. Она остановилась, вытянула дрожащую заднюю ногу, брыкнула ею и унеслась за дерево.

— И о чем же вы с ним беседовали до самого вечера?

— Все больше о поэзии.

— О поэзии. Что ж, это вселяет надежду.

— Ты правда так думаешь? — Ханна вспомнила долгие вязкие паузы в разговоре, но постеснялась о них упоминать: а вдруг это был дурной знак? Но ей так хотелось услышать мнение подруги, что она, на миг задумавшись, чтобы подыскать слова, вымолвила. — Он был весьма... замкнут.

— Время от времени ему положено уходить в себя, ведь он же поэт.

— Так я и подумала.

— Вот-вот, я правда считаю, что это вселяет надежду. Надо бы нам еще что-нибудь придумать. И к тому же я его так и не видела.

— Мы провели вместе не один час, — проговорила Ханна, затрепетав от одного лишь воспоминания, но ни единым движением не выдав своего волнения и шагая столь же мерно, как и всегда.

Весна

Свет лился из окна прямо на нее, и она казалась слишком хрупкой, чтобы выдержать его напор. Он видел, как на руках через морщинистую кожу проступают острые желтоватые кости. А впадина на виске напоминала вмятину от удара. Лицо до того исхудало, что было похоже на обтянутый кожей череп. Под глазами и под скулами пролегли глубокие тени.

Он пытался внушить ей, что она должна есть, а иначе ему придется кормить ее насильно. Твердил о молоке и заварном креме. О кусочках размоченного хлеба. В его голосе слышалось раздражение, он сердился на нее, как на неловкого ребенка, хотя на деле это он в своем неведении был подобен ребенку. Но она не в состоянии была ему объяснить, всякая попытка заго-

рить отзывалась болью в голове, к тому же собственный голос в последнее время вызывал у нее ужас, казалось, во рту поселилось какое-то крохотное существо, беспокойное и непредсказуемое. В нем не было ни капли от спокойствия и чистоты голоса внутреннего. И потому она не стала объяснять, что принятие пищи равносильно принятию бренного, плотского мира, где царят убийство, похоть и разрушение, что прикоснуться к еде — все равно что уподобиться червю, который вгрызается в землю, поедая и испражняясь. Возможно, это он и понял бы, но объяснить, что на Небесах видеть и вкушать пищу — одно и то же, она даже не надеялась. Смотреть — значит поглощать, это слияние без уничтожения. Никакого разрушения. Свет бесконечно перетекает в свет, во всем гармония и абсолютный покой.

— Вы улыбаетесь, — сказал он. — Надеюсь, это знак согласия. Иначе бодрость и жизнелюбие к вам не вернутся...

Не вернутся! Ну и глупость же он сморозил. И ведь даже невдомек, что сам себе противоречит.

— ...и хотя вам еще достает сил, чтобы ходить, даже они иссякнут, если вы не прекратите себя истязать.

Он потер переносицу и вздохнул.

— Это все, что я намеревался сказать. Надеюсь, я выразился понятно.

Маргарет склонила голову. Что Мэтью Аллен принял за тот самый ответ, которого только и ожидал. Он погладил ее по руке, по высохшим палочкам-пальцам, и ушел к себе в кабинет, провожаемый взглядом Безмолвного Стража.

На столе лежал рисунок: чистота линий, мощь, рычаги... Стоило только ему пожелать, и благодаря этому чертежу о лечебнице можно будет забыть. Заманчиво, но, впрочем, его хватит и на то, и на другое, он ведь всегда был человеком многогранным. Он преуспеет. На чертеже был изображен механизм его собственного изобретения, улучшенная конструкция. Сам процесс черчения доставлял ему удовольствие, лишь подтверждая мощь его интеллекта. Четкие чернильные линии соединялись под прямыми углами, образуя трехмерный многоярусный рисунок машины, словно выраставшей из белого пространства листа. Совершенство замысла поистине неземное. Его жизнь изменится. Давно уже ничто не захватывало его с такой силой, разве только в юности, когда он открыл для себя френологию и прочие науки о душе. Изобилие блестящих идей, сплав страсти и возможностей, новая жизнь — все как у влюбленного. Мэтью Аллен был влюблен без памяти.

Обрывая полет фантазии, он сел за стол и стал продумывать детали. Двухлоточная система определенно превосходила другие: копировальный прибор и сверлильный станок со-

единялись строго симметрично. Он бережно отложил чертеж в сторону. Сегодня же он напишет Томасу Ронсли, этому молодому человеку, владельцу мастерской в Лаутоне, который вытачивает шестеренки из древесины граба, и пригласит к себе, чтобы тот ознакомился с его созданием. Тандем изобретателя и ремесленника, причем один из них — человек науки.

Он обмакнул перо в чернильницу и стряхнул каплю. "Многоуважаемый мистер Ронсли!" — начал он. И, приподняв голову, глянул в окно: слабоумный Саймон в испуге пятился от кричащей Клары, которая за что-то его отчитывала, и одновременно, разжав кулачки, осыпала свежесорванной травой. Мэтью Аллен вернулся к письму.

Элиза Аллен имела обыкновение, пошутив, прикусывать кончик языка и с озорным видом ожидать, как воспримет шутку дочь. Ханна отвела взгляд, мучительно покраснев — лицо её словно обдало жаром. В шутке не было ничего забавного, она вообще мало походила на шутку. Зачастую невозможно было понять, шутит мать или нет, разве только по этому ее несносному выражению лица и по выжидательному, пристальному взгляду. Мать всего-то спросила Ханну, что же это она не поинтересовалась мнением мистера Теннисона о книге, которую читает. Неловкость усугублялась тем, что именно читала Ханна. Неужели мать подглядела через плечо? В библиотеке отца из всех томиков поэзии она выбрала старую книжку Драйдена[1]. И там, среди затянутых, тяжеловесных, скучных своей правильностью стихотворений, состоявших сплошь из рифмованных двустиший, ей попалась песнь, начинавшаяся словами:

> В пятнадцать свои — воплощенная прелесть,
> Невинно на солнышке Сильвия грелась.

Про эту Сильвию говорилось, что "по части мужчин было ей интересно, зачем они вьются и жмутся так тесно".

Ханна была не слишком сведуща "по части мужчин", однако написано было весьма убедительно.

> Целуют, вздыхают,
> Пыхтят, умоляют,
> И вьются, и жмутся,
> И вьются, и жмутся так тесно.

1. Джон Драйден (1631—1700) — английский поэт и драматург, один из основоположников английского классицизма.

Она яснее, чем когда бы то ни было, представила себе, что на самом деле происходит в миг накала страсти. Эти слова, этот легкий мотив заставили ее сердце биться чаще. И вьются, и жмутся так тесно.

Ханна села за стол и, не обращая внимания на недовольство Абигайль, отломила краешек от бутерброда, который ела девочка. Глядя поверх головы сестры, она заметила:

— Что ж ты вся перемазалась в масле, Аби? Ты же не кусок хлеба.

Абигайль воззвала к той, что обладала большей властью:

— Мама, она ест мой бутерброд.

— Ханна, не обижай сестру. Если хочешь бутерброд, возьми...

— Я не обижаю. Я думала, она поделится. Разве нам не следует приучать ее...

— Ханна, не перечь.

— Я и не думала. И вообще, я ухожу.

— Ох, и любишь же ты перечить!

— Вовсе нет.

День выдался погожий. Ханна шла к дому Аннабеллы; шаль свободно ниспадала с ее плеч. Дойдя до аллеи, она пощипала себя за щеки — вдруг повстречает его.

Аннабеллу она нашла в саду, под рано зацветшим терновником — та сидела с книгой.

— Доброе утро! — крикнула ей Ханна.

Аннабелла подняла голову, как всегда, осветив все вокруг своей красотой.

— Приветствую тебя, белокурая нимфа. Правда, под этим деревом все равно что в раю?

— Правда, — Ханна задумчиво, с одобрением оглядела дерево. Листья еще не раскрылись, виднелись лишь тонкие черные ветви и влажные белые цветы с трепетавшими на ветру лепестками. Горделивое дерево стояло, словно охваченное страстью, являя миру цветы, выраставшие прямо из мокрой, корявой древесины.

— Вот это красота! — воскликнула Ханна. — Пойдем прогуляемся?

— Что-то случилось?

— Да нет. Так, обычные тяготы семейной жизни, все как всегда.

— Ладно, я только предупрежу маму.

Ханна осталась одна. Одна. В тихом саду. Аннабелла жила совсем другой жизнью: единственный брат, книги, цветы и красота. Иногда Ханне, со всех сторон окруженной домочадцами и душевнобольными, великим множеством людей,

что спешили или просто плыли по течению, казалось, что она живет прямо посреди дороги с оживленным движением.

Во время прогулки Ханна наблюдала, как на встречных действует красота подруги. Сознавала ли Аннабелла, что ее красота создает вокруг нее ореол, накладывает отпечаток на всю ее жизнь? Мужчины приосанивались, выпячивая грудь, и поспешно срывали шляпы. Деревенский парень, только что прогнавший мимо трех коров, приподнял кепку, глупо улыбаясь Аннабелле. Обладай Ханна подобным даром, она бы думала о Теннисоне с большей уверенностью. В конце концов, это ведь сила. А у Ханны силы не было. Она ничего не могла. Ни одна девушка ничего не могла сделать, чтобы выбрать мужа по сердцу: все они только вздыхают, тоскуют, мечтают да стараются быть на виду и казаться посговорчивей.

— Подснежники, — Аннабелла указала на куртинку подрагивающих белых цветочков. — Зайдем в церковь?

— Зайдем.

Это уже вошло у них в привычку. В первый раз казалось, что они преступают границу, совершают нечто запретное, недостойное, предаваясь в церкви праздным мечтаниям и восторженным чувствам. Теперь это стало частью ритуала. Они миновали покосившиеся надгробия в печальном молчании и даже не остановились, как прежде, чтобы сосчитать, кто сколько прожил, и пожалеть детей. Среди прочих была могила семилетней девочки, при виде которой Ханна не могла сдержать слез. Она и теперь мысленно поприветствовала девочку, проходя к холодной каменной паперти. Аннабелла с благоговейным видом потянула на себя тяжелую дубовую дверь, и они вошли. Дверь плотно затворилась, и все погрузилось в тишину, в которой шаги звучали особенно громко; они затаили дыхание. Приглушенные звуки, запах свечей, с которых сняли нагар, ощущение того, что совсем недавно здесь кто-то был. Аннабелла перекрестилась. Ханна сделала то же самое, творя молитву и одними губами, закрыв глаза, шепча имя Альфреда Теннисона. Слова, что слагались в ней столь пылко и страстно, безмолвно срывались с губ.

Аннабелла указала на каменные плиты на полу, куда солнце сквозь витражи отбрасывало едва различимый, переливающийся разноцветный круг. Ханна кивнула.

Она вошла в неф и остановилась у амвона, где на распростертых крыльях бронзового орла покоилась большая Библия. Ханна заглянула в нее. “В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога...”[1] Выведенная вязью буквица напомнила ей,

1. Евангелие от Луки. 1:26.

как красиво сочетались инициалы А. Т. и Х. А., мечтательно начертанные ею на листе бумаги. Потом она бросила листок в камин, а сердце при этом колотилось так, будто она уничтожала доказательства убийства. "...к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария"[1].

Она подняла голову. Аннабелла присела на скамью, обратив прелестные глаза вверх, к восточному окну. Ханна подошла к скамье по другую сторону от прохода. Опустившись на скрипнувшую доску, она посмотрела вверх, на витражи, на застывшие прозрачные фигуры вокруг распятого Христа, на Его красивую голову, безвольно свесившуюся на правое плечо. Ханна разглядывала Его тело, Его печальное лицо, и в какой-то момент в ней зародилось чувство неподдельного сострадания.

Долгую тишину прервал звук отворившейся двери: вошел церковный староста, мистер Трипп. Он перекрестился и прошел в ризницу, глянув из-под тяжелых, нависающих бровей на девушек, по всей видимости, молившихся. Он узнал дочь доктора и ту, другую, красавицу. Когда староста ушел, девушки переглянулись. Ханна показала на дверь: они поднялись и на цыпочках вышли.

Джону больше не дозволялось выходить за пределы лечебницы, не разрешалось даже вернуться к работе в саду адмирала. Ему нашли замену. А ключ забрали. Оставалось лишь бродить вокруг Фэйрмид-Хауз, сознавая, что за ним наблюдают. А все потому, что он осмелился бросить вызов.

Те несколько дней во тьме были подобны смерти, даже хуже: его лишили покоя, Бога, лишили надежды положить всему этому конец. Когда дверь захлопнулась, комната начала проваливаться, пока не оказалась глубоко под землей, глубже шахты. Он мог кричать из глубин, но никто бы его не услышал. Когда же дверь распахнулась, и он снова оказался наверху, навстречу ему с ревом хлынул разноцветный мир, заполняя пустоту его чувств. От такого напора он не устоял на ногах. Тяжелая голова склонилась, немощные руки обвисли, точно плети. Он сидел на земле, чувствуя, как солнце бьет ему в затылок, как его обвевает ветерок, и неподвижно, не имея сил пошевелиться, взирал на травинки у ног, на ползущего мимо муравья. Потом он спрашивал себя, а не привиделось ли ему всё это: он так жаждал вернуть себе мир, что этот мир мог оказаться плодом фантазии, порождением по-

1. Евангелие от Луки. 1:27.

мутившегося рассудка, в то время как сам он оставался под землей. Однако облака, деревья, птицы — все выглядело в точности так, как ему помнилось.

Когда он очнулся и сообразил что к чему, его охватил праведный гнев. Джон затрепетал, померк и отступил, а его место вновь занял Джек Рэндалл. Он никогда не простит доктора, никто не останется безнаказанным. И заявляя об этом, он снова решил бросить им вызов:

Джек Рэндалл Чемпион в Профессиональном Боксе Просит Соизволения Заявить Спортивному Миру Что Готов Сразиться с Любым Желающим на Ринге или на Помосте за Сумму в 500 Фунтов или за 1000 Фунтов в Честном Бою за Тридцать Секунд Решится Победит или Проиграет для Него не Имеет Значения ни Вес ни Цвет Кожи ни Национальность Единственное Чего Он Желает Это Бороться с Тем Кому Хватит Отваги

Джек Рэндалл

Так да погибнут все враги Твои, Господи![1]

Прошло немало времени. Он снова по большей части был Джоном, но его по-прежнему никуда не пускали. Он посмотрел в небо, на медленно плывущие высокие облака. Ухватился за свисавшую с дерева тонкую веточку и принялся разглядывать плотно сомкнутые трехгранные почки, походившие на крохотные пальчики младенца. Из леса донеслась дробь дятла, и он почувствовал, до чего же ему туда хочется. Он потянул за ветку и отпустил — ветка, запрыгав, взмыла вверх.

Джон подошел к скамейке. Сев, он заметил у себя в левой руке Библию, и вспомнил, зачем она ему. Вытащил из кармана листок бумаги и положил перед собой, намереваясь продолжить работу. Выводя завершающие, главные слова, он почувствовал успокоение. Они прогремели. Их услышали.

> Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу[2], чтобы вы были выше всяких похвал.

На поляне валялся пучок из трех перьев — ошметок разодранного крыла. Он походил на парус игрушечной лодки, трепещущий на ветру среди бурой листвы и хрупких пролесок, вспыхивавших тут и там, когда сквозь ветви деревьев пробивались лучи солнца.

1. Книга Судей Израилевых. 5:31.
2. Вторая книга Царств. 1:24.

Маргарет села и услышала, как в листве у нее над головой зашумел ветер. Однажды, еще в детстве, она упала в реку и стала тонуть, оглушенная нахлынувшей тишиной. Но ее спасли. Тем временем охвативший ее воздушный поток стал усиливаться, шум нарастал и достиг наконец такой мощи, что у нее перехватило дыхание. Еще немного, и она оторвалась бы от земли.

Ветер распался на одиночные глухие удары, взмахи крыльев. Ангел. Ей явился ангел. Она заплакала, роняя слезы, словно лепестки. Ангел остановился прямо перед ней. Сложил крылья, издавшие при этом шелестящий звук. И принялся расхаживать туда-сюда, ступая мягко, покачиваясь из стороны в сторону: его необычная поступь больше походила на танец. Пытаясь обрести опору в мире смертных, он распростер перед собой прекрасные руки, касаясь ветвей, листьев и оставляя пятна света на всем, чего бы ни коснулась его рука. Неимоверно медленно он обратил к ней свой лик. А когда заговорил, она почувствовала, что слова звучат прямо у нее в голове и в то же время полнят собою лес. Листья шелохнулись и затрепетали.

— Не плачь, — произнес он. — Я — ангел Господень.

— Простите меня, — сказала она. — Простите меня. И моего мужа.

Ангел склонился к ней, улыбаясь:

— Я послан к тебе с вестью.

Услышав тихий, полный любви голос, Маргарет осмелилась поднять голову: ангельский лик показался ей не в пример более тонким устройством, нежели человеческое лицо. На нем отражались малейшие изменения, сколь бы мимолетными они ни были, он переливался, как радужное оперение на голубиной шее.

— Он... Значит ли это, что Он идет? — спросила она.

— Не проси о встрече с Ним, — сказал ей ангел. — Его любовь подобна наводнению. Его сияние обжигает. Тебе этого не вынести. Но ты нужна нам. Протяни руку.

Маргарет повиновалась. Ангел опустил в ее ладонь что-то маленькое и круглое, размером с лесной орех, подобранный с земли.

— Что это? — спросила она.

— Это все сотворенное.

Маргарет вгляделась, залюбовавшись его миниатюрностью и хрупкостью. Она увидела бурлящие реки тоньше жилки листа, моря с приливами и отливами, напоминавшими движение маятника, а вокруг — сияющее небо, иные сферы и, наконец, темноту.

— Лишь благодаря любви Господа все это существует, — продолжал ангел. — Без Его любви...

— ...оно исчезнет.

"Исчезнет. Исчезнет. Исчезнет".

Ангел протянул руку — на ее ладони снова ничего не было. Маргарет подняла голову и заметила, как деревья распростерли ветви-руки над ангелом, защищая его.

— Слушай первое повеление.

— Я повинуюсь. Целиком и полностью.

— Ты больше не Маргарет. Этим именем тебя нарекли родители земные, так называл тебя муж. Теперь ты нарекаешься новым именем.

"Нарекаешься новым именем". При этих словах травы и деревья замерли в почтительном ожидании. Она ждала, глубоко затаив дыхание.

— Ты нарекаешься Марией.

— Я не смогу, — Маргарет закрыла лицо руками.

— Таково Его Слово.

— Мария, — прошептала Маргарет.

— Мария.

— Мария, — отозвалась Мария.

— Ты должна свидетельствовать, Мария. Ты — избранная.

— Я не смогу. Я — ничтожество, шелуха.

— Такова Его воля. Он счел тебя достойной.

— Да, я всецело повинуюсь.

— Тогда ты знаешь, в чем твой долг.

— Что я должна делать?

— Изгнать их.

— Да. Да, конечно.

— А теперь я буду танцевать для тебя и вскоре исчезну. Ты же останешься исполнить Его волю.

Мария села и стала смотреть, как ангел танцует. Ликуя, он кружился и вился, прикасаясь к миру и оставляя вокруг себя свет. Вскоре все окрест пестрело пятнами света — он танцевал, окруженный мерцающим сиянием.

Ханна прогуливалась, перебирая в уме удивительные факты: поэт, высокий, красивый, сильный, брюнет — и вдруг он возник перед ней, будто бы прямиком из ее мыслей. При виде его она даже споткнулась, но под колоколом юбки этого не было заметно, и она безмятежно двинулась дальше, готовясь улыбнуться. Чего от него ждать сегодня? В ее мечтах кульминацией их очередной встречи должен был стать ни много ни мало как поцелуй: он обхватит ее своими большими руками, и губы их сольются в неистовом, возмутительном поцелуе.

Поэт вытянул шею, чтобы разглядеть приближающуюся девушку, и приподнял широкополую шляпу.

— Мисс Аллен, верно? Узнаю ваш силуэт.

— Правда? Ну да. То есть это я. Доброе утро.

Он подошел поближе, чтобы лучше ее видеть и не повышать напрасно голоса. Ханна ощутила резкий запах его пота.

— А ведь вы с книгой, — сказал он.

— Да, так и есть.

— А позволите спросить, что это за книга?

— Да, конечно. Это... — она поднесла книгу к глазам и прочла, что написано на корешке, как если бы успела позабыть. — Это Драйден. Стихи Драйдена.

— И где ж этот Драйден был вами найден, а? — Он засмеялся собственному каламбуру, взглядом приглашая ее присоединиться. И она ответила на его дружеский жест — правда, вышло чуть более нарочито, чем ей того хотелось бы.

— А позвольте спросить, — нарушила она затянувшуюся паузу, — что сейчас читаете вы?

— Да бога ради. Тоже стихи, хотя, полагаю, не с таким удовольствием, как вы. Свои собственные. Я готовлю книгу.

— Как замечательно!

— Вы считаете? Не думаю, что критики с вами согласятся. Если мне и удастся когда-нибудь ее издать, едва ли они встретят ее с большим воодушевлением, чем мои предыдущие опусы.

— Ну, критики — они же... — Она понятия не имела, что представляют собой критики, и потому пренебрежительно махнула рукой. — Они же критики. А не поэты. А я буду с нетерпением ждать, когда она выйдет в свет. Быть может, вы даже подпишете мне экземпляр. Как чудесно, что у нас здесь появился поэт — ну, если не считать мистера Клэра.

— Мистера Клэра?

— Джона Клэра. Он лечится у моего отца.

— Джон Клэр, поэт-крестьянин? Вот оно что. Так... — Теннисон нахмурился. И в этот миг из-за облака выглянуло солнце. Цвета стали глубже. Засверкал гравий на дорожке. Ветерок заворошил листву.

— Так лучше, — сказала Ханна.

— Гм. Послушайте, а я ведь вот что могу! Хотите, покажу?

— Это вы о чем?

— А вы просто стойте и смотрите.

Теннисон подошел еще ближе, и его резкий запах окутал Ханну целиком. Неужели? Что же он сейчас сделает — поцелует ее? Закрыв глаза, Ханна замерла, ожидая, что сейчас он прижмется губами к ее губам. Но ничего такого не произошло. Когда она вновь открыла глаза, Теннисон стоял перед ней, зажму-

ривишись и плотно сжав губы. Хорошо хоть обошлось без этакого унижения! Она глубоко вздохнула. Теннисон стоял так еще некоторое время, а потом очень медленно принялся расслаблять мышцы лица, пока, наконец, оно не оказалось полностью лишено какого-либо выражения, словно маска смерти. Не прекращая этого медленного движения, он постепенно приоткрыл глаза и рот, потом открыл их еще шире, наконец, распахнул совсем широко — и, подняв брови, расплылся в улыбке.

И вдруг, словно знаменуя завершение припадка, его лицо вновь обрело обычное выражение.

— Вот, — сказал он. — Солнце вышло из-за тучки.

— Это... удивительно, — сказала Ханна. Она недоумевала, с чего вдруг он решил устроить для нее это представление. Он что, держит ее за маленькую девочку? Что это еще за снисходительность? А ему часом не приходило в голову, что если она чего и ждала, то поцелуя?

— Мой коронный номер, — пояснил он. — Я его частенько показывал своим друзьям в Кембридже.

— Ах вот как.

— Да. Артуру Хэллему. Знаете, он... о, не смею вас задерживать.

— Ну, что вы.

— Нет-нет. Мне пора возвращаться. До свидания!

— До свидания.

Теннисон приподнял шляпу и погрузился в пучину воспоминаний о покойном друге. Он шел, подволакивая длинные ноги, а Ханна глядела ему вслед. В ней кипели и бурлили мысли, которые она так и не высказала вслух. И все же, всё же они встретились наедине, и говорили, и он ей улыбался, и пытался развлечь. А значит, ей было на что надеяться.

Лето

Первые плоды среди листвы. Белоснежные облака. В саду работают люди.

Мария стояла посреди суматохи дня и смотрела на них. О, как они страдают, верша свои повседневные дела, бормоча что-то себе под нос или сотрясая воздух поучениями, смеясь без повода, размахивая руками, подергиваясь, раскачиваясь туда-сюда, внезапно закрывая глаза, замирая, словно дитя в ожидании удара или жена при виде мужнего кулака. Они все в опасности, все без исключения: на них охотятся черти. Но она возвестит истину и изгонит чертей. А Саймон, кажется, спасен. Она смотрела на Саймона, такого большого и кротко-

го, на его большие белые руки. Пальто обтягивало его широкие плечи, словно лошадиная шкура. Ветерок шевелил кудрявые волосы. Нет, начинать надо не с него. Пусть он и дурачок, но откуда-то знает. Он добрый и пугливый, и другие рядом с ним тоже становятся добрее, ибо стыдятся своей жестокости. А большего от него и не требуется. Только поглядите, как он поливает грядку из лейки. Мясистые листья ликуют и подрагивают под сверкающими струями воды.

Чистая вода. Рассыпающиеся капли. Семена света падают в траву, на землю. И она тоже творит свет. Должно быть, научилась у ангела. Из кончиков ее пальцев исходят золотые лучи, и она старается, чтобы в каждом пучке было по три. А теперь настала пора сказать. Выплеснуть, словно воду изо рта, которую ты не в силах удержать. Но кому?

Вот Клара, ведьма, что дружна с чертями. Нет, не Кларе. Ей еще рано.

К ней подошел Уильям Стокдейл, он как раз был на обходе. В руках он держал какое-то запачканное тряпье, и она сразу поняла, что с него-то и следует начать. Она не была уверена, что на тряпье пятна крови, видно было плохо, но это было что-то красное, темное, человечье. Он римлянин, палач. Он истязает ближних. Она двинулась ему навстречу, подняв обе руки, и он подошел к ней, не ведая, что другого выбора у него попросту нет. Ему не дано узреть сияющие коридоры, по которым идут люди, движущиеся согласно Его воле. Ну и пусть. Она замерла, и он вышел прямо к ней.

— Бог есть любовь, — начала она.

— Да ну, — пробормотал он, не останавливаясь.

— Он есть любовь, — повторила она, вновь перекрыв ему путь и не давая пройти, — и Он везде.

— Очень мило с его стороны.

— И возвращается. Он вернется и станет вершить суд, — она пыталась не сводить с него пронизывающего взора, но прямо из-за его головы светило солнце. Поэтому она обращалась к пуговицам на его жилете. — Трепещите. Ваша душа в опасности. Вам ничего не утаить. Он все видит.

— Я и сам немало повидал. И если вы не возражаете, я бы пошел, у меня дела.

— Берегитесь! Послушайте же меня! Я несу ангельскую весть.

— Благодарю за предостережение. А теперь позвольте мне... — он вытянул вперед левую руку, взял вестницу за плечо и попытался отодвинуть в сторону, но она вцепилась в него, резко повернувшись, словно дверь на петлях. Она должна увидеть, как он изменится. Слово должно достигнуть его ушей.

— Вы должны быть чисты душой! Очиститесь!

Стокдейл бросил тряпье на землю и освободившейся рукой ударил ее в лоб. Мария упала спиной в траву. Улыбнулась небу, в самой вышине которого медленно ползло облако. Ей ниспослано страдание. И когда ботинок Стокдейла погрузился ей в живот, она восприняла это как истинное благословение небес. Ее миссия началась.

Аннабелла была добра к Абигайль: терпеливая, с ласковым взглядом, она никогда не отказывалась поиграть с малышкой. Та стояла словно зачарованная, стараясь не шевелить непослушными пальчиками, пока прелестная девушка сооружала на них колыбельку из веревочки. Дора сидела поближе к лампе, расшивая края простыней и скатертей для своей будущей семейной жизни. Ханна вытащила самую тонкую иглу из Дориной шкатулки. Осторожно воткнула ее в кожу на кончике пальца и вытащила наружу с другой стороны, из-за чего на подушечке пальца получился белый валик. Больно не было, немного тянуло, но ничуть не больно. Ей просто захотелось немного помучить Абигайль, напоказ вонзая в свою плоть серебристый металл.

— Смотри, Аби! — она помахала пальцем у сестры перед глазами, а потом ухватила себя за запястье и шумно втянула воздух, как будто от боли.

— Ой! — воскликнула Абигайль.

— Хватит дурачиться! — проговорила Дора.

Ханна выдернула иголку и положила обратно в шкатулку.

— А я на днях видела мистера Теннисона! — объявила она, перестав дурачиться.

— Да ну? — подняла брови Аннабелла.

— Да, видела. И мы очень мило поговорили.

— Правда? Ханна, почему ты мне ничего не рассказала? Нет-нет, теперь хватайся здесь и здесь.

— Не могу, — пожаловалась Абигайль. — Лучше ты.

— Так ведь оно же у меня на пальцах!

— Поосторожнее со своими милыми разговорами, — решила предостеречь сестру Дора. — Ты же не хочешь, чтобы тебя сочли легкомысленной?

— Как меня можно счесть такой или сякой? Мы встретились на аллее. И поговорили.

— Гммм, — Дора перевела взгляд на вышивку.

— А он слышал, как ты играешь на фортепиано? — спросила Аннабелла.

— О да. Несомненно, это заставило бы его сделать предложение, — сказала Дора.

— Нет, не слышал. Как бы нам это подстроить? Не обращай внимания на Дору. Она просто расстроилась, что ей уже сделали предложение и что оно поступило от Джеймса.

— Я была бы очень рада такому предложению, — попыталась разрядить обстановку Аннабелла.

— А мне дела нет до того, что вы себе думаете, — сказала Дора, разглаживая край салфетки.

— Вот смотри, — Аннабелла подцепила пальцами веревочку, ухватилась за нее и сняла с пальцев Абигайль крестообразную рамку.

— Тук-тук, — послышался голос. В дверном проеме показался букет диких цветов, а вслед за ним — улыбающееся лицо Джеймса. — Ого, сколько вас тут!

— Не бойтесь, — откликнулась Ханна, — входите.

— Не лезь не в свое дело, — одернула ее Дора. — Давайте я поставлю их в воду. — Она поднялась, взяла у него цветы, получила поцелуй в щеку и, скромно потупив взор, вышла.

— Стало быть, вот, — проговорил он, когда она удалилась.

— Да вы садитесь, — сказала Ханна.

Он кивнул и сел, со вздохом одарив Аннабеллу улыбкой и зажмурившись, словно ее красота слепила подобно солнечному свету. Наклонившись, погладил по плечу Абигайль; девочка взглянула на него и отвернулась.

— А это ваши простыни, — сказала Ханна.

— Мои? — откликнулся он и наклонился, чтобы к ним прикоснуться.

Ханну аж передернуло. Вот от этого-то, на ее взгляд, и надо было бежать: от жизни с простынями и скатертями, унылой, благоустроенной, тихой жизни. И вдруг она спросила, как будто ему в укор:

— Скажите, а вы будете счастливы, когда женитесь на Доре?

— Я... я... что за вопрос! Ну конечно, буду. Взаимное уважение, брак, основанный на приязни и взаимном уважении...

— Я так и думала, — прервала его Ханна. — Будете, даже не сомневаюсь.

Вошла Дора, держа в руках кувшин с цветами.

— Ну вот, — сказала она. — Джеймс, мне кажется, вам жарко. Вы не захворали?

Ханна фыркнула.

— Ханна вела себя невежливо?

— Невежливо — это слишком сильно сказано.

— Я так и думала. Ханна, ну почему ты не можешь держать себя в рамках приличий?

— Я могу. А тебя здесь и вовсе не было.

— Понятное дело. Если бы я здесь была, ты, возможно, вела бы себя не настолько...

— Не настолько... не настолько что?

Абигайль прижалась к юбке Аннабеллы и даже ухватилась за ткань рукой.

— А если бы тебя здесь не было...

— Ну хватит! Все с вами ясно. Мне здесь делать нечего! — Ханна вскочила и пулей вылетела из комнаты. Аннабелла, в повисшем тягостном молчании, нацепила веревочку обратно на пальцы Абигайль и последовала за подругой.

— Ты только посмотри, — сказал Мэтью Аллен сыну. — Красота!

Он наклонился вперед, упершись руками в колени и вглядываясь.

— Это Модсли, — пояснил Томас Ронсли.

— Знаю, знаю. Специально все это изучал. Просто я прежде никогда в жизни не видел работающего механизированного токарно-винторезного станка.

Его движения, тихие, мерные, ритмичные, вводили в транс. А тягучие толчки хорошо смазанных приводов! А повороты треугольного центробежного регулятора на верхушке, туда-сюда, подобно головке девушки, слышащей свое имя и оборачивающейся в ответ: Да? Да? Да?

— Этот тип станка, — произнес Ронсли, — по всей видимости, удовлетворяет как вашим целям, так и моим. Я использую уголь, которого здесь, конечно же, в избытке, ведь вокруг лес.

— Да, так я и решил, изучив все доступные описания. Но я еще не рассказывал о своих планах сыну.

— Верно, не рассказывал, — подтвердил Фултон, поморщившись от прорезавшего воздух звука дрели в руках одного из рабочих. — Ну, и в чем же они состоят?

— Оглядись. Здесь все, что нужно.

Фултон и в самом деле огляделся и увидел груды обтесанных деревянных брусков, кое-где, особенно по краям и сзади, сохранивших природную шероховатость, но по большей части лишенных той формы, которой наделила их природа, и отныне геометрически правильных. Он взглянул на инструменты, на сладко пахшую древесную пыль, на множество выставленных в витрине деревянных шестеренок, на ящики с такими же шестеренками.

— Мы тоже будем делать детали механизмов?

— Нет-нет, здесь я не готов конкурировать с нашим другом Ронсли, — улыбнулся Аллен. — Нет уж, увольте.

Помедлив, он объявил:

— Мы займемся механической резьбой по дереву!

— Вроде вот этого?

— Я же сказал, что нет! Для мебели. Домашней. И церковной.

— А что, все это вполне будет пользоваться спросом, — вставил Ронсли, который уже был в курсе дела. — Рынок массового производства — он весьма внушителен.

— Понятно, — проговорил Фултон.

— Как я погляжу, ты не в восторге от этой перспективы, — сказал сыну Аллен. — Вот уж не ожидал! Ты же станешь богатым. Только подумай обо всех новых церквях в каждом городе. И обо всех людях, которые не могут позволить себе мебель с ручной резьбой, но которые получат то же самое, и даже того же самого качества, всё в точном соответствии требованиям гильдии, а знаешь почему? Потому что это будут совершеннейшие, точнейшие копии оригиналов ручной работы, только несоизмеримо дешевле. Те же красота и благородство, та же возвышающая дух обстановка, но доступная великому множеству людей.

— Понятно.

— Понятно, понятно, — оскалился Аллен и провел рукой по бороде. — Осталось вложить немного денег — и все будет. Il aura lieu[1].

— Потрудней, чем вот это, но вполне возможно, — сказал Ронсли, запуская пятерню в открытый ящик, полный мелких шестеренок, — да, вполне осуществимо.

Мэтью Аллен засунул руку в тот же ящик и взял в ладонь несколько шестеренок. Они еще не остыли после обработки и казались съедобными, словно орехи. Ему нравился Ронсли, нравился дорогой лоск его шляпы и брюки в мелкую клетку, туго стянутые штрипками под подошвами ботинок.

— А может, вы хотите стать одним из счастливчиков, которые войдут со мной в долю? — спросил он.

Стоит в самой глуши мира, стоит один, отвернувшись от своего собственного дома, в руке книга, вокруг незнакомцы, дрожит, ничего не может, солнце печет, воля сломлена, и вот он кричит: "Что мне делать?"

Как будто на что-то надеясь, он вновь вглядывается в лица незнакомцев, выискивая Марию, или Пэтти, или кого-нибудь из детей, или просто хоть кого-нибудь, но встречные взгляды лишены дружелюбия. Это всего лишь чуждая, безликая плоть, и она его пугает.

1. Все будет (*франц.*).

Над головой сорочья трескотня. Он поворачивается. Вдыхает. Он в саду. Ему известно, где он. Почему же он никак не остановится, никак не убьет в себе эту надежду, это чувство, что в любой миг он может увидеть ее, что она предстанет перед ним, что дверца в мир распахнется — и вот она, тут как тут? Что она сможет положить этому конец? *Джон, к вам пришли. Джон, к вам пришли.* Слова крутились у него в голове, бесконечно, однообразно, ибо он жаждет, чтобы она пришла и положила этому конец.

Он замечает что-то уголком глаза. Вглядывается: лет муравьев, еще один признак лета. Тотчас же подходит поближе, чтобы посмотреть. Словно пар, вырывающийся из носика чайника, муравьи вьются над песчаной норой, где у них гнездо. Он садится на корточки, придавив животом колени, и глядит в упор на блестящие черные тельца насекомых, глядит, как они выползают на поверхность, поднимают жесткие прозрачные крылья и взлетают. Подняв глаза, разглядывает тех, что уже парят. Они держатся бок о бок, облако муравьев закручивается в воронку, изгибаясь на ветру. И уносится куда-то вдаль. Он поднимается и шагает за ними, сколько хватает сил.

Они между тем рассеиваются, заполняя пространство, словно хлопья снега. Некоторые опускаются на деревья. Он останавливается под одним из деревьев, в его прохладной, благоуханной тени, и следит за муравьем, ползущим по листу. Лист колышется на ветру, но муравью удается удержаться. Листья сияют на солнце — о, эта дивная, живая зелень. Он чуть слышно цитирует сам себя: “Листва из Вечности проста...”

Муравьи перелетают через него и уносятся дальше. А ему дальше не уйти. Ярость, страшная ярость поднимается в нем, словно вода в канале, где только что открыли шлюз. Он прижимается к дереву, опускает глаза и видит корни, уходящие вглубь земли. Руки адмирала. На миг и у него самого оказываются такие же толстые, похожие на корни пальцы, искривленные и одеревенелые. Он встряхивает руками — и вот их уже нет. Но они появляются на ногах и врастают в землю. Мучительно деревенеет тело, твердеют ноги, словно жесткое кольцо свивается вокруг них, поднимаясь все выше. Он вздымает вверх руки. Они потрескивают, ветвятся и тянутся к свету. Кора покрывает губы, покрывает глаза. Он слепнет, извергает из себя листья и побеги. Рвется ввысь, в небо, сжимаясь, ветвясь, утончаясь, до самой сути, до обнаженных нервов. Его насквозь пронизывает безжалостный ветер. Он больше не может говорить.

Стоит в самой глуши мира.

Доктор Аллен чувствовал себя в этом новом обществе как рыба в воде. Томас Ронсли привел его на неформальную встречу местных промышленников, людей бодрых и жизнерадостных, честолюбивых и двуличных. Они ели мясо и пряное суфле из печеных яблок. Пили пиво. По окнам барабанил легкий дождик. Дымились трубки. Ронсли, выпив, оказался совсем другим человеком. Всю его чопорность как рукой сняло, и Аллен увидел его ребячливым и возбужденным, краснолицым, неуклюжим и горластым. Ронсли представил своего нового знакомого финансистам и попросил подробно изложить свою схему, что тот с готовностью и сделал. Он получил их одобрение, поведав, как ему повезло, что у него под рукой лес, есть угольщики, позволяющие превратить его в столь необходимое топливо, и есть воображение, благодаря которому лесоматериал может превратиться во что угодно. Дубление и кораблестроение — это уже прошлый век. А они сделают шаг вперед. Сидя среди них, Аллен чувствовал себя на порядок выше всех присутствующих, ведь он наделен столькими талантами, образован, да еще и автор книг по химии и человеческому безумию. Его самомнение лишь подкреплялось их улыбками, их заинтересованными взглядами. На миг он даже услышал в своем голосе голос отца, проповедующего сандеманцам. Когда он закончил описывать свой пироглиф, ему даже зааплодировали. А Ронсли взял кувшин и плеснул ему еще пива.

Альфред Теннисон пошел пройтись, чтобы разогнать кровь. Весь день он был погружен в тоску. Да-да, именно "погружен": его тоска была мягкой, темной, илистой и вязкой. От нее тянуло речным дном, тянуло им самим. За весь день — ни строчки. Вокруг валялись недописанные стихи, в саду гудели насекомые, муха билась твердым лбом о стекло. Он сидел и курил, курил, пока его бестолковая голова не наполнилась дымом, словно воздушный шар, пока сердце не заколотилось, а руки и ноги вконец не ослабели. Издали до него доносился стук топоров: где-то среди деревьев трудились лесорубы.

Может, ему пойдет на пользу общение с доктором? Вот уж кому не занимать энергии, увлеченности и вдохновения.

Минуя утомленных жизнью безумцев, поэт направился вверх по тропе к дому доктора. Он потянул за колокольчик и, покуда дверь не отворилась, наблюдал за умалишенным, уклонявшимся непонятно от кого и споривший непонятно с кем. Дверь открыл слуга, но тут же на смену ему заторопился сам доктор с протянутой для рукопожатия ладонью. Ухватив более крупную руку Теннисона, он мягко её потряс и похлопал гостя по плечу, увлекая внутрь дома. "Как мило с вашей

стороны заглянуть к нам, — заговорил он. — Входите же, входите!" Теннисон передал слуге шляпу и трость, и доктор повел его в дом.

Миссис Аллен встретила их в прихожей. Из дверей шмыгнула младшая девочка и прижалась к материным юбкам. "Как я рада вновь вас видеть, — произнесла Элиза. — проходите же в гостиную!"

Из дальней комнаты донеслась музыка. Это Ханна услышала о его приходе и метнулась к фортепиано, не забыв пощипать себя за щеки, чтобы он как бы случайно застал ее за исполнением сонаты Клементи. Когда они вошли в комнату, она споткнулась на очередном пассаже, и лицо ее залила краска. Абигайль подбежала к ней, с глухим ударом впечатавшись в табурет, и принялась бренчать по верхним нотам. Не смея поднять голову — ведь ее же застали случайно — Ханна оттолкнула сестру. Абигайль упала, мать поймала ее за поднятые руки.

— Ой, прошу прощения, — Ханна вскочила с табурета.

— Что ты, что ты. Ты играла просто чудесно, — улыбнулась мать.

— Мистер Теннисон, — сказала Ханна, — до чего же приятно вновь вас видеть. — Тут она вспомнила, что ей есть чего опасаться: вдруг он рассказал отцу, как некоторое время назад она приходила к нему совсем одна? Пока на это не было ни намека. А может, отец знал, но не имел ничего против? Так или иначе, он пребывал в приподнятом настроении, безудержно радовался всему подряд, быстро и размашисто жестикулировал. Казалось, ему приятно было обнаружить ее в гостиной: глаза его были добродушно прищурены, а лицо осветила дружелюбная улыбка, в которой читалась отцовская гордость. Ханна тоже была одним из его достижений. А значит, в полном соответствии с ее собственными желаниями, ее следовало непременно продемонстрировать гостю.

— Это было просто восхитительно, Ханна. А сыграй-ка нам что-нибудь еще!

— Если вам и правда хочется...

— Ну конечно, хочется!

Теннисон что-то профырчал, выражая согласие.

— Альфред, садитесь, пожалуйста.

— Пойду попрошу, чтобы принесли чаю, — шепнула Элиза и вышла. Ханна отвела глаза: она чувствовала, как мать сверлит ей взглядом лоб. Вновь присев за фортепиано, она начала играть другую сонату, но тотчас вспомнила о том, что сейчас происходит, кому она играет, и немедленно сбилась с ритма, ноты стали налезать одна на другую. Она мысленно приказала себе успокоиться, играть как обычно, но лишь почувство-

вав, как на верхней губе выступают капельки пота, сумела взять себя в руки. Снизив темп, она проигрывала дивные мелодии, словно показывая их со всех сторон. Она играла, играла и ошиблась лишь тогда, когда в комнату вернулась мать с Фултоном и Дорой и когда Теннисон раскурил свою трубку. До чего же это трудно — пытаться хорошо выглядеть, сосредоточившись на игре и в то же время чувствуя, как лицо покрывается красными пятнами. На заключительных аккордах принесли чай. Она сыграла каданс с величайшей силой и отстраненностью, после чего поднялась с табурета, ослабевшая и беспомощная, с мокрым от пота лицом.

— Превосходно! — похвалил ее отец.

— Очень выразительно, — сказал Теннисон.

— Правда?

Он кивнул, выпустив из ноздрей дым.

— Да, в самом деле.

Его слова прожгли ее насквозь. Выразительно! И это сказал поэт. Не иначе как она тронула его душу. Теперь она с ликующим видом восседала среди них и разглядывала свои еще не остывшие после игры пальцы, Теннисон же продолжил развивать мысль о том, что музыкальность к лицу юным леди, ведь в доме сразу становится светлее. Он поинтересовался, играет ли Элиза.

— Не так много, как прежде, у меня и без того дел невпроворот. И Дора тоже играет.

— О, да, — присоединился Мэтью. — И в скором времени ей предстоит сделать светлее свой собственный дом. Дора вот-вот выходит замуж, буквально через пару недель. Надеюсь, вы окажете нам честь и придете на свадьбу. Прием будет прямо здесь.

— Да, хорошо. Почему бы и нет? — Теннисон учтиво повернулся к молчавшей Доре. — Почту за честь, поверьте.

Надо же, подумалось ему, вот она какая, счастливая и полная жизни семья. Как приятно быть среди них. Вот такой и должна быть жизнь, и до чего же не похожа она на его замкнутое, косное существование, которое и жизнью-то не назовешь.

Свадьба, рассуждала Ханна, — что может быть лучше? Разве можно придумать более благоприятный день? Тогда-то все и случится! По сути, он же сам сказал. Своей выразительной игрой она сделает его дом светлее.

Чай выпили, а разговор тек своим чередом — легкий, веселый, непринужденный. Теннисон съел изрядное число сдобных булочек и, несколько смутив Ханну, разжег трубку, не переставая жевать.

Когда с чаем было покончено, Мэтью объявил:

— Дамы, если вы позволите, мы вас оставим. Альфред, я был бы рад видеть вас в своем кабинете. Хочу вам кое-что показать. Фултон, пойдем с нами.

— Да, конечно, — сказал Теннисон и, следуя за хозяином, поднялся из-за стола и кивнул дамам.

— До свидания, — произнесла Ханна.

— До свидания. И еще раз благодарю вас за вашу игру.

Незаметно обогнув гостя и обхватив его за плечи, Мэтью Аллен увлек его к двери. Довольный Фултон двинулся вслед за ними: как приятно, что его тоже позвали и он может с полным правом уйти от всех этих женщин.

— Помните, о чем мы говорили некоторое время тому назад? — начал Аллен, мягко прикрывая за собой дверь кабинета. — И я еще выразил желание вновь расширить сферу своей деятельности?

— Да-да, помню. Весьма любопытный был разговор.

Аллен улыбнулся.

— Что ж, полагаю, мне пришла в голову самая что ни на есть подходящая идея, а теперь она полностью созрела, и перспективы просто поразительны. Фултон, принеси, пожалуйста, чертежи с моего стола.

Аллен подхватил один из своих минеральных образцов и принялся подбрасывать его на ладони, не переставая говорить.

— Это мой проект. Я убежден, что он воплощает новейшие веяния в этой области и, хотя я вовсе не склонен обольщаться на свой счет, может привести к ее существенному усовершенствованию. Разумеется, эта модель на голову выше всех ныне действующих агрегатов.

— Очень интересно, — Теннисон, получив чертежи от Фултона, тотчас же опустился в кресло и приблизил к глазам первый из листов. — Это какая-то машина.

— Именно. Машина, — повторил за ним Аллен, будто бы вновь и вновь любуясь этим словом. — Машина. Машина моего собственного изобретения.

— Пироглиф, — прочел Теннисон. — Это же по-гречески. Огненная метка. И где же он оставляет метки?

— На дереве. Это станок для резьбы по дереву, — встрял Фултон. Отец одернул его взглядом.

— Совершенно верно. Машина для резьбы по дереву. Пироглиф. Вот смотрите, — Аллен встал за креслом Теннисона и начал объяснять принципы работы своей машины, используя обломок скальной породы вместо указки. — Это копир. Он повторяет узор, выполненный вручную, рукой мас-

тера. Этот рычаг соединяет его с буравчиком, в точности повторяющим узор на новом куске дерева, который вставляется вот в этот лоток. Резьба ручной работы воспроизводится столь точно, что впоследствии копию невозможно отличить от оригинала. Вот на этом рисунке даны кое-какие примеры.

Теннисон опустил взгляд на рисунок, где сплетались листья, ромбы, кресты, овалы, стрелы и ангельские лики.

— Зачем все это нужно? А вы только подумайте, подумайте обо всех этих растущих городах, о семьях, которые не могут позволить себе украсить свой дом работой мастера. Теперь у них будут образчики мебели, неотличимые от настоящих произведений искусства. А ведь нельзя забывать и о том, что искусство возвышает дух. Особенно резьба по дереву. Она воссоединяет людей с природой и с английской историей. А теперь подумайте обо всех новых церквях, которые тоже не могут позволить себе нанять мастеров для обустройства...

Теннисон ощутил, как красноречие Аллена увлекает, затягивает его. Воодушевление доктора было поистине гипнотическим.

— Фултон, можно тебя попросить? — Юноша взглянул на отца, дабы перепроверить, что понял его правильно, и молча вышел.

И тут для Мэтью настал решительный момент, самое время для большого маневра. Похоже, ему удалось ввести Теннисона в состояние повышенной внушаемости.

— Послушайте, — заговорил он вновь, — проект уже существенно продвинулся. Вскоре я вложу все свои сбережения в создание пироглифа и в покупку двигателя. Однако даже при этом мне немного не хватает на помещения, сырье — ну и так далее. — Похоже, Теннисона такой поворот разговора нисколько не смутил. Аллен продолжил:

— И я надеюсь, что вы не откажетесь вложить деньги в этот проект вместе со мной. Я уже даже выбрал участок для строительства. В общем, дело верное, стоит только началь.

— Все это звучит весьма убедительно, — откликнулся Теннисон. — Уверен, спрос будет. Города...

— О да, несомненно, спрос будет.

— А у меня сейчас как раз есть деньги. У всех у нас есть. Отцовское наследство. — Пусть деньги действуют вместо него, пусть выйдут в мир и вернутся, приумножившись. Если он, Теннисон, присоединится к доктору, то сам может стать человеком предприимчивым и энергичным.

— Что ж, я от всей души прошу вас об этом подумать.

— Считайте, что вопрос решен.

— Вы хотите сказать...

— Доктор Аллен, я в высшей степени склонен войти с вами в долю, — Теннисон протянул ему руку. Аллен схватил ее и не выпускал, от волнения забыв даже пожать.

— Превосходно. Просто превосходно. Я... о, я так счастлив. Ну что, давайте возьмемся за подсчеты?

У Марии устал рот. Ей казалось, что она говорит уже не первый день, даже не первую неделю, слюна загустела, словно клей, язык поднимался и опускался, неся Слово Божие. Она совсем разучилась спать. В лучшем случае глубокой ночью она на миг проваливалась во тьму и тотчас же возвращалась к своему бдению, уже молясь, уже говоря. Она шла сквозь мир, и мир расширялся, близился, выпячивался ей навстречу, раскрывался перед нею во всех своих подробностях, полнился знаками. Она шла по своему сияющему коридору от одного человека к другому, от одной души к другой. И теперь коридор вывел ее к пруду, где стоял Джон.

А Джон стоял и смотрел, как ширится кромка ила, как пруд на жаре сжимается до самого себя. Густой запах тяжелой зеленой воды, вонь влечения. Ил был маслянистый, цвета лягушачьей кожи. Джон хотел было присесть, дабы проверить, можно ли разглядеть сквозь блики на его поверхности живущих в нем тварей, и вдруг почувствовал, как на плечо ему опустилась чья-то рука.

— Доброе утро! — услышал он.

— Да. Да? Кто вы?

— Меня зовут Мария.

— Не может быть.

— Это мое имя. Имя, которым нарек меня ангел Господень.

— Да, но ты как будто постарела — то есть мы оба, наверное. Этого не избежать, а? — выпростав руку, он прикоснулся к ее лицу. — О, да, — вздохнул он.

— О, да, — улыбнулась Мария. Ей удалось завладеть его вниманием. Видно было, что он готов. Между ними установлена сокровенная, неподдельная связь.

— Я знал, что ты придешь, — произнес он.

— Не сомневаюсь.

— Но как ты похудела.

— Я должна вам кое-что сказать, — начала она.

— Пойдем куда-нибудь — куда-нибудь, где нас не увидят. Спрячемся, чтобы чувствовать себя свободнее.

— Слушайте же...

— Ах! — ошеломил он её неожиданным возгласом. — Почему ты не приходила так долго?

— На все Господня воля, — ответила она. — Мы не вправе ее оспаривать.

— Да, да. Но мне пришлось так трудно.

Она увидела в его глазах слезы.

— Но вот я здесь.

— Ах! — вновь воскликнул он, взял ее за руку и поднес ладонь к своей щеке, пытаясь успокоиться. — Пойдем скорее. Пока нас не нашли.

Не отпуская ее руки, он повел ее прочь. Ему страсть как не хотелось спешить, не хотелось ее оскорбить, но отступать было некуда — вдруг им не будет дано больше ни минуты? Он потянул ее за собой подальше от дома, на обнесенный стеной двор, куда сваливали в компостную кучу скошенную траву и овощную ботву. Там он обхватил ее обеими руками и притиснул к себе. Она позволила. Почуяла в его душе жажду. Ее послали помочь ему. "Сам Господь послал меня к вам", — сказала она.

— Да, да. Не иначе.

И он принялся водить руками по ее шее, волосам, плечам, ягодицам.

— Нет, — заикнулась было она. — Нет, нет.

— Да. Наконец-то. Мы теперь вместе. Все правильно.

Правильно? Неужели это жертва, которую она должна принести? Епитимья за ее жизнь с мужем, напоминание о той жизни? Она хотела одного — стать орудием Господа. Так вот он каков, ее путь?

Этот человек ошеломлял своей страстью. Мария вдруг обнаружила, что лежит на спине прямо на мокрой траве, ощутила сладкий запах гнили. Джон задрал ей юбку и взялся за белье. В конце концов, тело ее принадлежит миру. Оно погибнет, обратится в прах. Мария закрыла глаза. Но ее Безмолвный Страж бдел.

Возясь со своими собственными пуговицами, Джон не переставал целовать ее лицо, глаза, скулы. И вот он нашел то, что искал. "Мария, — повторял он. — Мария".

Она заставила свое лицо окаменеть подобно маске. Но чувствовала, как он упирается в нее головой, как текут по ее щекам его слезы.

Он качался на волне ощущений, вдыхая запах травы, а золотой день ласкал его спину. Наконец ему удалось войти. Он постарел и отпустил брюшко, которое, словно подсунутая нарочно подушка, мешало ему продвинуться, а у нее такие острые кости. Но он входил в нее все глубже, глубже, и, наконец, из него вырвалась та самая вспышка света, молния, что пробила тьму, ветвясь и расширяясь. Всхлипнув, он прижал ее к себе.

"Мария", — простонал он и скатился с неё. Она попыталась встать. Но он удержал ее, и она подчинилась, прижавшись к нему, уткнувшись лицом в темноту его шеи. Он лежал затылком на пахучей, влажной траве и чувствовал тепло ее слез, что падали прямо на него. Ее волосы стелились по его лицу, скользили по губам. Он поднял взор. Перед его глазами вились прозрачные пятна. Жужжа, дрались две мухи. Над головой, в восхитительно высоком летнем небе, кричали стрижи. "Мария", — ощутив прилив счастья, повторил он и медленно закрыл глаза.

Деньги Теннисона быстро поместили в банк, после чего сразу же были сняты необходимые помещения, закуплены в изрядных количествах дуб, липа и граб и начата постройка пироглифа. Мэтью Аллен прогуливался среди скрежещущих буравов там, где рождалась новая машина, радуясь сногсшибательной мощи производства. Его не впервые пьянило рождение новых идей — идей, которые меняли весь ход его жизни и помогали найти себе место в мире, но впервые идея столь явственно воплощалась, выстраивалась, сколачивалась прямо на его глазах.

Он нанял двух работников. У одного из них, худого, были длинные проворные пальцы со столь широкими кончиками, что руки его были похожи на лапы водяной птицы. Другой был массивнее, с водянистыми глазами и медленным, вялым взглядом. Оба были резных дел мастерами, некогда работали на краснодеревщиков и отличались неразговорчивостью. Тот, что помассивнее, выгнул кисти рук, оглядел их и в вопросительной форме высказал свое недовольство отсутствием учеников и подмастерьев. Доктор Аллен заверил его, что для работы на пироглифе обучать никого не потребуется, да и работы, на счастье, будет не настолько много. Стоит только вырезать узор, и дальше все пойдет как по маслу. Был назначен день, когда им предстояло приступить к работе, и Аллен остался один в пустой мастерской, наслаждаясь ее упругой тишиной и разглядывая пока что молчащий двигатель Модсли. А ведь скоро начнется так много всего! Он запер помещение и отправился домой поработать над рекламными объявлениями.

Мэтью Аллен удивительным образом умел уходить с головой в новое дело. Подобно киту, он часами не выныривал из нового проекта. Вынырнув, бывал шумен, жизнерадостен и голоден — и вскоре вновь исчезал. Фултон старался не отставать — в конце концов, это дело предстоит продолжить, а потом и унаследовать его — но зачастую просто не мог отыскать отца. Элизу временами раздражало, что все это происходит накануне свадьбы, однако она не жаловалась, поскольку зна-

ла, что толку все равно не будет, да и к тому же прекрасно справлялась сама.

Видя невозмутимую силу и неспешную властность Уильяма Стокдейла, Аллен все больше и больше передавал ему бразды правления лечебницей, особенно в Лепардз-Хилл-Лодж. К примеру, он не мог не восхититься тем, как Стокдейл одернул Джона Клэра, который как раз шел навстречу им по длинному коридору.

Стокдейл посмотрел сверху вниз на растерянного крестьянина, который, напрягая водянистые глаза, пытался его разглядеть. Он сообщил, что его фамилия Шекспир, и добавил, что говорит на семи языках. А расхваставшись, вдруг рассвирепел.

— Где Мария? — вопросил он. — Что вы с ней сделали? Она была со мной, а теперь ее нет.

Мэтью Аллен прервал его:

— Джон, Джон, постойте. Марии здесь не было. Ваше желание столь сильно, что вы ее себе вообразили. Понимаете?

Джон обернулся безо всякой искорки понимания во взоре.

— Нет, не вообразил. Слишком уж все было по-настоящему. Да, по-настоящему. Что вы с ней сделали?

— Ничего мы с ней не сделали, — отрезал Стокдейл. — Ее здесь не было! — Он навис над Джоном, ухватив того за плечо. — Ее здесь не было. Слышишь? Слышишь?

— Не...

Стокдейл слегка встряхнул его.

— Ее здесь не было. Ее здесь не было. Слышишь?

— Я...

— Ты понял. Ты все понял.

— Отпусти.

— Ты все понял.

— Я понял.

Позже Стокдейл делился с Алленом:

— Это не насилие, а так, физическое воздействие. Просто чтобы собрать их внимание, доктор.

Дома Аллен налетел на малышку Абигайль и сгреб ее в охапку, делая вид, что хочет укусить ее в живот. Абигайль от восторга задрыгала ногами. Он опустил ее на пол.

— Уф, — выдохнул он. — Ты становишься тяжеловата для подобных игр. Итак, милые дамы, — обратился он к жене и дочерям, — я заказал для вас новые платья, как вы и просили. Они будут у нас завтра — как раз поспеют к свадьбе.

— Точно будут? — Ханна сглотнула, превозмогая боль в горле. — А что ты заказал?

— Уверен, вам понравится. Выбирала ваша мать, по журналам.

— Да, так и было, — подтвердила Элиза.

Ханна страстно надеялась, что платье будет правильного цвета, с сумеречным оттенком, исполненным дали и поэзии. Она вновь сглотнула. Горло болело. Скребущая сухость прокладывала себе путь все глубже, и приходилось сглатывать, чтобы ее смягчить. Кости налились тяжестью, взгляд тоже. Медленно покачнувшись, Ханна огляделась по сторонам. Похоже, она заболевает. И будет больна во время свадьбы. Стоило ей это понять, как она чихнула и застонала. В голове зазвенело.

Дора взглянула на нее неодобрительно:

— Надеюсь, ты не собираешься проболеть мою свадьбу. Лучше уйди к себе, Ханна. А то еще заразишь тут нас всех.

— А ведь Артур и Эмили тоже могли пожениться, и у них была бы такая же свадьба. Если прищуриться, очень на них похоже. По-моему, у него лоб совсем как у Артура.

— Церемония будет в желтой гостиной, — откликнулся Септимус.

— И тогда он стал бы нашим братом. Милый, любезный друг.

— Стал бы. Мог бы стать. Хватит сослагательного наклонения. Случается лишь осуществимое.

— Случается лишь осуществимое? Неужели?

— Иного не дано. А что не так?

— Порой я не в силах вынести, знаешь ли. Не в силах... вынести.

— Да, — Септимус умолк и, выждав, когда пройдет, растает этот пронзительный миг, мягко продолжил, следуя за ходом своей мысли. — Он был словно создан для нее, верно. И, по сути, поднял ее со смертного одра.

— Да, а теперь она выйдет за этого болтливого гардемарина. Это ль не было паденьем![1]

— Вспомнил Гамлета, да? Артур был чудесный. Едва ли наша сестра найдет другого такого. До сих пор ведь не нашла.

— Ты слишком уж рассудочен.

— Я слишком устал изображать из себя что-то еще.

Братья Теннисоны, не выпуская из рук бокалов с вином, поклонились вновь пришедшим гостям. Все это не прошло мимо внимания наблюдавшей за ними Ханны. Ей нездоровилось. В тесном новом платье слишком уж яркого голубого цве-

1. Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5. Перевод М. Лозинского.

та, с ноющими коленями и локтями, она то и дело вытирала пот со лба и с верхней губы кружевным платком. А вокруг, жужжа, текла своим чередом свадьба. Ханна пристально глядела на Дору и Джеймса, что сидели за своим маленьким столиком с вином и пряным пирогом, принимая поздравления. Среди столпившихся вокруг них гостей они казались маленькими, одинокими, прикованными к месту, отрезанными от мира детьми. Ханне такое положение представлялось унизительным, особенно в свете того, насколько неуместно смотрелись на Доре локоны. Эти двое были словно вытеснены за пределы праздника. Все остальные знали свое дело и могли развлекаться от души. Быть может, все было бы иначе, если бы Дора и Джеймс выглядели хоть немного счастливее. Однако они не смеялись, не радовались. Говорили только тогда, когда к ним обращались. Не держались за руки. Ханна повернулась к Аннабелле, чтобы поделиться с ней этим наблюдением, но вместо подруги обнаружила рядом с собой дядю Освальда и его маленькую смуглую жену.

— Здравствуй, — сказал он ей. — Твой отец устроил чудесный праздник.

Ханна сглотнула и ответила:

— В самом деле. — Откуда-то издалека до нее доносился громкий смех отца — показной, деланный и ритмичный, нисколько не похожий на тот, что разносился по дому, когда отец на самом деле радовался.

— И такое тонкое вино, — продолжил Освальд, поднимая мерцающий бокал с мадерой. Должно быть, дело было в ее болезни, но Ханна не могла отвести взгляда от его колышущегося опалового блеска.

— Вы же знаете отца, — сказала она.

— Знаю. С расходами он не считается.

— Какое милое платье, — включилась в разговор миссис Аллен, протягивая руку и прикасаясь к хрустящему волану на Ханнином рукаве.

— Благодарю, — Ханна вновь вытерла лоб платком.

— Ты себя хорошо чувствуешь? — спросил Освальд.

— Не вполне.

— Что ж твой отец ничего мне не сказал? Я бы захватил микстуру.

— А, Аннабелла, вот ты где!

— Да, я тут.

— Дядюшка Освальд, позвольте представить вам мою подругу Аннабеллу. Аннабелла, это мои дядя и тетя.

— Очень приятно познакомиться, — сказала Аннабелла и сделала реверанс.

— Взаимно, — кивнул ей Освальд. Его жена едва заметно присела в реверансе, не переставая потягивать вино.

— Дядюшка, вы нам позволите вас оставить?

— Конечно.

Ханна и Аннабелла под руку удалились.

— Что-то мне совсем плохо, — сказала Ханна.

— Ты очень горячая.

— Солнце слишком яркое.

— Послушай, а он тут?

Ханна попыталась заглянуть в исполненное нетерпения лицо подруги, однако белое платье Аннабеллы буквально ослепило ее ярким, бьющим прямо в глаза светом. Она вновь вытерла лицо.

— Да. Ты еще не видела их с братом? Они же здесь на голову выше всех.

— И который из двух — он?

— Что? Да вот же он. Тот, что красивее. С волосами.

— Ах да. Брюнет, как ты и говорила.

Ханна содрогнулась от страха перед тем, что ей предстояло сделать. Она была настолько слаба, что могла и не выдержать. Сейчас, сегодня, в этом самом месте ей предстоит с ним говорить. И ей просто необходимо было собраться с силами.

— Мы к ним подойдем? — спросила Аннабелла.

— Да, наверное, — ответила Ханна. И спасло ее лишь появление отца, который взял Аннабеллу за руку и с восхищенной улыбкой отвел руку в сторону.

— Очаровательно! — сказал он. — Вы просто обязаны познакомиться с другими гостями. Карлейли прислали письмо с извинениями, однако остальные вроде как уже здесь. Пойдемте же. И ты тоже, Ханна.

И Ханна пошла вслед за ними. Она спиной, не глядя, чувствовала, где стоит и что делает он: так животное знает, где его хозяин.

Боксер Байрон услышал голоса и заковылял в их сторону, загребая больной ногой. И вот он увидел их, увидел, что они творят, как опошляют истинную любовь. Перед его взором предстали молодые, которых связали, словно преступников, суровыми узами закона — и теперь они сидели среди людей, отнявших у него Марию. Он поспешно захромал к ним, покачивая плечами.

Между Фэйрмид-Хауз и садом он приметил санитаров, которым приказано было его не пускать. Поэтому он стоял поодаль и ждал, пока кто-нибудь из них не отвлечется. Вот к одному подбежала маленькая девочка, принесла пирожное, и

пока он отошел вслед за ней на несколько ярдов, Байрон устремился в образовавшуюся лазейку.

Проталкиваясь сквозь прохаживающихся гостей, он взялся разыскивать доктора, сообщая об этом всем и каждому. И доктор не замедлил найтись.

— Где Мария? — набросился он на доктора.

— Джон, — произнес доктор, — вам не следует здесь находиться.

— Где Мария?

— Сейчас не время. Вы должны уйти. У моей дочери свадьба. — Он поманил к себе одного из санитаров.

— У вашей дочери? А моя дочь — Вики, ваша королева! И что вы мне на это скажете? Я требую вашего повиновения!

— Джон, вы должны уйти.

— И как вы меня заставите? Слушайте же и повинуйтесь! Где Мария?

— Джон...

Байрон прочел на лице доктора непреклонное нет, увидел закрытую дверь, которую немедля решил вышибить ударом кулака. Но не попал. Доктор сделал шаг вперед и под взглядами гостей попытался обхватить поэта, прижав его руки к бокам. Байрон высвободил одну из рук, ухватил с чьей-то тарелки кусок пирога и в ярости стиснул его изо всех сил. Начинка так и брызнула у него между пальцев. Остатки он попытался швырнуть доктору в лицо и вытереть пальцы о его самодовольную рожу. Доктор зажмурился и запрокинул голову. И тут появился Уильям Стокдейл. Он схватил Байрона за руки и на миг оторвал его от земли. Опустив поэта обратно, Стокдейл заломил ему руки за спину и скрутил.

— Прошу вас, уведите его.

— С удовольствием, доктор.

— В Лепардз-Хилл-Лодж... с каждым днем все хуже и хуже... — Отряхивая одежду, он обернулся к гостям, избегая укоризненного взгляда Доры. — Ничего страшного, — сказал он. — Ничего страшного.

Чарльз Сеймур наблюдал за происходящим со стороны с надменностью аристократа. Когда суматоха улеглась, он прислонился к стене, склонив набок голову, лениво вращая вино в бокале и едва заметно улыбаясь остальным гостям. Ханне пришлось направиться к нему по просьбе отца, который так настойчиво добивался его присутствия на свадьбе. Аннабелле он тоже предложил побеседовать с юным наследником. Несомненно, добавил он с грубой галантностью, она произведет на него впечатление. Ханна злилась. Время шло, а поговорить с Теннисоном ей так и не удалось. И кроме того, она больше

не чувствовала себя ни цветущей, ни привлекательной. Вся мокрая, бледная, полуслепая, комкает в руках платок и щурится — вот какой она сейчас, должно быть, выглядит со стороны. Не успели они подойти к Чарльзу Сеймуру, как мимо прошел Теннисон, и Ханна, ловя момент, окликнула его:

— Мистер Теннисон!

— Да-да, — ответил он, — добрый день!

Аннабелла сжала ей локоть, потом еще и еще, пока Ханна наконец не поняла.

— Позвольте представить вам мою подругу, — выговорила она. — Мисс Аннабелла Симпсон. Мистер Альфред Теннисон.

Аннабелла сделала грациознейший из реверансов: приседая, опустила подбородок, а выпрямляясь, вновь подняла лицо и нежно улыбнулась.

— В самом деле, — сказал Теннисон, приблизившись к ней вплотную, чтобы лучше разглядеть. И пролепетал со смущенным смешком:

— Что же вы за созданье? Нимфа или дриада?

Аннабелла прыснула.

— Боюсь, всего лишь простая смертная.

— Видя вас воочию, нельзя было не задать этот вопрос. Чудесный день, не правда ли?

Ну, конечно. Ханна отерла лоб. Позволив им поговорить еще минуту-другую, она ущипнула Аннабеллу за локоть. Аннабелла обернулась, взглянула подруге в глаза и все поняла.

— Надеюсь, вы меня извините, — сказала она, — мне еще нужно поздороваться с миссис Аллен. Я до сих пор к ней не подошла. Право, она сочтет меня грубиянкой.

— Разумеется, — с поклоном откликнулся Теннисон.

Ханна улыбнулась. Все кончено, это же яснее ясного. Все уже кончено. И причина вовсе не в ней. Нет, причина снаружи, в этом зеленом, солнечном дне. И была там с самого начала. Любая ее мысль о нем была пуста, лишена плоти, сводилась к пониманию того, что все неправда, что ничего не случится. И, осознав это, она почувствовала величайшее облегчение. Недели, месяцы молитв и надежды в одночасье исторглись из нее. Она могла сказать что угодно: слова обращались в воздух, и толку от них было не больше, чем от аромата. Можно было сказать и правду. И хотя Ханна еле держалась на ногах и непрерывно потела, она вдруг успокоилась. Мир показался ей бесплотным, прозрачным, словно бы изношенным. И она сказала вслух все, что думала.

— Мистер Теннисон, — начала она.

— Да?

— Я уже давно хочу вам кое-что сказать, кое-что прояснить.

— Правда?

— Именно. Видите ли, я так перед вами преклонялась. И даже более того. Я в вас влюбилась — вот правильное слово. И все надеялась, что это преклонение может оказаться обоюдным, что вы задумаетесь о том, чтобы взять меня в жены, да, что я гожусь вам в жены, — тут она рассмеялась.

— Вот как.

— Да. Смешно, правда? Мне не следовало ничего вам говорить. Так не принято. Но я подумала, что и вы далеки от общепринятого. К тому же у меня жар.

— Вот как.

Они стояли бок о бок, а вокруг ходили люди. Теннисон долго молчал. Он погрузился в уже знакомое ей глубокое безмолвие, а потом проговорил:

— Я, конечно же, очень польщен...

— Ну, конечно, — вновь рассмеялась Ханна.

— Но...

— Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанным окончить эту мысль. Думаю, я и так порядком вам надоела. А теперь прощайте. И простите.

Ханна улыбнулась, развернулась и ушла в дом болеть.

Когда некоторое время спустя она вернулась в сад, ее отыскала Аннабелла.

— Ну как? — спросила она.

— Никак.

— Честно говоря, мне кажется, что ты можешь успокоиться на его счет. Вот интересно, все поэты такие грязные? Ты видела его уши?

— Я как-то не присматривалась к его ушам.

— Тебе повезло. Только задумайся!

— О, да. Кому охота замуж за такие уши?

Подобная непочтительность вообще была характерна для Аннабеллы и потому не слишком задела Ханну, хотя впоследствии Ханна не раз мысленно возвращалась к этому разговору. Красота Аннабеллы была лишь фасадом, за которым скрывалась барышня ехидная, непостоянная, да и вообще бог весть какая. "Нимфа или дриада? — попыталась она передразнить его линкольнширский акцент. — Нимфа или дриада?"

Похоронив свои чаяния, Ханна чувствовала внутри себя только пустоту да отголоски болезни. Лишь бы теперь ей хватило сил увериться, что она, Ханна, была всегда, а Теннисон — нет. А там и день подойдет к концу. Дни проходят, как и всё остальное. Она из последних сил болтала с гостями и даже протянула потную руку для поцелуя щеголеватому Томасу

Ронсли, которому ее представил отец. Этот Томас делал какие-то механизмы или что-то в этом роде и заработал на них кучу денег. Лишь потом, в постели, оставшись наедине с собой, она плакала и плакала без конца.

— Шшшшш!

Элиза подняла глаза от счетов:

— В чем дело?

— Тише! — Мэтью прижал к губам палец и поманил ее тем же пальцем из дверного проема за собой.

Элиза подула на свежую запись, подсушивая чернила, и вышла вслед за мужем. Она обнаружила его у стены в прихожей, он же, заприметив ее, двинулся дальше. Она со смехом поспешила вдогонку.

— Куда ты меня ведешь? — окликнула его она.

Он присел на корточки и скрылся из виду. Когда она зашла за угол, он выпрямился в полный рост, сделал пируэт и вновь ее поманил.

— Дурачок! — она последовала за ним, посмеиваясь над его танцем.

В доме никого не было, гости разошлись. Он водил ее по всему дому, пока она не запыхалась, и, наконец, остановился у двери собственного кабинета.

— Ну что, зайдем?

Он улыбался. Усы шаловливо топорщились.

— С удовольствием! — выдохнула она.

Он распахнул перед ней дверь, и она вошла. И тотчас же увидела, к чему он ее так долго вел.

— Что это?

— Ага, — откликнулся он. — Что же это такое, в самом деле?

Элиза взглянула на коробку, стоявшую на полу.

— Когда ее принесли, я подумала, что это один из свадебных подарков.

— И не угадала. Правда, красиво?

На столе стоял медный механизм с тремя изогнутыми ножками, стержнем и барабаном, снабженным ручкой и множеством спиц, от которых под прямым углом отходили более тонкие оси, увенчанные шарами разных цветов. Вокруг некоторых из этих шаров вились крохотные шарики, каждый на своей оси.

— Это называется оррерий[1].

1. Механическая модель Солнечной системы. Названа по имени Чарльза Бойля, четвертого графа Оррери (1676—1731), предложившего один из вариантов модели.

— Небесные тела?

— Разумеется. А вон солнце, в самой середине.

— Красивая! Очень дорого стоила?

— Что за вульгарный вопрос! Иди сюда, дорогая, и поверни вот эту ручку.

— А не сломаю?

— Не бойся. Небеса в твоем полном распоряжении.

Он стоял позади нее, обхватив ее за талию, такую теплую после беготни по всему дому. Элиза взялась за рукоять и повернула. Механизм пришел в движение с дивной легкостью. Миры вращались слева направо, луны вальсировали вокруг них, и лишь огромный медный шар Солнца, в котором отражался свет лампы, был недвижим, словно идол.

— А это что за планета, у которой столько спутников?

— Юпитер.

— Какой ты умный!

— Ужасно. Просто невероятно, — и он поцеловал ее в шею.

День был ясен и упруг. В кронах деревьев шелестел ветерок. По синему небу ползло высокое белое облако. Тропа пахла выжженной пылью. До сих пор никто не наказал ее за грех, никто не впился когтями, не было даже стыда. Она лишь выполняла Его волю. И у нее было еще немало дел. В изгнании бесов настал решительный момент. Она закрыла глаза и приступила к молитве.

И услышала голос:

— Боишься взглянуть, да?

Открыв глаза, Мария увидела ту, кого ждала, — ведьму Клару. И возблагодарила Господа за то, что Он ее сюда прислал.

— Мне нечего бояться. Боишься ты. Повсюду ты зришь...

Клара хихикнула.

— А ты лгунья! — сказала она. — Я знаешь что могу с тобой сделать...

— Нет, не можешь. Я неуязвима, ибо...

— А вот и могу! Мало не покажется. Ты даже представить себе не можешь...

— Я одна, и к тому же в сумасшедшем доме. У меня нет ничего, кроме Его защиты. И что ты можешь со мной сделать? У тебя...

— Думаешь, это самое худшее? Думаешь, хуже ничего и быть не может?

— Я знаю, что может. Я это познала. Как и большинство из нас. Часами я...

— Но, как и всякая шлюха еврея Иисуса, спасена? — Клара вновь захихикала.

— Господь любит и тебя. Любовь Его безгранична. Больше этого мира. Этот мир так мал...

— В гробу я ее видала, эту его любовь!

— И все же она здесь. Даже если ты в гробу ее видала, она пребудет добра и лучезарна...

— Что ж ты мне ее не покажешь? А ну-ка, пойдем со мной! Я тебе сама кое-что покажу. Если выдержишь.

— Не думаю, что ты можешь показать мне что-то...

— Тогда пойдем посмотрим. Ну, давай!

И Клара пошла прочь, встряхивая волосами. Мария помедлила долю секунды и двинулась за ней. Уж если и Смерть не может ничего у нее отнять, то что там говорить о Кларе?

Клару нагнал Саймон — захотел знать, куда она идет. Он схватил ее за плечо, но она увильнула и повернулась к нему лицом.

— А куда вы... — начал он.

— Мы идем в такое место, куда тебе нельзя, — прошептала Клара.

— Нельзя... — промычал он.

— Да, нельзя!

Саймон и помыслить не мог о том, чтобы ее ослушаться. Он прижал к губам палец и отошел.

Клара привела Марию к воротам. Питер Уилкинс встрепенулся, поднялся со стула, сдвинул шляпу на затылок и выпустил их наружу.

Они тотчас же свернули с тропы. Клара перешагивала через куманику, над головой у нее мелькали полоски света. Все шло своим чередом. Лес тихонько почавкивал.

— Чуть подальше, — сказала Клара.

Поляна без единой травинки. И что-то такое посреди нее.

— Вот. Гляди.

— Ты живешь во тьме и ничего тебе не нужно. Но вокруг свет. Он пронизывает тебя насквозь. Он любит тебя.

— Заткни свою святую вонючую пасть. Сейчас ты в моих владениях. Гляди же.

— Что это?

— Здесь сила.

— Нет здесь никакой силы. Ибо нет никакой связи...

— Заткни пасть и гляди.

Мария шагнула вперед и опустила взгляд. Перед ней был круг размером с большую тарелку. Круг изумительной работы, выложенный из крохотных частиц и обнесенный по краю за-

бором из палочек. Его закручивающийся, повторяющийся узор состоял из перышек, удивительным образом подобранных друг к другу камушков, ягод, крылышек насекомых, орехов и листьев. В самой середине лежал завиток улиткиной раковины. Мария подняла глаза на Клару, которая улыбалась, что-то бормотала себе под нос, явно ожидая, что с Марией что-нибудь случится, что она испугается, хоть как-то изменится. И вновь Мария взглянула на круг и ощутила, насколько он приковывает взгляд. И до чего жалким показался он ей, с этим ракушечном островком безопасности, воплощающим мечту о доме, в самой середине. Затейливым и бессильным.

— Теперь ты его видела, — проговорила Клара, — и в тебя вселится демон.

— Никакой демон в меня не вселится. Так сказал ангел.

— Что хочешь, то и думай. Подожди, сама увидишь.

Мария покачала головой. Она ничего не чувствовала. Должно быть, бесы уже изгнаны. И Клара не повелевает никакими демонами. Чтобы удостовериться, Мария наступила на круг и провела по нему ногой. Клара тотчас же подбежала, опрокинула Марию на спину и вцепилась в нее обеими руками. Мария, в миг отвратительного, нехристианского малодушия выставила перед собою ладони, чтобы защититься. И была счастлива, почувствовав, как Клара бьет, как топчет эти самые ладони. Под конец Клара плюнула в нее и убежала. Мария ощутила, что все ее лицо изрыто горящими бороздами. Деревья тихо покачивали над ней ветвями. Она встала, по подбородку потекла остывшая кровь. Она стояла и ловила капли обеими руками, пока кровь не омыла их полностью. Тогда она прижала руки к лицу, оставив алые отпечатки, и, ликуя, направилась обратно в лечебницу.

Там ей встретился Уильям Стокдейл, который взглянул на нее не без злорадства и сказал: “Боже мой, боже мой. Мне думается, тут есть чем заняться доктору. И, полагаю, к моей вящей радости вы проведете некоторое время в Лодже”.

Осень

— Послушайте, послушайте, мы ведь можем малость подзаработать, а? Тряхнем стариной. Я все еще помню, чего хочет публика.

Он глядел на него в упор, вглядывался изо всех сил, но больше не видел в глазах Джона самого Джона, разве что мельком, словно бы тот понимал, что его заметили, и тут же прятался. Джон говорил очень быстро. Посреди его при-

плюснутого лица двигался сухой и мускулистый рот, из которого шел дурной запах.

Черт из бутылки, доктор по урине
Смотритель в королевском карантине
Велик и важен, словно дож в Турине
Все больше в Лондоне его увидишь ныне
Зовется Аллен, лечит дам, что в черном сплине
Цветут от чирьев, точно Флора на картине
Сквозь лес путь новый верен, говорят
Увидишь красный ад, а там и белый ад[1].

Ему захотелось выбраться из этой клетки. Это страшный сон, просто страшный сон: его старый друг безумен, он бормочет и хохочет, зачитывая стихи из засаленного блокнота. Ведет себя, как одержимый. А еще это зловоние. И шумы, доносящиеся из других палат.

Притон для содомитов, сущий ад,
Плен для мужчин, для женщин поруганье —
Я видел эту мерзость и разврат,
И непомерность трат на содержанье
Таких домов, где всякий доктор рад
Нажиться. Я же приобрел познанье:
Коль содомит свой уд крутить начнет,
Как он ни кайся, смерть предъявит счет[2].

Джон Тейлор возвращался из Лепардз-Хилл-Лодж под осыпающимися деревьями в сопровождении Элизы Аллен. Под ногами хлюпали лужицы. Вокруг падали листья.

— Сивиллины пророчества, — произнес он. Его расстроило то, что он увидел, расстроили тающие жизни друзей. Эта хрестоматийная мысль наложила отпечаток на его настроение и в чем-то даже смягчила боль.

— Простите?

— Сивилла, предсказательница, — пояснил он. — Она записывала свои пророчества на листьях и пускала по ветру, — пусть читает, кто может. Я сейчас занимаюсь историей древнего мира, по большей части Египтом, пирамидами и всем таким прочим.

— Вот оно что. Непременно расскажите моему мужу. Уверена, ему будет интересно. Скажите, а как вам показался мистер Клэр?

1. Перевод А. Круглова.
2. Перевод М. Липкина.

— Так себе, — ответил он. — Он был... возбужден. Все спрашивал про свою детскую любовь, Марию. Я не нашел в себе сил рассказать ему, что она умерла. А еще — что было бы забавно, если бы не указывало на столь тяжелую болезнь, — порой ему вроде как кажется, что он лорд Нельсон.

— Да, а иногда Байрон, как мне рассказывали.

— Ну, это хотя бы можно понять. Он переписывает одну из поэм Байрона. А еще он очень резко, даже оскорбительно, отзывался о заведении и о вашем муже, которого он, по его словам, сейчас почти не видит. Он показал мне отрывок из поэмы "Дон Жуан", где выразил те же чувства. Он уже долго здесь? Я хочу сказать, в этом месте, а не в Фэйрмид-Хауз?

— Трудно сказать. Больше месяца. Многие наши больные в случае необходимости проводят там некоторое время, а потом возвращаются. Что до моего мужа, Джон Клэр и в самом деле почти его не видит, Мэтью сейчас очень занят, налаживает деревянное производство.

— Полагаю, вы не знали его на пике славы. А видели лишь только после того, как он лишился рассудка.

— Я привыкла видеть людей, лишившихся рассудка.

— Однако жаль, что вы не видели его таким, каким знал его я.

— Его умственные способности до сих пор не вызывают никаких сомнений.

— По поводу умственных способностей я как раз не уверен. То есть я убежден, что он весьма одарен и всегда очень хорошо разбирался в людях. Но тогда, в расцвете сил, его вдохновение — это было что-то! Ему не хватало стиля. Не хватало формальной выучки. Он использовал множество никому не известных слов из своего диалекта. Но живая земля, его родина... да будет мне позволено выразиться не вполне привычным образом... она пела через него. Сама Англия пела через него, ее вечная, живая душа. Многие тысячи строчек, и каждая свежа, образна, музыкальна, подлинна. Это был гений, истинно говорю вам. Куда же могла деться вся эта мощь, вопрошает он теперь, понимая, что ответа нет. Вы уж извините, мне вдруг захотелось о нем порассуждать. А ведь вы начали рассказывать, что ваш муж налаживает сейчас какое-то производство.

— Да, механический станок для резьбы по дереву.

— Ну конечно же! Пироглиф. Дивное греческое название, что пришлось бы по вкусу сивилле: огненная метка. Он мне об этом писал. Увы, я сейчас не располагаю достаточными средствами, чтобы войти в долю. И что же, он всецело поглощен этим проектом?

— Да. И, как обычно, не знает никакого удержу. Не говоря уже о том, что совершенно забросил лечебницу.

— А вы как поживаете, миссис Аллен? Давненько мы с вами не виделись.

Элизе вспомнилось особое сдержанное обаяние Джона Тейлора, столь приличествовавшее человеку образованному, неженатому и не чуждому литературных занятий. При взгляде на него в голову приходили тщательно убранные комнаты с элегантной мебелью. Ей представилось, как в их безмолвной чистоте она только и слышала бы, что скрип пера да нетерпеливый тихий звук разрезаемых страниц.

— С тех пор как вы привезли Джона.

— Нет-нет, дорогая, вы ошибаетесь. Тогда я видел только вашего мужа. И сына. Верно ведь? А с вами мы встречались, когда я издавал книгу вашего мужа. Немало лет прошло, а?

Элиза улыбнулась. Джон Тейлор окинул взглядом ее лицо, чуть постаревшее, но красивое в ослепительно ярком осеннем свете.

— Так как же у вас дела? — вновь поинтересовался он.

— Неплохо. Я бы даже сказала, что мы процветаем. Все здоровы. Дора только что вышла замуж и живет неподалеку от нас. Ну, и про резьбу по дереву не забывайте.

— Надеюсь, ваш муж за всеми этими делами не забыл, что у него есть жена?

— Ну что вы. Я бы сказала, нам обоим достает дел. Послушайте, вы должны непременно его повидать.

— Да, действительно. Я должен покрыть расходы на содержание Джона.

— А еще у нас тут гости, с которыми вы, возможно, будете не прочь познакомиться. А может, вам даже доводилось встречаться. Вы знаете поэта Альфреда Теннисона?

— Простите, я совсем перестал интересоваться поэзией. Но его имя мне знакомо. Он тоже здесь? Боюсь, критики его не пожалели. Не слишком-то они подобрели с тех пор, как нападали на моего бедного Китса. Надеюсь, они его не сломили. Он тоже лечится у вашего мужа?

— Нет-нет. Лечится его брат, меланхолик. Знаете, к ним приехали родные, целая толпа, и сейчас они как раз у нас. Конечно, Альфред тоже подвержен приступам дурного настроения. Но он не болен.

Они свернули с тропы и направились к Фэйрмид-Хауз. Гости как раз пили чай. Мэтью Аллен стоял с чашкой в руке, разглагольствуя перед сидевшей вокруг него молодежью, состоявшей преимущественно из дам, две из которых разглядывали кусочки древесины. Заметив издателя, он внезапно

умолк, но, поприветствовав вновь вошедшего взглядом, окончил фразу.

— Мистер Тейлор, рад вас видеть! Садитесь же. Фултон!

Фултон послушно поднялся и предложил гостю свой стул.

— О нет, благодарю. Простите, я не могу остаться. А вы, стало быть, Фултон. Вы подросли.

— Спасибо, — сказал Фултон и опустил глаза, застеснявшись столь глупого ответа.

— Позвольте мне вас познакомить. Джон Тейлор, это — Теннисоны.

— Целая куча Теннисонов, — пробормотал один из них.

— Возможно, вы слыхали про Альфреда Теннисона. Альфред, это Джон Тейлор, который некогда издавал Китса, Хэзлитта, Лэма, беднягу мистера Клэра и, должен признать, один из моих собственных трудов, посвященный классификации видов безумия.

— Я о вас наслышан, — заверил Тейлор Теннисона, который поднялся, чтобы пожать ему руку. — Вас называли кокни, насколько я помню, и сравнивали с Китсом[1].

— Какой же я кокни, я ведь родом из Линкольншира. Но меня обвиняли в той же примерещившейся им чувственности и лености. Слишком много чести для меня, знаете ли, пусть они сами того и не желали. И, конечно же, особая честь для меня — пожать руку другу Китса.

— Знакомство с ним было само по себе честью.

Альфред Теннисон был высок и смугл, длинноног и большерук, а его бронзовое лицо украшал широкий рот. Тейлор, сравнивая его со своим покойным другом, видел в нем иное томление, своего рода усталую праздность, знаменующую его присутствие в этом мире. Все это было так не похоже на Китса, но виделось и кое-что общее — возможно, вот это исполненное смысла молчание. Вместе с тем Теннисону недоставало стремительности Китса, его разящего гнева.

— Вы издаетесь у Мюррея, верно? Очень достойный издательский дом. Надеюсь, опубликуете что-нибудь еще. Не позволяйте журналам вас расхолаживать. Не снисходите до их варварских развлечений, до этой пустой болтовни по кофейням.

Теннисону доводилось слышать голос старшего поколения из этаких "кофеен". И тем более важна была для него поддержка старшего товарища, знававшего истинных поэтов.

1. Про Джона Китса (1795—1821), лондонца и выходца "из низов" (отец его содержал конюшню), критики писали, что он не лишен таланта, но загублен "Школой кокни" ("Школа кокни в поэзии" — название разгромной статьи Дж. Кроукера в "Квартальном обозрении" 1817 г.).

— Благодарю вас. Не думаю, что им под силу меня остановить. Больше я попросту ни на что не гожусь. А вы сейчас издаете стихи?

— Увы, нет. Они совсем перестали окупаться. Как вы знаете, нынешнему читателю подавай что-нибудь полезное или, на худой конец, прозу. Но поэзия выживет. Цивилизация без нее невозможна. — Внимание Тейлора невольно привлек модный серебряный чайник со сверкающими боками. Слова Элизы Аллен обрели плоть: они и правда процветают. — Она не будет окупаться, но выживет. По крайней мере, хотелось бы верить. Да, кстати, что касается денежных вопросов. Доктор Аллен, вы не могли бы уделить мне немного времени?

— Разумеется.

— Рад был с вами познакомиться. — Джон Тейлор поклонился собравшимся.

Теннисон проводил его глазами. Маленький человечек, не то чтобы слишком умный, с усталым добрым лицом. Но — друг бессмертных, один из немногих выживших среди тех, кто принес свою жизнь на алтарь поэзии.

После того как надежды ее развеялись как дым, а на глаза то и дело наворачивались слезы, Ханна вознамерилась невзлюбить семейство Теннисонов — если бы отец так не настаивал, она бы вообще к ним не спустилась, — но ничего у нее не вышло. Леди были умны и неординарны, в высшей степени решительны и хороши собой, особенно красавица старшая сестра Матильда, которая могла бы дать фору самой Аннабелле. Восхищение Ханны лишь усилилось, когда она увидела, что Матильда ходит медленно, чуть припадая на одну ногу. А когда они заводили речь о своем доме, он представал тихой пристанью, о какой она мечтала для себя: множество книг и животных, игры собственного изобретения, никаких тебе сумасшедших и никакого производства прямо рядом с домом. Абигайль тоже понравилось то, что донеслось до ее ушей: до чего же здорово, когда у тебя есть ручная обезьянка или огромная собака, которая возит маму в коляске. Она тотчас же затребовала у отца обезьянку, но тот отказал со смехом, словно бы счел саму эту идею нелепицей, не стоящей того, чтобы о ней задуматься. А ведь их тут вполне достаточно, чтобы позаботиться об обезьянке. Вот было б весело! Ханна старалась не смотреть на Теннисона. Поначалу она обвиняла его в равнодушии, потом — в том, что он не устоял перед чарами Аннабеллы, которая не оставляла равнодушными даже самых тупоумных. Но изгнать своего чувства полностью она, конечно же, не могла. Презрение болезненно переплелось в ней со страстным томлением. Она разглядывала скатерть. И прихлебывала чай.

Мэтью Аллен вернулся к гостям, надежно заперев деньги Тейлора. Ему нравилось держать в руках деньги, нравилось иметь их в достатке, но еще больше в самой глубине души он любил рисковать. В том, чтобы поставить всё на кон, была своя затаенная сила, заряжавшая энергией все тело, а если случалось выиграть, победа переживалась куда острее, чем можно было себе вообразить. Из-за подобных помыслов он и оказался по молодости лет за решеткой, но теперь — теперь у него были все эти здания, больные, безупречная репутация, и уже начинали поступать заказы на машинную резьбу. Он поднял новый чайник высоко над чашкой, и чай полился длинной, звонкой дугой. К вечеру в его проект вложились уже все Теннисоны, за исключением Септимуса, чьи нервы решено было поберечь, оставив его в стороне от этой финансовой авантюры.

Джон почувствовал, как на плечо ему легла чья-то теплая рука. Это прикосновение, эта тяжесть были ему знакомы. "Пэтти!" — окликнул он, оборачиваясь.

— Мне подумалось, тебе тут одиноко, — сказала она. — Темно-то у тебя как.

— Да, у меня темно. Мне одиноко. Тут только и есть, что это крохотное окошко. Звезды, облака, и ни тебе птицы, ни живой твари. Как в аду. Мне одиноко в аду, Пэтти. Ночью, в темноте, двери открываются. И начинается.

— Тише, тише. Не хочешь узнать, как там твои дети?

Пэтти присела рядом с ним на жесткую, дурно пахнущую кушетку и склонила его голову к себе на плечо — до чего же утешительно действовала на него ее сила. Тяжелыми холодными пальцами Пэтти придерживала его лоб. Он обвил рукой ее мягкий живот и ухватился за платье с другой стороны.

— Дети в порядке, — произнес он. — Я знаю. Они свободны. Джон плотничает на железной дороге. Чарльз пошел в клерки к тому адвокату. Анна Мария скоро выходит замуж. Я хочу домой.

— Чего ж ты хочешь домой? Не сказала бы, что мы там свободны.

— Вам не затыкают рот. И не держат взаперти.

Она покачала головой.

— Земля огорожена. Никуда-то не пойдешь. Ни тебе шага влево, ни шага вправо. Общая земля нынче в собственности. Бедняков гонят, и цыган.

— Богач — тиран, а мы все его узники. Беднота никому не нужна. Ну, что мы можем? Бунтовать, жечь стога. И ничего не будет. Выселят. Весь континент — тюрьма.

— Здесь ты в безопасности.

— А вот и нет. По ночам...

— Тише. К тебе кто-то пришел.

К постели приблизилась Мария.

— Ты! Но как ты вошла? Сквозь стены?

— Какие стены?

Джон рассмеялся.

— Вот невинная душа! Даже и не заметила.

Пэтти не отняла руки, а Мария, прелестное дитя, ростом не выше его сидящего, подошла к нему и запечатлела поцелуй, золотой пушинкой опустившийся прямо ему в душу.

— Сядь рядом со мной, — сказал он. — Сядь рядом со мной. Ну, вот мы и вместе.

Джон сидел меж двух женщин, взяв каждую за руку и соединив их руки у себя на коленях.

— Мы вместе, — повторил он.

Тепло их душ перетекало из одной в другую, они дарили друг другу зажигательные улыбки, то и дело переглядывались, и вдруг на правую руку Джона упала теплая капля. Капля крови, что тотчас же растеклась по тончайшим складочкам его кожи. Подняв взор, он увидел маленькую ранку под левым глазом Марии.

— Ох, — произнес он.

— Зачем ты так со мной? — спросила она. — Я ведь всегда была с тобой обходительна.

— Но я же был ребенком, — возразил он. — И я не нарочно. Ты казалась такой прекрасной, когда гуляла в саду. Мне захотелось к тебе прикоснуться. Но ты была так далеко. Потому-то я и бросил в тебя орех.

— Взгляни. Все прошло. — Ранка исчезла прямо на его глазах, и кожа вновь стала гладкой, словно водная поверхность.

— Красота!

Мария ответила ему долгой улыбкой. И не отвела взгляда. Она излучала любовь.

— А ты скучаешь по своей сестре? — спросила она.

Джон почувствовал, как его лицо морщится.

— Да, — сказал он. — Но меня никто никогда не спрашивал. — Он вновь ощутил себя незащищенным с одного бока, кожу до боли холодил зимний ветер, щипал мороз.

— О ней просто не знали. Она лишь мелькнула в этом мире. Да и ты ее не знал.

— Она была младенцем, моим близнецом. Куда ее дели?

Ответ нашелся у Пэтти:

— В гроб одного богача. Она умерла до крещения. И ей нужно было хотя бы тайком проскользнуть внутрь церковной ограды.

— Стало быть, она спасена. Но ведь она могла бы быть здесь, с нами. И мы с ней любили бы друг друга.

— Вот ты так говоришь, — откликнулась Пэтти, — а сам в детстве любил побыть один, уйти от всех да помечтать.

— Это потому что ее не было!

— Вот она, — сказала Мария, вложив ему в руки сверток со спящим младенцем. Закрытые глаза с лиловатыми веками, сжатые пальчики, курносый сопящий носик, мягкий завиток волос. Теплая головка малышки легла в его левую ладонь.

— Это она, — проговорил он. — Моя сестра.

Он обессиленно, все еще не веря, взглянул на Марию и Пэтти. А когда вновь опустил глаза, увидел у себя в руках гнездо. И не смог понять, чье, хотя научился их различать, собирая птичьи яйца. Гнездо было легкое, упругое, из тесно переплетенных прутьев. Яйца он тоже не узнал. Их было четыре.

— Это мы, — сказала Пэтти. — Так-то лучше.

Яйца были белые, словно английский фарфор. Они светились, едва касаясь друг друга, такие нежные, такие настоящие.

— Это мы, — повторил Джон. Он поднял гнездо, и яйца одно за другим закрутились, задвигались вразнобой, словно в них были птенцы. — Это мы.

— Вот в чем загвоздка.

— Рама?

Он кивнул в свойственной ему невыносимо медлительной манере и замолк, так что Мэтью Аллену пришлось уточнить:

— И что же с ней не так?

— Она же из дерева, пусть даже в железной оправе. А дерево — оно мягкое, слишком мягкое. И плохо держит. А когда вот тут болтается...

Мэтью вновь взглянул на то, что получилось. Резьба была небрежна, вся в неровных царапинах и зазубренных надпилах. Чистый, глубокий рисунок погиб. Мэтью взглянул на него в ярости и ощутил, как его наполняет сила, готовая одолеть любые преграды и выполнить резьбу в совершенстве, как клокочет и рвется наружу его воля.

— И все они такие. — Он моргнул, вновь столь же медлительно.

— Ну и?

— В ней-то и загвоздка. Все они будут выходить одинаково. Я, конечно, мог бы доделать их вручную, привести в порядок.

— Нет, нет и еще раз нет. Так мы работать не будем. Весь смысл, вся соль моего проекта — механическая резьба!

Самое страшное в затеянной им рискованной игре было то, что хотя этот риск и подпитывал Мэтью Аллена энергией, нес его в будущее, как на крыльях, в терпком опьянении, доставлявшем истинное наслаждение, полнил каждое мгновение его жизни ощущением собственной силы и неограниченных возможностей, но, если его постигнет неудача, да, стоит ему потерпеть неудачу — весь этот стремительный поток энергии рухнет, словно телега в придорожную канаву, и не будет ничего, лишь унижение, долги, тюрьма, и все, чему он бросил вызов, вновь его настигнет. Вот он какой, этот риск. Мэтью внезапно швырнул доску в дальний угол комнаты с такой силой, что работник отпрянул и, словно пугливая старуха, прижал руку к затрепетавшему сердцу.

— Черт побери! — Он успокоился, несколько раз огладив обеими ладонями бороду. — В таком случае эту часть механизма следует изготовить из стали. Вот и все дела. Заказы придется задержать. Но другого выхода нет. Ну и ладно. Сейчас же отошлю ее мастеру.

— А мне как быть? Я могу доделать несколько штук вручную.

— Нет, нет. Слышали, что я сказал? Можете отправляться домой к жене.

Работник лукаво улыбнулся:

— У меня нет жены.

— Тогда переоденьтесь и пойдите поищите.

— О, далеко ходить не надо. Скажите, а мне заплатят?

— Да, — прошипел Аллен. — А теперь ступайте. Полагаю, у нас тут все застопорилось по меньшей мере недели на две. Я дам вам знать, когда вы понадобитесь.

Возвращаясь в Хай-Бич из Вудфорда, Мэтью Аллен сочинял в уме письмо заказчикам, где до того убедительно приносил им свои извинения и до того изысканно уверял в исторической значимости затеянного им предприятия (не забыв упомянуть непреложную истину, что революции в один день не делаются), что к тому времени, когда его нагнал Томас Ронсли верхом на лошади, настроение у него уже снова было чудесное. Мэтью поприветствовал молодого человека как предприниматель предпринимателя. И даже намекнул на свои сегодняшние затруднения, а Ронсли, которому были знакомы подобные неурядицы, с готовностью ему посочувствовал. В ответ на вопрос, куда же он скачет, Ронсли открылся, что на самом деле направляется к дому Алленов, к которым решил заглянуть по-дружески, без предупреждения. Ему захотелось угостить семейство доктора яблоками из своего сада. Смеет ли он надеяться, что застанет дома супругу доктора и его дочь?

Выглянув в окно, Ханна увидела Чарльза Сеймура, который прогуливался за оградой парка, размахивая тростью. Скука, бессилие без признаков безумия, непреходящая тихая ярость... Ханне показалось, что он вполне годится ей в товарищи, ведь его жизнь столь же пуста и убога, как и ее собственная. Во всяком случае, он со всей очевидностью нуждался в обществе. Она спустилась вниз и пошла ему навстречу. Какая теперь разница: она может встречаться, с кем ей заблагорассудится, а кроме того, ей ужасно скучно.

Когда она к нему приблизилась, он поднял руку, чтобы снять шляпу, и обнаружил, что шляпы-то на нем и нет. Тогда он улыбнулся и жестом изобразил свое намерение. Ханна на миг задержала взгляд на его туфлях и улыбнулась в ответ.

— Добрый день! — сказал он.

— Добрый день.

Она вновь взглянула на Чарльза Сеймура. Его гладкое безбородое лицо, увенчанное копной светлых вьющихся волос, раскраснелось на ветру.

— А сегодня нежарко, — произнес он.

— И в самом деле. Ветер с севера. Отец говорит, у больных в такую погоду бывает обострение.

— Но у вас ведь теплая шаль?

— Теплая.

До чего же приятно, когда кто-то беспокоится, чтобы тебе было тепло. Этот участливый и вместе с тем покровительственный тон к лицу истинному джентльмену и аристократу. Впрочем, он ведь и в самом деле аристократ. Став его женой, она сразу бы оказалась в высших слоях общества и могла быть уверена в своем будущем. Нелепая мысль, раньше ей такое и в голову не могло прийти. А еще в нем чувствуется пылкая натура. Ханна знала, что он здоров, что его поместили сюда против его воли, по настоянию семьи, чтобы он избавился от нежелательной влюбленности. А стало быть, им обоим пришлось отказаться от своих возлюбленных.

— Я сегодня не в духе, — сказал он, вновь принимаясь размахивать тростью. В голосе его звучала такая искренность и прямота, что, казалось, он готов раскрыть ей все свои секреты. — Вынужден признать. Перво-наперво, книга, которую я читал, закончилась. Впрочем, раз уж на то пошло, она была не слишком-то интересная.

— У моего отца есть библиотека. Он наверняка разрешит вам ею пользоваться. И у меня тоже довольно книг.

— Что ж, очень мило с вашей стороны. Ваш отец держит библиотеку для всех нас, однако книги там по большей части религиозного свойства. — Он постучал тростью по ботин-

кам, словно бы готовясь сыграть в крикет. — Если уж совсем честно, я не слишком большой любитель чтения. Для меня это скорее способ отвлечься.

— А давайте погуляем... — Он взглянул на нее, и она тотчас добавила, чтобы не слишком его напугать: — Как-нибудь.

— Надеюсь, вы бы не отправились на прогулку с первым попавшимся умалишенным? Впрочем, знаете ли, я-то как раз не сумасшедший.

— Да, знаю.

— Гм. Вам, наверное, скучно, как и мне?

— Я...

— Добрый день. Какая приятная встреча! — Голос отца. Ее заметили. А с отцом этот молодой человек, Ронсли.

Чарльз обратился к обоим сразу.

— Добрый день. Я Чарльз Сеймур, — сказал он, протягивая руку Ронсли.

— Томас Ронсли.

Мэтью Аллен улыбнулся всем троим: своей собственной дочери, богатому отпрыску феодального рода, слишком недалекому, для того чтобы вложить деньги в пироглиф, и здоровающемуся с ним энергичному промышленнику. Ронсли поклонился Ханне. Она почувствовала, что ему явно хотелось встретиться с ней взглядом. Взгляд был ищущий, вопросительный, исполненный смысла. Она не знала, как к этому отнестись, и ей стало любопытно, заметили ли остальные, но по их виду было не понять. Чарльз Сеймур вернулся к прерванному разговору.

— Ваша дочь только что предложила мне... — Сердце ее заколотилось, — ... воспользоваться с вашего любезного соизволения вашей библиотекой. Это очень бы меня развлекло.

Мэтью Аллену его слова показались весьма симптоматичными.

— Ну конечно, развлекло бы, — ответил он. — И заодно обогатило бы ваши познания. Библиотека к вашим услугам.

То самое бремя тьмы.

Вот он, исток. Из него истекает то время. Истекает и он сам, юнец, да что там, дитя, каким он был, когда проснулся в этой, именно в этой тьме.

И он отправился обратно, в то время — деревенский паренек под звездами, грудь распирает от восторга. Приди, весна, о нежность неземная[1]. Он споткнулся, попав башмаком в ко-

1. Вступление к поэме Джеймса Томсона (1700–1748) "Времена года" (1730).

лею. Вроде бы болела голова, но эта боль не мучила. От тягостного ожидания кости черепа, различимые теперь под тонкой кожей, обрели легкость. Хотелось кричать и петь, но следовало таиться.

Во тьме конюшни позвякивали недоуздки и шевелились лошади. Джон тихо с ними заговорил. Обходя стойла, он нежно вел рукой по лошадиным бокам, а потом мягко повернул своих подопечных к себе мордами, чтобы накинуть и закрепить поводья. В это время года лошадей следует выводить пораньше, пусть вдоволь пощиплют травы, пока не начали приставать и лезть в глаза мухи.

Он вывел их из конюшни. Лошади тихо шли за ним, то и дело оступаясь. Они натянули было поводья, но потом послушно пошли за ним на новое поле, где еще один паренек пас двух лошадей, зарабатывая свой пенни, по полупенсовику за каждую. Отстегнув поводья, Джон окликнул второго паренька, невидимого во тьме.

— Я тут! — отозвался тот.

Подбежав, Джон протянул Тому поводья.

— И еще кое-что, а?

Джон заранее увязал обещанное в носовой платок, отдельно от всего остального.

— Пенни за то, что за ними последишь, и еще пенни за то, что никому не расскажешь.

— А ты куда?

— Вернусь, прежде чем их надо будет вести обратно.

— Но куда?

— В Стамфорд. Неважно.

— В лавку, что ли? Ленты для девушки покупать, что ли?

Услышав, что лошади уже хрустят травой, Джон поспешил в город. Приди, весна, о нежность неземная. Когда родится музыка, из тучи, что дождь нам дарит, орошая куст тенистых роз, спустись в долину к нам. Вот куда он шел. Непонятно почему, но стоило ему прочесть эти слова в изорванной книжице "Времена года" Томсона, куда ему разрешил заглянуть проезжий ткач, как сердце в груди запрыгало от радости. Спустись в долину к нам. Ткач еще посмеялся над тем, как у него перехватило дыхание, как он разволновался. Ибо ткач был из методистов и ценил гимны Уэсли[1] куда как выше пасторальных ямбов Томсона. В его экземпляре была только половина "Осени", а "Зимы" и вовсе не было. О, как Джон мечтал обзавестись собственным экземпляром! Он

1. Джон Уэсли (1703—1791) — основатель методистской церкви.

без устали просил денег у отца, откладывал каждый пенни и, наконец, накопил достаточно.

В книжной лавке никого не было, ставни были закрыты. Джон сидел, пристально глядя на нее, на пустынной центральной площади Стамфорда и слушал, как где-то лает собака. Слонялся без дела, словно вор, засунув руки в карманы, а слова приплясывали на его обнаженных нервах. Приди, Весна. Восторженный и сбитый с толку, совсем еще ребенок, он был одержим несколькими словами и сам не понимал почему. Так он сидел и ждал, и чуть было не сбежал, когда хозяин, наконец, появился и отпер лавку.

Он понаблюдал, как хозяин зажигает лампы, как свет тихо расцветает в окнах, и лишь потом постучал в дверь.

— Да-да? Я еще не открылся.

— Простите. Ох, простите.

— В чем дело, мальчик?

— Мне, видите ли, надо обратно. Домой. Не могли бы вы продать мне "Времена года" Томсона? Деньги я принес, здесь без сдачи.

— Ага. Вот оно что. — Продавец приглядывался к нему, будто бы изыскивая повод для отказа, но не нашел. — Ну, что же, что же. Стихи, верно? Что ж, давай деньги.

— Да, конечно, — Джон выгреб из кармана монеты и высыпал их в руку книгопродавца.

Хозяин лавки, который несколько лет спустя издал стихи Джона, неплохо на них заработав, стоял и медленно пересчитывал монеты, в то время как Джон пританцовывал, переминаясь с ноги на ногу, словно бы ему срочно понадобилось справить малую нужду. "Все верно", — сказал книгопродавец. Открыв кассу, он разложил монеты по отделениям и только потом снял с полки книгу и протянул Джону.

— Спасибо, — сказал Джон. — Всего вам доброго. Спасибо, — и поспешил прочь под звон дверного колокольчика.

Пока он шел обратно в Хелпстон с книгой в руках, не смея ее открыть у всех на виду, на небе начал разгораться восход — размашистый, ослепительный, резкий.

А он лежал и смотрел в свое окошко на тот же крепнущий свет.

Жизнь — лабиринт без выхода, всюду ходил, везде побывал. Он услышал, как отпирают дверь, и увидел, как в нее просовывают деревянную тарелку с завтраком.

Она лежала у себя в комнате на полу и пыталась выдюжить. Ей было слышно их всех, слышно всех этих чертей на новом месте, как они кричат, как дебоширят в своих хозяевах, но

поделать она ничего не могла, ведь ее заперли в этой гадкой комнате. Впрочем, так или иначе, она уже выбилась из сил, иссякла, от нее осталась одна шелуха. Из ее пальцев больше не исходит свет.

Она лежала в разверстой могиле далеко внизу, и здешние резкие голоса клубились над ней, словно клочья тумана. Лежала тихо, как только могла. А сердце продолжало отбивать ненавистный медленный ритм у нее в груди. Теплые слезы, не приносившие облегчения, заливались в уши, иссякали и вновь начинали литься. Едва заметно она шевелила руками, смыкала пальцы и слышала, как хрустят суставы. А вот короткая судорога рук, похожая на последнюю судорогу убитого. Ей казалось, что это ее — убили. Казалось, все кончено. Смерть покрыла ее толстым слоем, словно глина. И она лежала на дне этого колодца, испуская зловоние смерти, на мертвом дереве, среди мертвых стен, но не умирала. Все было кончено, но не кончалось. Господь не выказывал ей Своего Присутствия. Трудно даже вообразить, что все могло быть по-другому. Будь у нее силы, эта мысль заставила бы ее рассмеяться. Ничего больше не было. Лишь пустой свет пересекал комнату и к вечеру вновь умирал, а она вновь его переживала, лежа в темноте. Безмолвный Страж глядел в потолок и ничего не говорил. Ей хотелось покончить с собой, лишь бы хватило сил, лишь бы была дарована свобода взять свой сгнивший разум и убить, сплавить свою тьму с мировой, дождаться музыки, стенаний, струящихся кровавых цветов Судного дня. Слезы с глухим стуком падали на пол и шуршали в ушах.

Полли вела себя просто ужасно. Цветы есть нельзя, будет болеть печенка. А Полли обгрызла все цветы, вышитые на подушках, так что пришлось ее отругать и запереть в комнате, пока не научится вести себя как истинная леди, и на этом игра закончилась. Полли пристыженно сидела на полке, вытянув негнущиеся ноги, и глядела прямо перед собой. Абигайль ушла, оставив ее думать о своем поведении.

Она бежала, грохоча ботинками по половицам. Мать приветствовала ее возгласом:

— Что это за малютка пони к нам прискакала?

— Это я! — ответила Абигайль и с разбегу повисла на материных ногах.

Однако ей тут же было сказано:

— Что ж, постарайся не шуметь. И давай-ка поднимайся, детка.

Абигайль почувствовала, как мать опустила ей руку на голову, крепко обхватив макушку пальцами, — и вот уже Элиза

с легкостью поставила ее обратно на ноги. Лишенная ощущения единства с матерью девочка вновь почувствовала себя одиноко и принялась сверлить Элизу взглядом.

— Детка, я занята. — Вот-вот должен был появиться новый больной, принять которого предстояло ей, поскольку Мэтью с утра до ночи возился со своим станком. И сейчас она не могла думать ни о чем другом. Разыскивая в кабинете мужа книгу для записи вновь поступающих больных, Элиза наткнулась на листок с расчетами. И если она поняла верно, он вложил в свой новый проект все, что у них было. И теперь они висят над пропастью, куда может рухнуть и все их заведение. Хорошо, что ее муж — не пустое место. Однако она заметила, что ей приходится вновь и вновь себе об этом напоминать.

Абигайль вытянула вверх руку. Элиза ухватила ее, покачала из стороны в сторону и отпустила.

— А теперь пойди поиграй, — сказала она и ушла.

Абигайль глядела вслед матери с болезненной смесью злости и тоски. Она, пыхтя, стояла на месте, пока мать не скрылась из виду, а потом убежала, ужасно громыхая ботинками.

Одним из главных недостатков Альфреда Теннисона, решила для себя Ханна, была неразговорчивость. А ведь это немаловажно. Именно из-за этого ничего и не получилось. Умение поддержать разговор было единственным оружием Ханны. Именно посредством разговора она могла привлечь, обольстить, влюбить в себя, ну, скажем так, потенциальных поклонников, и с Теннисоном она, конечно же, предприняла такую попытку, однако он оказался бестолков, неотзывчив, бессловесен, как скотина. Лишь однажды, когда он проделал ту странную штуку со своим лицом, он вел себя с ней по-дружески. Во всех прочих случаях, сколь бы она ни блистала, на ее долю не выпадало ничего, кроме слабых намеков на симпатию. Ее внимание было подобно лучу света, что пытался пробиться сквозь мутную воду и высвечивал темные глубины, но больше она ничего не видела — ничего такого, что могло бы дать ей надежду. А кроме того, хоть и не очень-то хорошо об этом вспоминать, он явно не из разряда чистюль, и от него пахнет. Конечно же, в стихах поэты восхитительны и великолепны; но в жизни все не так. И где же справедливость? Почему на них обращают больше внимания, чем на кого бы то ни было?

А вот Чарльз Сеймур охотно поддерживает разговор. Он общителен и открыт, он истинный джентльмен, и не исключено, что он одинок, а его разбитое сердце понемногу заживает. Будучи человеком безусловно умным, он вместе с тем

обходителен и не чурается других. И уж, во всяком случае, не уходит в себя, сочиняя стишки для журналов, где бы их читали и поругивали.

Ханна сидела у себя в комнате, набрасывая список возможных тем для разговора, как вдруг к ней вбежала Абигайль. В списке значились:

Охота: восторг погони. Нравится ли ему? Королева Елизавета, охотящаяся в лесах.

Молодая королева и лорд Мельбурн. Добродетель и опыт. Знаком ли он с ней?

Лучшее общество — это общество единомышленников, вне зависимости от их происхождения.

Индия.

Снижение интереса к поэзии в обществе.

Когда в комнату ворвалась Абигайль, Ханна захлопнула дневник и распахнула руки навстречу сестре. Та проскользнула между ними и врезалась в Ханнины колени.

— Ух! — выдохнула Абигайль и застонала, заерзала, вцепилась себе в волосы, как обычно вели себя на ее глазах больные.

— Больше так не делай! — строго сказала Ханна, ухватив сестру за запястья. — Скажи-ка мне лучше, сестричка, о чем бы тебе хотелось поговорить?

— О фермах, — ответила Абигайль.

— Что, правда? О фермах?

Абигайль кивнула.

— О фермах. Или о подарках.

— Ну, иди сюда, — сказала Ханна, подхватывая Абигайль под мышки и усаживая к себе на колени.

Стало хуже, стало даже хуже, чем когда никого и ничего не было. Безмолвный Страж глядел в отчаянии, но деваться было некуда.

Похоже, ее муж вернулся, или кто-то вроде него, но еще сильнее и напористее. Он стоял и глазел, как она справляет малую нужду, а потом брался за свое.

Иногда их было двое.

День за днем в окне был свет, а потом тьма. Его привела тьма. Мария молилась. Молилась всякий раз, когда приходила в себя, все ее существо обращалось в крик, которого никто не слышал, в крик, что не приносил облегчения. Они овладевали ею прямо в этой комнате. По ночам. Не каждую ночь, нет, зато всякий раз их приход был непредсказуем.

Ханна наблюдала за ним уже давно и постепенно изучила все его привычки. Для наблюдения она избрала узкую колышущуюся щель в задернутых шторах своей спальни. Привычки отличались завидной регулярностью, и сегодня Ханна задумала попасться ему навстречу. Она поджидала его в заранее выбранном месте. День стоял чудесный. Ее волосы будут дивно смотреться в осеннем солнечном свете, что лился на ветви деревьев и мох, заполняя нежным золотом просветы между стволами. Рядом сверкал ягодами шумливый остролист. Издалека доносился сладковатый запах древесного угля: должно быть, угольщики раскладывали уголь в мешки. Вдоль тропы на длинных и извитых колючих ветках ежевики тут и там виднелись ягоды. Ханна сорвала одну ежевичину и положила в рот. Ягода растворилась, оставив после себя острый, слабый, тревожный привкус.

А вот и он идет навстречу по тропе со шляпой в руке — в точности как она замыслила. Только зачем она здесь? Он наверняка заметил, что она стоит на месте и ничего не делает. Как она могла об этом не подумать? Решение пришло сразу. Она принялась собирать ягоды, то и дело давя их беспокойными, неловкими пальцами. Когда он появился, она глядела прямо на него, и он наверняка ее заметил. Она же теперь отвернулась к ежевичнику, как будто никого не видела. Интересно, что он обо всем этом подумает? К тому же ей совершенно не во что собирать ягоды, кроме как в собственную руку. И Ханна стала складывать помятые, истекающие соком ежевичины в левую ладонь.

— Добрый день! — окликнул он ее, помахав шляпой.

Она обернулась, сделав вид, что не знала о его приближении, но переиграла, и получилось неубедительно.

— Добрый день, мистер Сеймур, — ответила она и присела в неглубоком реверансе.

— Собираете ягоды?

— Да, вышла пройтись, увидела их и подумала...

— Надеюсь, я вам не помешал, — сказал он, взял у нее с ладони ягоду и съел. Она ощутила прикосновение его пальцев. — Но вам же не в чем будет их нести.

— Увы. То есть я хотела сказать, что соберу немножко.

— Вот, возьмите! — Он протянул ей свою шляпу.

— Но на ней же будут пятна.

— Внутри. И, в конце концов, что такое шляпа?

Ханну этот философский вопрос неожиданно поставил в тупик, и она почувствовала, как разум ее заполняет некая абстрактная шляпа.

— Хотя постойте. Вот, смотрите! — сказал он, доставая из кармана носовой платок и расправляя его внутри шляпы.

— О, благодарю вас! — и она высыпала в шляпу горсть ягод.

— Люблю эту дорожку, — сказал он.

— Правда?

— Гм. Это одна из самых заманчивых троп, согласны? Тут, понимаете ли, так тоскливо. А потом, мне нравится сбегать от Альфреда.

При упоминании этого имени она заметно смутилась.

— От кого?

— Это мой слуга, мой камердинер. Надоело, что он весь день маячит у меня за спиной. Осторожней. Посторонитесь-ка.

Он вытянул руки, словно отгоняя гусей, и сдвинул ее к краю тропы. А Ханна и не слышала, что к ним скачет пони. Между тем пони промчался мимо: коренастый, пегий, мохноногий. А прямо у него на спине, безо всякого седла, восседал мальчишка, обутый в расхлябанные башмаки без шнурков. Он поднес руку к шляпе, но Чарльз Сеймур оставил его приветствие без ответа. Через несколько ярдов пони с ездоком свернули с тропы и замелькали между деревьев, то исчезая, то вновь появляясь.

— Цыган, — сказал Чарльз Сеймур. Его мягкие светлые волосы красиво блестели на солнце. — Хорошо, что я тут оказался.

— А вы охотитесь? — спросила Ханна.

— Да, — ответил он. — А почему вы спрашиваете?

— Ну, я просто подумала, что это, должно быть, очень захватывающее занятие, и вам его здесь не хватает.

— Откровенно говоря, это не главное, чего мне здесь не хватает.

Сердце у нее заколотилось. Будучи не в силах ни придумать, что бы еще сказать, ни мысленно представить себе свой список, чтобы сменить тему и уйти от этого разговора, она выпалила:

— Дела сердечные?

Он поднял брови.

— Что, отец вам все рассказывает?

— Нет-нет, что вы. Даже и не думайте. Просто, видите ли, вы не первый молодой человек благородного происхождения, попавший сюда по этой причине. И к тому же вы не сумасшедший.

— Признаться, порой я об этом сожалею, — неопределенно ответил он.

— Не говорите так. — Она постепенно входила в роль бесстрашной собеседницы. И даже решилась дать ему важный совет: — Мне кажется, здесь следует быть решительным и мужественным, избавиться от снисходительности к самому себе. Насколько я могу судить по собственному опыту.

— По собственному опыту? — в его расширившихся глазах сквозило удивление.

Она ничего не ответила, лишь смешалась и покраснела.

— Простите, — произнес он. Склонив голову, он на мгновение задумался, после чего, сделав резкий вдох, вновь взглянул на нее. — Будете еще собирать?

— О, да. — Ханна, подавшись вперед, сорвала еще несколько ягод. — А вы здесь еще долго пробудете? — спросила она, стоя к нему спиной.

— Да, некоторое время меня тут продержат. Ее семья считает меня сумасшедшим, но на самом деле они опасаются, что я с ней сбегу.

— Понятно. И что, вы могли бы решиться на побег?

— О, да вы необыкновенная девушка. Беседовать с джентльменом наедине о таких вещах! Полагаю, вся ваша жизнь здесь необыкновенна. День напролет разговаривать с безумцами!

— Пожалуй, так. Но мне она вовсе не кажется необыкновенной. И к тому же пока мне нечасто доводилось разговаривать с безумцами. Если мои... обстоятельства не изменятся, в скором времени мне предстоит работать с матерью.

— Давайте надеяться, что нужды в этом не будет.

— Давайте.

— Однако вернемся к вашему вопросу... раз уж вы спросили, мне кажется, трудно строить дом с нуля. У нее ничего нет. Меня лишат наследства. Вы, должно быть, думаете, как все это гадко и прозаично. Да наверняка думаете. Но вместе с тем... добрый день!

— Простите?

— Добрый день!

Обернувшись, Ханна увидела еще одного всадника. К ним на холеной гнедой кобыле приближался Томас Ронсли. Он приподнял шляпу.

— Приветствую вас!

— И что, — пробормотала Ханна, — вы двое часто вот так встречаетесь?

— Даже не знаю, что сказать, — ответил Ронсли, изобразив на лице шутливое замешательство.

— А у вас цветы, — заметил Сеймур, решительной рукой опытного наездника похлопывая кобылу по шее.

— Правда ваша, — откликнулся Ронсли, разворачиваясь в седле, чтобы достать их из седельной сумки.

— Розы, — удивилась Ханна. — В это время года?

— Да. Это из оранжереи моего друга. Возьмите! — и он протянул цветы Ханне. Желтые розы с прохладным, свежим ароматом, обернутые в бумагу.

Ханна молча взяла цветы. Томас Ронсли заметил, что она расстроилась, и добавил примирительно:

— Мне пришло в голову, что вы могли бы отнести их своей матушке. Пусть, думаю, украсят какой-нибудь уголок в вашем доме. Что ж, не буду вас задерживать. До свидания!

Вернувшись домой, Ханна обнаружила записку: "Милая Ханна, розы были для вас. Надеюсь, вам будет не слишком неприятно об этом узнать. Взглянув на них, вспомните обо мне. С уважением, Томас Ронсли".

Лорда Байрона разбудили. С шумом отодвинули засов. Дверь распахнулась. Он вытер рот, сел и всласть почесался прямо через теплую, грязную одежду.

В коридоре плясали пятна света — это раскачивались лампы в руках у санитаров, отпиравших двери других комнат.

По правде говоря, Байрон не слишком-то жаловал эти ночные гулянья. Царившие вокруг шум и веселье лишь обостряли ощущение одиночества, его возвышенного и мучительного уединения. Но если его дверь была открыта, он любил выходить, и не только потому, что поступал так по своей собственной воле, — все равно ведь через некоторое время вернулся бы санитар и спустил бы его по лестнице к чертям собачьим. Нет, ему нравилось украдкой проскальзывать вниз, дабы глянуть, не отперта ли случайно парадная дверь. А если бы она оказалась отперта, уж тут-то он, наконец, ускользнул бы отсюда, сбежал бы прямо в ночь.

Люди неуклюже двигались мимо его двери к лестнице, шаркая ногами и испуская стоны. Он вышел и присоединился к идущим. Их голоса звучали тише, чем голоса оставшихся взаперти и рвавшихся наружу из своих обиталищ. Внизу у лестницы хлопали бутылочные пробки. Принесли скрипку в одеяле, развернули и всучили кому-то, кто умел играть. Лорд Байрон, сам неплохой скрипач, обиделся было, но вспомнил, что здесь свой талант следует держать в тайне, ведь ему куда больше нравится играть для цыган и для свободных людей.

Он бочком пробрался сквозь толпу к парадной двери. Заперто. Ощутив, как снаружи веет прохладой, он прижался к дереву. Из трещины в двери засквозило, и коснувшаяся глаза струйка воздуха заставила его моргнуть.

— А ну-ка, отойди отсюда, — кто-то грубо хлопнул его по спине. — Лучше пей, дружище! Давайте веселиться! Кому сегодня достались твои деньжата? — Он взял бутылку и сделал долгий глоток. Санитар дружелюбно потрепал его по шее. — Ну вот, другое дело! — И он отхлебнул еще.

— Фаты-друзья, — проговорил лорд Байрон.

— Что-что? — санитар повысил голос, перекрикивая вопли, визг и мольбы других пирующих.

— Фаты-друзья. Водились у меня такие в Лондоне. В дни торжества. Когда слава моя достигла зенита.

— И что?

— Отдаешь себя без остатка. Поешь им, поешь. Пишешь с душой нараспашку. А потом они отворачиваются, смеются над тобой, топчут твою душу сапогами, спеша навстречу новым увеселениям.

Санитар не ответил. Отвернувшись, он прокричал:

— А ну всыпь ему!

Байрон промокнул глаза и тоже обернулся посмотреть, что там за шум. Санитары растаскивали дерущихся, чтобы начать бой сначала. Растерянного, тяжело осевшего на пол рябого человека с окровавленным лицом вновь подняли на ноги. Один из санитаров шепнул ему что-то на ухо, и он вытер рукой маслянистую кровь и облизнул пальцы. Что бы ни сказал санитар, его слова явно возымели действие. Лицо безумца исполнилось горя и гнева, и он вновь бросился на противника. А скрипка пела, тянула свой тоненький одинокий напев среди ударов, свиста, сопения и визга. Двое мужчин любезничали друг с другом в тени: он видел их торчащие члены. Еще один резким вскриком привлек всеобщее внимание: у него начался припадок. Негнущиеся руки медленно завертелись прямо перед ним, глаза закатились, в горле заклокотало. Оказавшийся рядом санитар принялся вливать ему в глотку вино, не слишком справляясь с этой задачей.

Джон Байрон отвернулся. Так нельзя, он против подобных развлечений. Дравшиеся упали на землю, он услышал удар головы о доски пола, звонкий и резкий, словно каменотес ударил молотом о камень. Тотчас же раздался смех. Полнолуние, заметил он, отводя взгляд. Одно из маленьких высоких окошек было залито холодным белым светом. Знакомый врач говорил, что полная луна мучает безумцев. Они и в самом деле мучились. Джон передал бутылку дальше. И вино сегодня не живит. Он не почувствовал себя свободнее и даже не согрелся. Нет, он лишь погружался в свою печаль, все глубже и глубже.

В этакой суматохе вполне можно было ускользнуть, вернуться в комнату, отдохнуть, а то и посочинять. Он медленно отделился от ревущей толпы и тихонько поднялся по лестнице.

Миновав дверь, содрогавшуюся под ударами недовольного, оказавшегося в этот вечер под замком, и другую дверь, из-за которой раздавался слабый стон, он добрался до третьей, чуть приоткрытой, и сразу понял, что там дело неладно. Он не смог

бы ответить, почему так решил, но эти сдавленные голоса... в общем, понял, и все. Едва заметно, одними кончиками пальцев, он приотворил дверь чуть больше. Ноги на полу, один засовывает, другой стоит в сторонке, лицо первого в тени, а у нее над головой лампа. Почувствовав, что он подошел к двери, она медленно обратила к нему лицо. Мария! Нет, нет, не Мария. Ее широко распахнутые глаза были темны и тихи. Они чуть подрагивали в такт с пыхтением пристроившегося на ней мужчины, но взгляд был столь глубок, что Байрон ощутил, как проваливается туда, словно пол в комнате опустился и превратился в колодец, со дна которого взирала эта женщина. Она глядела на него из глубины себя самой, моля о помощи. Глядела и шевелила губами. Гость, иди... нет. Господи... и что-то еще. Господи... и что-то еще. А ведь она похожа на Марию, пусть самую малость, но похожа. Байрон почувствовал, как лицо его сморщилось, и расплакался.

Стокдейл заметил, что она куда-то смотрит, и обернулся.

— Снова ты, — сказал он.

— Нет, нет, нет, — ответил Байрон. — Я ничего. Просто иду к себе в комнату.

Стокдейл встал с нее и пошел на Джона, не озаботившись даже тем, чтобы прикрыть свой склизкий и раздутый уд. Женщина за его спиной, прикрыв срам одной рукой, перекрестилась другой. Человек, стоявший в тени, наступил ей на грудь коленом.

— Я просто иду к себе.

— А ты у нас помешанный? — спросил Стокдейл, натянув наконец штаны. — Что ты себе понимаешь?

— Понимаю, когда в воздухе пахнет серой. И когда люди забывают всякий стыд.

— Вот какой ты, стало быть, помешанный.

— Понимаю, когда вершатся преступления. Ибо я, лорд Байрон, всегда выступал против рабства и насилия.

— Ты ничего не видел и ничего не запомнишь. — Стокдейл поднял правую руку и врезал кулаком прямо Джону в лицо. Тот увидел, как костяшки санитара резко увеличиваются в размерах, становятся огромными, словно бревна частокола, разделенные полосками теней, и наконец все это обрушилось ему прямо в глаз, и наступила слепота, которая все еще длилась, когда второй, невидимый удар настиг его, словно копье, и сразил наповал.

Они сидели у Ханны в комнате, и разговор их становился то светским, манерным и полным недоговоренностей, то девчоночьим, быстрым и изумленным. Впервые в жизни Ханна

решила не рассказывать Аннабелле обо всем, подумав, что не стоит знакомить ее с Чарльзом Сеймуром. Его имя в разговоре не звучало, однако незримо присутствовало в паузах и умолчаниях. Ронсли был более удобным предметом для обсуждения. Они поносили его на два голоса.

Аннабелла расчесывала свои густые темные волосы Ханниными расческами с шероховатым, волнующим звуком. С распущенными волосами, ниспадающими на плечи, Аннабелла выглядела очень по-девичьи или даже по-русалочьи, но в выражении ее лица, бездумного в своей сосредоточенности, было что-то такое, что делало ее похожей на маленькую девочку или на зверька.

Ханна обнаружила, что вполне может говорить об Альфреде Теннисоне. Когда она произносила имя поэта, оно перекатывалось во рту, холодное и твердое, словно камешек. А еще недавно при одном лишь его упоминании у нее возникало острое желание немедля куда-нибудь сбежать.

— Да, кстати. Я его тут на днях видела, — сказала Аннабелла, глядя в потолок. Склонив набок голову, она собирала волосы в руку расческой.

— Неужели? — Ханну отчего-то покоробило, что она об этом не знала.

— Да, правда. Он, обернувшись в плащ, бродил в тумане, — нараспев произнесла Аннабелла. — Средь призрачных дерев.

В голосе ее явственно слышался оттенок презрения и насмешки, и Ханна даже рассердилась. Пусть ей не нравится Теннисон, но это же не повод над ним смеяться. А кроме того, отсюда следовало, что Альфред Теннисон недостаточно хорош для нее, Аннабеллы. Ему она показалась нимфой, дриадой. Да она всем кажется нимфой или дриадой. И потому может не спешить со своим выбором.

— Ты с ним говорила?

— Я сказала: "Добрый день", и он мне в ответ: "Добрый день". — Она попыталась изобразить его линкольнширский акцент, но безуспешно, и предприняла вторую попытку. — "Добрый день", и приподнял шляпу над спутанными волосами, и пошел дальше своей дорогой.

Ханну, к ее собственному удивлению, все это вдруг разозлило. Ей не по нраву пришлась мысль, что знакомые ей люди ходят где-то в мире совершенно независимо от нее, встречаются, ведут разговоры, которых она никогда не услышит, и даже о ней не вспоминают. Тем самым, по сути, убивая ее, превращая в призрак. Хоть она и отказалась от Теннисона, высокомерие Аннабеллы ей не понравилось. Но разве не такова истинная Аннабелла, прятавшаяся под маской красавицы?

— Может, ему просто было не до тебя, его занимали более важные мысли.

— Ну и что с того?

— Из того, что ты такая красотка, Аннабелла, вовсе не следует, что весь мир должен немедленно рухнуть на колени и начать тебя превозносить.

— Ну и что? — тупо повторила Аннабелла. Теперь на лице ее читалась оскорбленная невинность. Она покраснела так мило, как удавалось только ей: два красных пятнышка проступили над ямочками на щеках, не то, что эта ужасная краснота, которая, как Ханна уже успела почувствовать, вовсю расползалась у нее по шее.

— Да ты же можешь добиться расположения любого, кого только захочешь. Ты и сама знаешь, что красива. И тебе не надо волноваться, не надо притворяться: ах, что вы, я всего лишь простая, честная, приличная девушка.

— Зачем ты все это говоришь?

— Затем.

Ханна и сама толком не понимала зачем. Она даже не ожидала, что способна так разозлиться. Такая красота, как у Аннабеллы, — это просто нечестно! Красота притягивает окружающих к Аннабелле, открывает перед нею будущее безо всяких усилий с ее стороны, и Ханне надоело делать вид, что она ничего такого не замечает. Тем самым она словно бы потворствовала предательству со стороны Аннабеллы, зная, что та с легкостью, с уверенностью пренебрежет ею и обойдет, едва только захочет. А значит, тотчас же решила Ханна, не быть им друзьями, ведь они не ровня.

Передумать ей уже не дали. Раздался стук в дверь, и на пороге появился Фултон. Он с игривой галантностью поклонился Аннабелле и, ухмыльнувшись, сказал сестре: “К тебе там пришли”.

— Но он и правда назвал меня нимфой! — крикнула вслед Ханне Аннабелла. — А тебя твой поэт так называл?

Спустившись вниз, Ханна увидела Томаса Ронсли. Снаружи ждали две лошади. Ханне было предложено прокатиться на серой, более покладистой. Пока девушка взбиралась на новенькое, блестящее, без единой трещинки кожаное седло с двумя луками, вкусно пахнувшее мастерской, Ронсли стоял у нее за спиной.

— И куда же мы поедем?

Он взглянул на нее испуганно и чуть ли не обиженно.

— Да так, куда глаза глядят. Прокатимся по лесу. Свежий воздух и все такое. Мне подумалось, вам должно понравиться.

День становился все интереснее. Вот так пыхтишь, и желаешь, и ждешь, и страдаешь — и ровным счетом ничего не выходит, а тут вдруг начинается жизнь, правда, совсем не та, какую она себе представляла. Сперва поспорила с Аннабеллой, потом от нее сбежала и теперь скачет верхом. Вновь и вновь мысленно возвращаясь к этому спору, она попеременно ощущала то сожаление, то решимость. Томас Ронсли ее почти не отвлекал. Хотя намерения его были отныне совершенно прозрачны и бесспорны, он почему-то не предпринимал никаких усилий, чтобы ей понравиться. Не пытался ее обворожить, не откровенничал. Не было в нем ни свободы и легкости Чарльза Сеймура, ни глубокой, насыщенной сдержанности Теннисона. Он был буквален, прямолинеен и неловок. А его ухаживание (ведь, судя по всему, это было именно оно) казалось угрюмым и слишком уж настойчивым. И со всей очевидностью мучило его самого. Ибо было всерьез. В отличие от поэта и от аристократа, он трудился. И благодаря этому обогатился, но богатство висело у него на шее, хрупкое и совершенно отдельное, словно венок из листьев. Да он и олицетворял собою труд. Даже в звучании его имени было что-то этакое. Ронсли. Ронсли. Ханне не нравился протяжный первый слог. Что же он ей напоминает? Ровный. Полнокровный. Кровь. Ну да, кровь и плоть. Иначе говоря, мясо. И вместе с тем он превосходно одевается, а его вещи — перчатки, даже вот эти лошади — отличаются первозданной чистотой. Было небезынтересно, по крайней мере теоретически, представлять себе, что его жена будет точно так же экипирована, со всех сторон окутана богатством, что и к ней перейдут этот глянец, эта уверенность в собственном будущем и всеобщее признание.

В лесу становилось все темнее. Зима была уже не за горами. На черных опавших листьях, прибитых к земле проливными дождями, тут и там серебрился иней. Стволы деревьев потемнели от сырости. Вот сбоку мелькнули крючковатые, шумные и блестящие листья падуба. Ну и погода, просто засыпаешь на ходу. Вожжи поскрипывали, а когда лошади выдыхали клубы пара, во рту у них что-то позвякивало. Когда лошадь Ронсли извергла из себя кучку навоза, Ханна даже пожалела своего кавалера. Он явно смутился: уставился с одеревеневшей шеей в одну точку, будто бы сам оконфузился.

Безмолвие умиротворяло. До чего же приятно не разговаривать. Некоторое время спустя Ронсли произнес:

— Вы позволите кое-что вам показать?

— Разумеется. Очень интересно, — вежливо ответила она.

Они потрусили по тихим тропам, пока Томас Ронсли не отдал приказ остановиться. Он обернулся к ней с горящими гла-

зами и прижал к губам палец. Хитроумная механика за сценой дня продолжала вершить свою работу, и теперь Ханну ждало новое, совершенно особое откровение. То, на что Ронсли указывал ей сквозь деревья и что явно вызывало у него восхищение, оказалось цыганским табором. Шипящий костер на сырых дровах, собаки, лошади и кибитки, свободная и преступная жизнь, от которой ей всегда наказывали держаться подальше. Им ничего не стоило украсть у нее что-нибудь. А то и ее самое. Наблюдая за ними с безопасного расстояния, чувствуя рядом надежное плечо Ронсли, она исполнилась дивного животворящего страха и удовольствия. И улыбнулась Ронсли, а он улыбнулся в ответ. Они поглядели еще немного, не спешиваясь, и тихо поскакали прочь.

Зима

Кресло епископа было само по себе как храм: высокая спинка, подголовник, выступающие вперед подлокотники с подсвечниками, чтобы читать при свечах, а сбоку — полочка для книг.

Кресло Мэтью Аллена, стоявшее напротив, на узорчатом коврике с другой стороны от камина, было хоть и не столь величественным, но все же глубоким и удобным. Тело все еще покачивалось, никак не могло избавиться от отголосков долгой дороги, от вагонной тряски, и успокоиться доктору тоже никак не удавалось. Вцепившись в подлокотники, он улыбнулся.

У епископа было доброе, благородное лицо, исполненное возвышенного и невозмутимого благочестия. Блеклые глаза глядели из глубоких глазниц, под длинным, словно бы перламутровым, носом с горбинкой — полные губы. Густые седые бачки аккуратно подстрижены. Вид у епископа был сытый и ухоженный. С потрескавшихся потемневших портретов его предшественников, которые Мэтью Аллен миновал, проходя по дворцу, смотрели из жестких воротничков куда как более суровые и аскетичные лица.

Дворец вызвал у доктора Аллена бурю эмоций. В докторе проснулся едва уловимый, но неистовый дух отца, безмолвно зазвучал голос, обличающий этот самодовольный достаток официальной церкви и ее духовное оцепенение. Неумолимому сандеманцу не по нраву пришлись бы и большой крест из чеканного серебра на каминной полке, и писаный маслом лик Христа, висевший на уровне глаз Мэтью: облагороженный, смуглый, в итальянском стиле Иисус со склоненной головой, мощными чувственными плечами и печальными, темными оленьими глазами. Христос его отца больше походил на само-

го отца: поджарый и решительный, он, должно быть, тоже отстаивал истину до пены на губах и до красных пятен на горле. Он был словно тонкий рычаг, которым поддели древнюю Палестину, чтобы перевернуть весь мир. А здесь никто ничего не переворачивает. Здесь все тихо, гладко, основательно — и явно переживет тех двоих, что сидели теперь друг напротив друга у камина.

Дворец напомнил Мэтью и об университете, пробудив одновременно и решительное отторжение, и неистовое желание остаться, быть сюда вхожим. Когда-то, наделав долгов, он вынужден был покинуть университет. На смену науке пришла работа в лавке и вечерние занятия. Если епископ согласится отпустить ему больше времени на выполнение заказа, Аллен полюбит это место и станет здесь своим. В противном же случае он сразу поймет, что изначально был прав в своих оценках.

Когда вошел слуга с чаем, Аллен, не поднимаясь с кресла, подался ему навстречу. Слуге было приказано разлить чай тотчас же: у епископа мало времени. Сначала Аллен глядел, как епископу наливают чай через ситечко в фарфоровую чашку и как добавляют короткую струйку молока. А потом точно так же обслужили и его, свершив умиротворяющий, задушевный, безличный обряд, в чем-то сродни услугам цирюльника, и он сразу почувствовал себя чище и собрался с силами, чтобы начать разговор.

— Итак, Ваша Милость, вы, несомненно, понимаете, что эти технические затруднения — препятствие вполне преодолимое. Я с полной уверенностью готов сообщить вам, что смогу осуществить поставку через месяц-два.

Епископ, подув на чай, ответил:

— Рад слышать. В моей епархии, доктор, семь церквей, обустройство которых мне, как вам известно, необходимо завершить как можно скорее. Здесь, на севере Англии, появляются все новые заводские приходы, и обустройства храмов — одна из важнейших моих задач.

— И я вам обещаю поставку.

— Через месяц?

— Через месяц-два.

— Через месяц?

— Если допустить, что технические затруднения... что будут произведены требуемые изменения... часть машины, требующая замены, будет заменена, то при условии ее замены — да, через месяц.

— Боюсь, в вашем разъяснении прозвучало слишком много оговорок.

Мэтью Аллен перехватил чашку из одной руки в другую.

— Я не могу гарантировать, что все будет готово ровно через месяц.

— Весьма прискорбно. Я полагал, что смогу рассчитывать на вас и с вашей помощью завершить обустройство храмов, но коль скоро вы говорите о задержке, надеюсь, вы поймете, если мы обратимся к производителю с устоявшейся репутацией.

— Я могу выполнить этот заказ.

— Но не вовремя. Вы же сами только что сказали, что не уложитесь в срок. Простите, у меня нет ни малейшего желания с вами спорить. Вы можете гарантировать поставку через месяц? — Епископ взглянул на Аллена, подняв брови. Его изящный нос как будто удлинился и заблестел.

— Нет.

— Ну, что же. Весьма прискорбно. А теперь простите, я должен идти.

— Но мы же заключили контракт.

— Надеюсь, вы не будете торговаться со мной, как какой-нибудь еврейский купец. Кстати сказать, если я правильно помню, у нас была договоренность, а не контракт. Очень жаль, что вам пришлось съездить сюда впустую. Желаю успеха вашему предприятию. Судя по вашим рассказам, вам непременно будет сопутствовать успех. А теперь извините, я должен идти.

Епископ поднялся из своего хитроумного кресла, и Мэтью Аллен тоже встал, как того требовал этикет. Держа в руках чашку с чаем, которую некуда было поставить, он поклонился вслед уходящему епископу.

Отец был все еще в отъезде, мать вместе со всеми слугами ушла в Фэйрмид-Хауз разбираться с бельем, так что Ханне выпало самой отворить дверь Томасу Ронсли. При виде ее он растерялся и слегка приосанился, но схитрил, сделав вид, что снимает шляпу.

— Ханна, — проговорил он, — эти...

— Да?

— Эти розы...

— Да?

— Ну, они для вас, вот что!

Вернувшись в гостиницу, Мэтью Аллен скинул пиджак и долго стоял подле окна, глядя, как капли дождя падают на мощеный двор, как снуют от двери к двери горничные. Голова почти упиралась в низкий, плохо освещенный потолок. Выпив бренди, доктор немного успокоился. Он стоял в этой каморке и думал. Деньги приходят, деньги уходят. Ожидаемая прибыль и

размещение заказов — между ними неизбежно столкновение. Он зажат между двумя колонками гроссбуха. Они сдавливают его, выжимают из него мечты, выжимают воздух. Он выпил еще и решил, что если смотреть правде в глаза, то эпопея закончена, и они всё потеряют. Мало кто знает, что это значит, — потерять все. Но уж он-то знает. Он был в долговой тюрьме, средь темных стен, его лишили свободы действия, превратили в младенца, в узника, средь темных стен. Вновь просить денег, чтобы начать сначала, — да кто ж теперь ему даст, после всего, что случилось? Надеяться больше не на что. Он раздавлен.

Он задумался, можно ли покончить с собой, выпив целую бутылку спиртного в один присест, и решил попробовать. Поднеся бутылку к губам, он запрокинул голову и принялся вливать в себя бренди, глядя, как поднимаются к бутылочному дну крупные пузыри. С размаху опустив бутылку на стол, он закричал и, рыгнув тошнотворным горячим паром, вытер глаза. "Мало", — простонал он. Тут меньше чем тремя-четырьмя не обойтись. "Мало. Или. Или..." Он заковылял к зеркалу, хватаясь вытянутой рукой за стену, и уставился на свое отражение, на влажные обметанные губы и жесткие враждебные глаза. "Нет, — сказал он. — Нет, нет, нет, нет. Пока нет. Пока нет. Еще можно выбраться. Будь я проклят. Не умирай, старина. Вот, смотри... Вот..." Выпрямившись, он попытался сделать несколько шагов, но рухнул лицом вниз на кровать. Кое-как дотянувшись до портфеля, вытащил перо и бумагу. Надо бы написать Теннисону.

Он лежал, и комната медленно кружилась у него перед глазами, а в голове сами собой складывались фразы. "Грандиозно, — вслух произнес он. — Грандиозно". Сел и начал писать.

Наше предприятие грандиозно. Надежда с нами, страх ушел, я счастлив. Мы в безопасности. Если бы вы только знали, какая тревога охватывала меня в самом начале и какое успокоение я чувствую теперь, когда моя голова готова взорваться от переполняющей меня благодарности, и облегчение приносят лишь слезы, текущие по щекам, то вы убедились бы в душевной глубине и искренности человека, который называет себя вашим другом и уповает на Господа, что изобличит неверующих, однако у меня и в мыслях нет похваляться, у меня и в мыслях нет опорочить чье бы то ни было доброе имя.

Заказы от великих мира сего текут полноводной рекой. Епископ Честерский добавил к своему заказу еще четыре престола. Я в жизни не сталкивался со столь многообещающим делом. Если я не прав, то все в мире — ложь. Даже если

мир и человеческая природа изменятся, наше дело пребудет ныне, присно и во веки веков.

Теннисон сидел у камина, все глубже погружаясь в скорбь, которая сделает его знаменитым. Когда скорбь станет всеобъемлющей и наполнится вопросами, наполнится словами и, наконец, самим миром, тогда-то он ее запишет, а когда молодая королева потеряет своего молодого супруга и поведает миру, что его стихи удивительно точно выразили и смягчили ее собственную скорбь, тогда он станет придворным поэтом, разбогатеет, окажется вдруг одним из величайших людей своего времени, о нем заговорит и будет возносить ему хвалы вся Империя. Он встретится с королевой в ее резиденции на острове Уайт. Когда он будет собираться на аудиенцию, жена стряхнет песок с его башмаков, почистит одежду и пригладит волосы. И вот он стоит у камина, слышит, как отворяется дверь, и, повернувшись, видит, как входит его королева. Почти видит. К тому времени глаза его совсем ослабеют, а с появлением королевы тотчас же наполнятся слезами восхищения и радости. "Я теперь в точности как ваша одинокая Мариана[1]", — скажет ему королева, а Теннисон, не зная, что ответить, ляпнет: "Каким королем мог бы стать принц Альберт!" И переполошится, что высказался слишком вульгарно, но она кивнет и согласится. Теннисон почувствует, как между ними рождается взаимопонимание, как смешиваются, подобно облакам, их одинокие, хрупкие, неспешные души. Но пока он не чувствовал ничего, кроме скорби, самой что ни на есть простой, гадкой и изнурительной. И не было в ней ни успеха, ни светлого будущего. Не было ничего, кроме одиночества, медленно пульсирующей злости и замешательства.

Он не стал зажигать лампы, и в сумраке надвигающегося зимнего вечера на его длинных ногтях теплились красные отблески горевшего в камине огня, а если бы он обернулся, то увидел бы, как в окне, за его спиной, за темными силуэтами деревьев, пятнает гладь пруда холодный багрец заката. Пурпур, подумалось ему, всюду пурпур. Геральдический кроваво-красный. А ведь в этом что-то есть. И разум его распахнулся навстречу пурпуру. Под пологом леса изломанные копья. Изломанные копья в истоптанной копытами грязи. Вот, Англия, твой старый добрый лес, где мчались рыцари, где королева Елизавета тешилась охотой, где сам Шекспир скакал, чтобы

1. Героиня двух стихотворений Теннисона, написанных по мотивам пьесы Шекспира "Мера за меру". Мариана страдает от одиночества и ждет своего возлюбленного, который так и не приходит.

поставить свой "Сон" в поместье у аристократа, если верить дочке доктора. И вот теперь здесь сумерки, распад, и солнца луч высвечивает сонно рассеянные тут и там останки. Да, в этом что-то есть: английский эпос, возвращение Артура. Английский Гомер. Кровь, битва, мужество, машина судьбы, наконец. Альфреду показалось, что он даже слышит ее музыку, металлический звон, исполненный эха. И мысль его устремилась туда, нащупывая границы. Надо будет попытаться, если силы вернутся к нему. Поленья в камине шипели и дымились. Лес за окном вновь скинул свой сказочный покров, стал мрачным и безотрадным. И никого там не было.

Из друзей тоже никого не осталось. Септимус в сумасшедшем доме под опекой доктора Аллена. Их брат Эдвард в другом сумасшедшем доме. Отец умер. Артур Хэллем тоже умер, забрав с собой из этого мира силу, воздух, жизнь. А ведь это был величайший ум, Альфред другого такого не знал: властный, ясный и быстрый, находчивый, зрелый, поэтичный. Артур любил стихи Альфреда и защищал их в своих статьях, он любил Альфреда, а теперь его нет. Он женился бы на сестре Альфреда, стал бы лучшим из членов их большой семьи, но он умер и оставил Альфреда одного.

Образ Артура пришел и ушел, а слова не шли. Слова еще придут, он мог бы и догадаться, но пока не шли. Он был нем и одинок. Ему не хватало сил даже на то, чтобы читать слова, написанные другими, даже на то, чтобы подняться из кресла. Он неотрывно глядел в огонь. И был одинок.

Доктор Мэтью Аллен сидел за своим столом с чашечкой кофе и с пером в руке. Перед ним лежал новый гроссбух, куда он аккуратно вписывал придуманные числа, которые должны были успокоить вкладчиков. Время от времени он окидывал взглядом это застывшее вранье, и тогда голову словно сдавливали тиски, но он тотчас же напоминал себе о благородстве и логической выверенности своей цели. Когда имеешь дело с безумцами, порой приходится прибегать кое к каким уловкам им же во благо. И с вкладчиками то же самое: он просто отвлечет их будущим вознаграждением. Сердце стучало легко и быстро, до того приятно было сознавать собственную находчивость.

Однако деньги все еще были нужны. К счастью, ему было к кому обратиться, прежде чем прибегнуть к последнему средству — написать брату Освальду. Мурлыкая что-то себе под нос, доктор поднялся, огладил бороду и пошел. К ним.

Он тихонько постучал, но ответа не последовало. Тогда он открыл дверь и вошел. Септимус, полностью одетый, ле-

жал на кровати, свернувшись калачиком, прижав колени к груди и обхватив их руками. "Доброе утро, — сказал Мэтью. — Вот вы-то мне и нужны".

Лорд Байрон проснулся со страшной головной болью и в запачканной одежде. Он знал, что винить ему следует только себя, но если не позволять себе время от времени поразвлечься, то куда девать свое жизнелюбие, как успокоиться? О, сколько страниц он написал! Долгие недели, тысячи строк, рука буквально летала над страницей, лишь бы успеть их записать, губы дрожали, голова была не голова, а какая-то поэтическая маслобойка. Когда он отправлялся на боковую, домочадцы давно уже храпели, а когда просыпался, звезды лишь начинали таять в предрассветном небе, первые труженики выходили на поля, а он уже шептал новые строки, которые надо было поскорее записать. Стихи складывались во сне, звучали все громче и отчетливее, пока наконец не обретали плоть, перекидывая мост в бодрствование. Они будили его, требуя служения. Иногда он переползал из постели в кресло, что стояло в углу, находил какой-нибудь ненужный обрывок бумаги, принимался их записывать и лишь потом понимал, что уже написал их прежде. И это исступление длилось неделями. Ничего удивительного, что ему приходилось призывать на помощь Джона Ячменное Зерно, чтобы ослабить хватку слов, перестать искать приключений на свою задницу и выбраться наконец из этой неистовой машины стихосложения.

Но тут уж лучше было присоединиться к приятелям, к их дружеским кутежам на лондонских улицах. Теперь-то они едва ли снизошли бы до него, сидящего здесь, словно в одиночной камере, голодного, отвергнутого, в грязной рубахе и загаженных подштанниках. Отдельными вспышками, спазмами вины возвращались образы того разгула, что творился прошлой ночью. Неужели здесь в самом деле бились не по-джентльменски? И блудили? Он вспомнил вчерашние вопли и услышал новые, что доносились из других частей дома.

В дверном проеме появился его слуга:

— Время поразмяться, — сказал он.

Байрон взглянул на него, припоминая.

— Да, — откликнулся он и замер, не отводя взгляда от вошедшего. Лицо слуги менялось у него на глазах, точнее сказать, оставалось тем же самым, или даже становилось тем же самым. Воздух вокруг лица словно бы дробился, уходил назад. До чего мучительно глядеть. Сквозь прежнее лицо, будто сквозь воду, проступало новое, и вот оно уже было здесь, в этой комнате, рядом с ним. Наконец Байрон его узнал.

— Я знаю, кто ты.

— И я знаю, кто ты.

— Я знаю, что ты творишь.

— Да ну?

За спиной у вошедшего его двойник, с блестящим от пота лицом, застегивал штаны и врастал в свою собственную спину.

— Ты Стокдейл.

— А ты кто?

— Лорд Байрон. А я знаю, что ты творишь.

— Ничего вы не знаете, ваша светлость.

— Вот и прошлой ночью снова.

— Ваша светлость ошибается. Вы тут уже третий день как взаперти.

— Стало быть, три дня назад. Ты насиловал...

— Ну, ну. Не говори ерунды.

— Выпусти меня на свободу, и я никому не скажу.

— Выпускать тебя или нет — решает доктор. И, в конце концов, кто тебе поверит?

— Доктор.

— Какой такой доктор?

— Доктор Аллен. Он мой друг.

— Но ведь он же и запихнул тебя сюда, так? Твой друг. Ты, видишь ли, сумасшедший.

— А вот и нет.

— И кто же ты?

— Не думай, что... — Байрон схватился за голову.

— Так кто же ты?

— Ох.

Ему нужно, ему просто необходимо вернуться в самого себя. Стокдейл тряс его, ухватив за рубаху. Он стиснул зубы. В голове все рушилось, вязло. Он сделал еще рывок. Нужно вернуться. Одна боль столкнулась с другой, и пришлось выбрать ту, что была сильнее. Стокдейл тряс. Джон почувствовал, что плоть его остается в руках санитара, а кости обнажаются, словно кости мертвого зверя, на которых тут и там виднеются жалкие остатки плоти, открытые солнцу и ветру. Лишь голова в целости и сохранности. Он услышал, как щелкают над его выброшенными в канаву внутренностями собачьи челюсти. Наконец Стокдейл отпустил его. Твердо встав на ноги, он на миг увидел себя посреди дороги: вот он лежит, лишенный всякой плоти, брошенный на произвол судьбы, мертвый кролик. Услышал грохот экипажей и людские голоса. Один-одинешенек. Дорога тянется на долгие мили в обе стороны. Ветерок мягко овевает лицо. Он очнулся так далеко от дома. И прекрасно знал, кто он.

— Я Джон, — произнес он.

— Кто-кто?

— Джон Клэр. Джон. Прославленный поэт. Когда доктор будет на обходе, я расскажу ему, что ты вытворяешь. А не хочешь, так скажи ему, что мне лучше, и пусть меня отсюда выпустят.

— Ты не знаешь, кто ты. Шекспир, а? Нельсон? Кто же ты?

— Ты знаешь, кто я. И скажешь ему, чтобы меня отсюда выпустили. И ее. Ее ты тоже отпустишь.

— Кого?

— Марию.

— Марию? Нет здесь никакой Марии.

— Не Марию. Сам знаешь кого. Знаешь-знаешь.

Конец зимы ознаменовался долгой чередой дождей, дождь лил и лил, и ни ветерка не чувствовалось в холодном дыхании обрушивающейся с небес воды. Шумный, почти отвесный, дождь примял траву и до блеска отполировал деревья.

Доктор Аллен устремился прямо под его струи, раскрыв над собою зонт. Он опаздывал и был голоден. Утром он не поел. Не осмелился: из-за болей в желудке даже самая легкая пища вызывала страшную рвоту. Ему не хватало порядка. Не хватало сна. Не хватало денег.

На дорожке появился человек, и тоже под зонтом.

— Доктор Аллен! — прокричал он сквозь шум дождя.

— Да. — Аллен подозрительно взглянул на него, поплотнее укутывая горло воротником.

— Вы доктор Аллен?

— Да.

— Вот вас-то я и ищу, черт вас дери!

— Простите?

— Ни за что!

— Извините, вы мой пациент?

— Да как вы смеете!

Дождь барабанил по зонту нежданного гостя, и сквозь водяную бахрому было не разглядеть пышущего гневом багрового лица. Доктор Аллен внезапно ощутил укол страха: это кредитор.

— Ох, простите, бога ради, — сказал он. — Пойдемте в дом. Не можем же мы разговаривать под дождем. Я вас почти не слышу.

— Долго же вы думали, прежде чем меня пригласить. Пойдемте, доктор, пойдемте.

Незнакомец вошел вслед за Мэтью Алленом в прихожую, свернул зонт и с размаху вонзил его в подставку.

— Я подозревал, — начал он, — что вы не особо следите за порядком в своем заведении, однако полагал, что вы, по меньшей мере, знаете, кто ваши пациенты, а кто нет.

— Приношу свои искренние извинения. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Там мы сможем поговорить.

Аллен быстро направился в кабинет, желая утаить, скрыть от посторонних глаз то, что последует. Он открыл дверь, и посетитель ворвался внутрь, промчавшись мимо двух гроссбухов, столь опасно соседствовавших на столе, но даже не взглянув на них.

— Что это? — поинтересовался он, сопроводив свой вопрос указательным жестом.

— А, это. Оррерий. Планеты.

— Да-да. Я знаю, что это такое. Просто забыл название.

— Позвольте мне объяснить, — начал доктор Аллен. — Мы столкнулись с некоторыми затруднениями, как я уже говорил, чисто механической природы. Но как я постарался дать вам понять, в настоящий момент машина работает безотказно...

— Машина? О чем вы?

— О пироглифе. Простите, сэр, вы...

— Вы уж извините, но к виконту следовало бы обращаться "Ваша светлость".

— К виконту?

— Вот именно. К виконту.

Аллену все сильнее казалось, что перед ним и вправду один из новых пациентов, из числа тех, которыми занимается его жена.

— Прошу прощения...

— Будете просить, когда я закончу. Вы что, в самом деле не понимаете, о чем речь?

— Простите. Мне нездоровится. Машина, производство, финансовые расчеты — все это отнимает уйму сил.

— Да забудьте вы уже о своей чертовой машине!

— Простите, я не понимаю.

— Он не понимает, видите ли. Мой сын — ваш пациент, так сказать. Чарльз Сеймур. Надеюсь, это имя вам что-нибудь говорит?

— Боже мой. Ну конечно же. О, я прошу у вас прощения, ваша светлость.

— Вот-вот, как я и говорил. Можете его сюда позвать?

— Если вам будет угодно.

— Да, мне угодно. Мне в высшей степени угодно. Но это невозможно. Вы не сможете его позвать. И вновь я потрясен, что вы сами об этом не знаете. Не сможете, ибо его

здесь нет. Он сделал именно то, чего я пытался избежать, платя вам. Удрал с этой мерзкой шлюшкой.

Весна

Утро. Дверь открыта. Выходишь на свет, в распахнутый мир осторожно, шаг за шагом, словно стараясь не упасть. Вдыхаешь самую малость безбрежного воздуха. Листья на деревьях, зеленая поросль в огороде, где тихо трудятся люди. Никто не нападает, не набрасывается. Цветы и облака. Какой тихий день.

Прощение. Вот каким оно стало для нее, прощение: вернуться в мир, выбраться на свободу в целости и сохранности. Вся исполненная безмолвной благодарности, она стояла и то закрывала глаза от ветра, то вновь открывала, чтобы узреть Творение, увидеть, как в малейших проявлениях жизни играет душа младенца Христа.

Она увидела младшую дочь доктора и окликнула девчушку. Та вздрогнула и от испуга сцепила пальцы рук. Должно быть, бедняжка боится ее с тех самых пор, когда она, исполняя повеление ангела, неистовствовала, не зная покоя. Она вновь окликнула девочку и улыбнулась, и на этот раз малышка к ней подошла.

— Добрый день, Абигайль! Как поживаешь?

— Добрый день.

Абигайль ни секунды не могла устоять на месте, она ерзала, подносила руки к лицу, крутила головой по сторонам. Маргарет почувствовала, что стоит вглядеться — и она увидит огромную, чистую душу девочки, слишком большую для такого маленького тела.

— Рада вновь тебя повстречать.

— Тебе лучше?

— Бог бережет, Абигайль. Бог бережет. Передай своему отцу, что я его прощаю. Милосердие Господне столь велико, — засмеялась она, поднимая вверх руки, — что просто диву даешься.

— Не плачь.

— Я не плачу. Разве я плачу? Больше не буду.

— Хорошо, — Абигайль ухватилась за ее исхудавшую руку своей маленькой теплой ладошкой. — А ты будешь снова вышивать?

Мэтью Аллен пытался отцепить ее пальцы от своей руки, но чем больше тянул, тем сильнее она вцеплялась в его рукав. Вот ведь всегда накануне грозы у них обострение, из-за этого постоянного гула, из-за ветра, что бьется в окна и крутит по

лесам, и деревья вспыхивают в потустороннем свете. А она все спрашивала: "Это правда? Вы меня не выгоните, нет?"

— Нет. Что вы.

— Правда?

В глазах у нее стояли слезы. Он наконец отцепил ее пальцы и сразу же ощутил, что его тянет за плечо еще одна рука. Так он и сражался из последних сил с этими руками, чувствуя, что вот-вот развалится на две половины, словно переполненный одеждой чемодан. Дернувшись, как попавшийся в ловушку зверь, он обернулся. И увидел Джона.

— В чем дело?

— Я должен с вами поговорить!

— Должны? Прямо сейчас?

— Да.

— Тогда отпустите меня.

— Вы ведь меня не выгоните? — повторила женщина.

— Нет, не выгоним, — чуть ли не прокричал Мэтью, стряхивая ее руку с запястья. — Пойдемте ко мне в кабинет. Мне нужно... мне бы хотелось... Да пойдемте уже в конце концов — и он вытер лоб тыльной стороной ладони.

Джон шел вслед за доктором и разглядывал его шею. Вот она вырастает, хрупкая и тонкая, из жесткого воротничка. А посреди борозда. Искорки светлых волос. А какая в ней сила, какая стойкость.

Мэтью Аллен отпер дверь и провел Джона в скрытый от чужих глаз красный полумрак, где царили бумаги и книги. Под пристальным взглядом Джона доктор раздвинул шторы и тяжело опустился в кресло.

— Итак, в чем дело?

Доктор потер лоб кончиками пальцев, проверил, остался ли на них пот, и вытер руку о штаны.

— Меня привела сюда воля к свободе, — начал Джон, выпрямляясь в полный рост и выходя на середину ковра. — Я должен... вы должны... вы должны снова разрешить мне выходить за пределы этого места.

— Джон, вы понимаете...

— Для вас — лорд Рэдсток.

— Что, простите?

Джон заметил, что доктор записывает его ответ с утомленным и беспомощным видом, и понял, что надо брать быка за рога.

— Вот, стало быть, где мы теперь, — бормотал доктор. — Вот где мы теперь.

— И где же мы? Я тут. И я тут задыхаюсь. Мне нужна свобода. Я требую свободы.

— Не кричите. Нет нужды.

— Есть нужда! Вот глядите. Я собирался ничего вам об этом не рассказывать, но коли так, то я скажу. Пока вы тут, как бес в бутылке, никуда носа не кажете, у вас такие дела творятся! Женщин насилуют...

— Я же сказал, нет нужды кричать, — Мэтью резко вскочил с кресла. — Здесь... — Он закашлялся и не мог остановиться. Джон с нетерпением ждал, но приступ и не думал заканчиваться. Под глазами у доктора набухли мешки, побагровевшие губы окропила слюна. Он поднял руку, показывая, что кашель скоро пройдет. Наконец, после нескольких взрывов кашля, доктору стало лучше. Он застонал и осторожно вдохнул.

— Да вы больны.

Аллен засмеялся.

— Боюсь, вы правы. — Ему показалось, что его голос еле звучит. Как будто уши заложило.

— И устали.

— О да. И устал.

— Ну, так отдохните. Прилягте на кушетку.

— Да-да. Пожалуй.

Мэтью согласился. А почему бы и нет? Все к нему пристают, требуют, чтобы он принимал решения. Пусть сами решают. Пока он с кряхтением опускался на подушки, его неожиданный посетитель стоял над ним. Сняв покрывало со спинки кушетки, Джон прикрыл им доктора. Мэтью Аллен, глядя в спокойное толстое лицо сломленного поэта, пока тот подтыкал сбоку одеяло, уютно укутывая своего подопечного, вспомнил, что бедняга — тоже отец, как и он. Должно быть, когда его дети болели, он ухаживал за ними с той же немного отвлеченной, дельной заботой во взоре. Доктор на миг почувствовал себя беспомощным и чуть не расплакался. Короткие немытые руки Джона довершили начатое, и он вновь распрямился.

— Благодарю, — сказал Аллен. Он лежал, измученный, не справляясь со своей собственной жизнью, погребенный под нею, и у него не было сил продолжать. — Благодарю вас.

— А теперь вернемся к вопросу о моей свободе.

Джон обратил лицо к солнцу. Ветви деревьев расщепляли солнечный свет на множество лучей, один из которых, неуловимый и теплый, словно детский поцелуй, играл у него на лбу и в уголке глаза. Джон, прищурившись, глянул вдоль луча, словно плотник, оценивающий, ровная ли ему попалась доска. Какой он мохнатый: пылинки, цветочная пыльца. А вот и пара трепещущих прозрачных крылышек.

Он шагал, и под ногами похрустывали сухие веточки, усыпавшие землю во время грозы. Между дубами тут и там подрагивали пролески. Над головой всхлипывали птицы. Соприкосновение с миром. Как же хорошо. Но Джон рвался сквозь мир, к дому. Весь мир — дорога, пока не окажешься дома.

Он вышел из лесу у бакхерстхиллской церкви. У нее, словно у человека или у дома, было свое лицо со своим вполне определенным выражением. Пройдя сквозь каменные ворота, он увидел ровные ряды могил, над которыми сгустилось безмолвие смерти. Тис с длинными, неторопливыми иглами отбрасывал густую тень.

В церкви он обнаружил знакомое сдержанное эхо, темные скамьи, застывшие фигуры святых на пестрых, словно полевые цветы, окнах и одиноко сидящую женщину. Он миновал ее, когда шел по проходу между скамьями, чтобы перекреститься перед алтарем. Мария! Нет, не Мария. Тоже из больных. Женщина, которую он... спас от Стокдейла. Она глядела на крест и улыбалась, а глаза ее застили слезы. На него она даже не взглянула. А ведь он посмел. Он ее спас. Поднимающийся ветер гудел в стеклах, и застывшие на них святые содрогались под его ударами. Джон выбрался наружу.

На церковном дворе он увидел присевшего отдохнуть мальчика лет девяти, одетого по-деревенски в холщовую рубаху. Мальчик не улыбнулся, никак не поприветствовал Джона. Вид у него был сосредоточенный и усталый, как у любого работяги. Джону пришло в голову, что он похож на его собственных сыновей в этом возрасте: то же плотное телосложение, те же тяжелые черты лица, чистая кожа и длинные ресницы.

— Я совсем без денег, — сказал Джон. Мальчик наконец поднял на него глаза, но не ответил. Ветерок взъерошил длинные волосы у него на лбу, и он прищурился, что можно было счесть за ответ. — А то бы я дал тебе полпенни.

Поизучав его некоторое время, мальчик, в знак благодарности за саму эту мысль, поднял ладошку и вновь сложил руки.

Джон побрел обратно в лес, навстречу пряному весеннему запаху и кружащемуся свету. На глаза ему попалось завалившееся набок дерево с ободранной добела корой, призрачно мерцавшее среди остальных деревьев. Удивительно, что оно упало в это время года, когда по древесным стволам поднимается сок, делая их сильными, упрямыми и стойкими. Должно быть, оно было больное. А кору содрали дубильщики. Джон пожалел дерево, представив вдруг, что это он лежит на земле беззащитный, и его волокна сжимаются на ветру. И поспешил дальше.

Они ушли. Он потратил немало времени на поиски, а когда наконец нашел, его одолели жажда и усталость. Их стало меньше, и лошадей меньше, и только две кибитки. Но старуха, Юдифь, вновь сидела у костра, глядя в огонь, отблески которого плясали на ее застывшем, словно маска, лице. Когда Джон подошел, она вздрогнула и, подняв плечи, попыталась встать. "Нет-нет, — сказал он. — Юдифь, это я".

Она взглянула на него искоса, но узнав, успокоилась.

— Снова пришел, Джон Клэр. Садись. Как твои дела?

— Хорошо, — сказал он. Но сказал неправду. Все тепло этого дня оставило его в мгновенье ока. День на день не походит. Всякий день уходит. Вот и жизнь его подходит к концу.

Скалы из пятнистого камня тянулись по обе стороны железной дороги, пока поезд пробирался сквозь трущобы. Отбросы в сточных канавах, бегающие дети, изношенная одежда колышется на ветру, убогая, нищенская жизнь кипит за окнами. Мир пришел в упадок. Доктор Аллен знал, что смог бы сделать многое, лишь бы ему дали шанс, лишь бы к нему прислушались, отнеслись с уважением, наконец, попросили бы. Но нет. Его вообще перестанут о чем бы то ни было просить, когда он обанкротится и, продав сумасшедший дом, будет гнить в тюрьме.

За городом стало легче: недвижные стада, влажные тропинки, телеги, облака. Раньше Мэтью любил путешествовать на поезде, триумфально нестись на огромной скорости сквозь убегающий вдаль мир, мимо таращившихся вслед поезду батраков, но сегодня на душе у него было безрадостно, ведь он мчался навстречу Освальду, навстречу унижению.

Если Освальд согласится дать ему в долг, все будет хорошо. Сейчас машина работает приблизительно так, как и должна. Вопрос только в сроках: его вдохновение, равно как и все его предприятие, вполне надежно. И более того, блистательно. Мэтью Аллен знал, что он блистателен. Знал и его брат.

Мэтью окинул взором деревянную обшивку вагона. Как заключаются этакие контракты? Кто на них наживается? Ему тоже стоило бы связаться с какой-нибудь из железнодорожных компаний. Только подумать: билетные кассы, залы ожидания, уборные... Да на железной дороге полно мест, где его резьба по дереву пришлась бы как нельзя кстати. Надо будет сказать об этом Освальду. Освальд — дурак. Мог бы обогатиться, признай он блистательность своего младшего брата.

— Не будете ли вы столь любезны убрать ногу?

Сидевшую напротив леди, читавшую какую-то ерунду, вывела из себя ерзающая нога доктора Аллена.

— Примите мои извинения. — Будь его воля, уж он бы ей прописал пару дней в темной комнате, ледяные ванны и клизму. Чертова шлюха!

В аптеку к брату он явится без предупреждения — так же как брат явился в Хай-Бич. Пошли он письмо заранее, Освальд наверняка ответил бы, что его приезд не имеет смысла, а так можно будет воспользоваться всеми преимуществами личного обращения за помощью.

К тому времени, когда поезд вполз наконец в Йорк, Мэтью устал от постоянных перемен настроения, от этих неизбывных метаний между ликованием и яростью. При виде Йорка ему стало дурно, ведь в этом городе он ничего путного не добился, не завоевал доброго имени, попал за решетку, и наверняка тут найдутся люди, которые до сих пор его помнят.

Он пригладил бороду, расправил одежду, схватил свой кожаный портфель и, набравшись решимости, помчался по улочкам. Несясь к месту назначения, он вновь и вновь повторял, о чем обязательно нужно сказать, в очередной раз поражаясь своей деловой интуиции, своему хрупкому, но, пожалуй, вполне возможному успеху.

Неужели это... Нет. Он промчался мимо человека, смутно показавшегося ему знакомым, и свернул в переулок, где располагалась Освальдова аптека. Вот среди бликов на стекле, за рядами пронумерованных склянок с пастилками и бутылочек с бесполезными микстурами Освальда, порочащими славное имя Алленов, мелькнула лысина брата. Мэтью вытер ладони о брюки, дернул за дверную ручку и вошел в аптеку под истерический звон колокольчика.

Освальд поднял взгляд и, наблюдая, как Мэтью пытается улыбнуться, глядя прямо ему в глаза, прочел в его братолюбивой, сердечной, свойской манере истинную цель его приезда. Он отвернулся и, поправляя склянки на прилавке, чтобы они стояли этикетками наружу, произнес:

— Мой знаменитый, почтенный брат... Но я не готов заклать упитанного тельца в честь твоего возвращения...

— Освальд!

— Я же не так давно тебя предупреждал.

— Прошу тебя, погоди.

— Ничем не могу тебе помочь.

— Нет, нет. На самом деле, я приехал с хорошими новостями...

— Ничем...

Мэтью стукнул кулаком по прилавку. Испугавшись шума, который он сам же и устроил, он уставился на свои начищенные до блеска ботинки.

— Но я проделал долгий путь...

— Ничем не могу тебе помочь.

— Ты упекаешь меня в тюрьму.

— Никуда я тебя не упекаю. Я просто ничем не могу тебе помочь.

Мэтью откинулся в кресле, раскрыв свой гроссбух, заполненный мнимыми числами. Его невидящий взор задержался на оррерии, стоявшем у окна. Нахлынуло чувство унижения, грязное и теплое, словно вода в ванне, в которую только что помочились. Но очертания оррерия, медленно проступавшие у него перед глазами, настроили его на философский лад. Эти маленькие шарики на концах осей, подвешенные в бескрайнем пространстве, в абсолютном безмолвии, и жизнь, насколько известно, есть лишь на одном из этих шариков, да и та не более чем пыль, налипшая на его поверхность, а главное — зачем? Он погрузился в глубокое, тихое уныние, задумался о том, как всю свою недолгую жизнь человек вертится, как неистовствует, прежде чем войти в это безмолвие, и на его губах появилась печальная улыбка. Ясно было, что уже совсем скоро его поглотит хаос, что наказание неминуемо, а потому он испытывал особое тихое удовольствие, сидя в одиночестве в своем кабинете: чернила в книге расходов еще не просохли, письмо засунуто обратно в конверт, надеяться больше не на что. И когда дверь кабинета распахнулась, Мэтью Аллен тотчас же вскочил.

— Как это понимать, я вас спрашиваю? — прокричал Альфред Теннисон. — Как это понимать?

— Вот уж не знаю, — ответил Мэтью Аллен. — Боюсь, вам придется объяснить мне, о чем речь.

— Объясню, не беспокойтесь! — Теннисон стоял, выпятив подбородок, склонив набок голову, запустив обе пятерни в шевелюру, и горящим взором глядел на доктора сверху вниз. Он еле сдерживался, гнев выбил его из колеи, нарушив обычный покой и наделив непривычной быстротой и свирепостью. Поэтому он заговорил со всей возможной внятностью, не переставая цепляться за волосы, чтобы не вспылить. — Я только что говорил с братом. И он сообщил мне с некоторой неохотой, за которой читался страх перед ненужными страданиями и беспокойством, что некоторое время тому назад вы просили у него денег, хотя мы вам с самого начала ясно дали понять, что Септимус не будет вкладывать деньги в ваш проект.

— Верно. Я действительно предлагал ему вложить некоторую сумму в наш проект в свете грядущего...

— Потому что вы на мели. Потому что ваша дурацкая машина так и не начала делать деньги. А я тем временем получаю письма от остальных членов семьи, где они тревожатся о процентах, которые вы давным-давно обещали выплатить. Между тем от вас не приходит ровным счетом ничего.

— Прошу вас, успокойтесь. Позвольте, я покажу вам счета. — Наконец-то настал их час, не зря он корпел над ними столько времени. Аллен взял в руки книгу расходов и шагнул навстречу разгневанному поэту. Тот схватил его за плечо и оттолкнул.

— Хватит болтать, этакого и черномазый бы не стерпел! Не хочу я смотреть на вашу цифирь. Нет уж, я хочу, чтобы были выплачены первые проценты. Я вам доверился. А вы нагрели мою семью на восемь тысяч фунтов и теперь клянчите у Септимуса еще тысячу. — Теннисон был очень силен. Аллен, ослабленный болезнью, мешком болтался у него на руке, а над ним, словно коршун, нависало большое, грязное, большеротое лицо. Страх сжал гениталии, что было даже по-своему приятно. Хотелось, чтобы этот взрыв гнева подмял его под себя, очистил, разрушил. — Мой отец умер, — продолжал Теннисон. — Деньги, которые мы вложили в вашу машину, были нашим наследством. А теперь, похоже, мы его теряем. Вы не первый месяц втираете нам очки и кормите обещаниями.

— Деньги семьи. Той самой семьи, которой вы тяготитесь. Нет бы спасибо сказали.

— Не ваше дело!

— Вы не только вернете свой капитал, но и приумножите его. Все что нужно — это немного времени.

— Я думал, вы человек незаурядный, на голову выше людского стада. Я вам доверился. Но нет, вы такой же баран, как и все. Грязный, жадный и ни на что не способный.

— Неправда. Отпустите меня.

— Жалкий торгаш. Ничтожество. Жулик. — Поэт встряхнул его обеими руками. Аллен прижал к груди книгу расходов, его веки подрагивали от дыхания великана Теннисона. — Я не позволю вам погубить меня, Мэтью Аллен! Я заставлю вас выплатить мне долги. И всей моей семье! Зачем, зачем вы так с нами обошлись?

— Да нет же. Все будет в порядке. Я ваш друг. Послушайте, у меня есть идея: я застрахую свою жизнь в вашу пользу. Это абсолютная гарантия.

— Чего?

— Что вы получите обратно свои деньги.

— Но для этого нужно, чтобы вы умерли?

Крузо принялся обдумывать свое бедственное положение и обстоятельства, в которых он оказался, попав на этот остров. Для ясности он противопоставил хорошее худому, словно дебет и кредит, уподобив тем самым бухгалтерской книге свой блокнот, страницы которого сморщились от морской воды.

Худо: я не могу защитить себя, если на меня нападут умалишенные, разумные люди или дикие звери.

Хорошо: я стойкий и прославленный боец и готов постоять за себя кулаками.

Худо: с тех пор как мой корабль потерпел крушение, я лишен любви своих жен, удовлетворения мужских потребностей и улыбок детей.

Хорошо: еды хватает. Добывать пропитание не нужно.

Худо: я один-одинешенек.

Худо: я не там, где должен быть, не дома.

Худо: меня мучают воспоминания, фантазии и приступы бесчувствия.

Худо: моих стихов давно никто не читает и не знает.

Хорошо: природа для меня мать родная, и здесь она со мною, как и везде, только лик ее странен, ибо очень уж не похож на те края, которые я люблю.

Худо: я хочу Марию.

Худо: я могу тут умереть, и хочу Марию, и даже немного жалею, что не погиб во время шторма.

Воск и лаванда. Запах дома — вот что подействовало на Ханну сильнее всего. Скатерти, обивка — все благоухало травами, а полированное дерево испускало едва заметный умиротворяющий аромат. В прихожей гиацинт в горшке разливал вокруг себя душистый запах, который так и хотелось сравнить со светом яркой лампы. Быть может, дом был и мал, но ладен, чист и тих. Везде были постелены новые ковры, по темно-красному полю вился затейливый узор, а ворс поднимался над полом по меньшей мере на дюйм. Они сидели за чаем, и солнечный свет падал на них сквозь окно с эркером, золотя чашки.

Тому, что из Доры получится отменная жена, удивляться не приходилось, но уют Ханну приятно удивил. Она и представить себе не могла, насколько ей здесь понравится. Джеймс со всей очевидностью гордился респектабельным очарованием своего семейного очага и сам себе улыбался, когда его гости в очередной раз выказывали восхищение. Дора чувствовала себя не столь непринужденно. Она не сводила глаз с брата и сестры и неусыпно следила за соблюдением приличий. Когда Фултон доел свой кусок пирога и откинулся

в кресле, вытирая рот салфеткой и шумно вдыхая через нос, она взглянула на него со значением. Глядя, как Дора безмолвно осуждает и порицает Фултона, Ханна исполнилась злорадства и решила подразнить сестру.

— Надеюсь, это твой лучший сервиз. Помнится, на свадьбу вам их подарили два.

— Ну, разумеется.

Ханна ощутила, как ее шея, а следом и лицо, покрываются красными пятнами. Ей вдруг стало стыдно. И резкость, прозвучавшая в ответе Доры, была более чем к месту. Потешаться тут совершенно не над чем. Зато успехи Доры заслуживают уважения. Доре всегда хотелось покоя и благопристойности — и вот они тут как тут. Дора не спрашивала, что творится дома, потому что ей до этого не было дела. Все эти разговоры об описи и продаже имущества были ей отвратительны. Она даже не интересовалась здоровьем отца, памятуя о том, что его подкосило. Она считала, что ей ни к чему об этом знать. Они с Джеймсом — новое поколение, у них свой дом, где они защищены от причуд ее родителей и больше никогда в жизни не встретят ни одного сумасшедшего.

Фултон вежливо поинтересовался у Джеймса, как идут дела в банке.

— Какое чудесное окно, — сказала Доре Ханна.

— Да, — ответила Дора, — весь полуденный свет наш.

Любить жизнь, которая осуществима, — в этом есть своя свобода. Возможно, только в этом она и есть. Подобный дом был вполне осуществим. Ханна вполне могла полюбить такую жизнь, ее надежность, покой собственных детей. Чарльз Сеймур уже после того, как сбежал, прислал ей письмо, где благодарил за их разговор во время сбора ягод. Ведь это она напомнила ему, что следует быть мужественным. Наставила на путь истинный. Он так ничего и не понял. И удрал. Прочтя письмо, она сразу же его сожгла и потом плакала в одиночестве.

Отрезав вилкой треугольничек пирога, она отправила его в рот.

Абигайль подросла. Она точно знала, ведь теперь, когда она взбегала по лестнице, ее глаза были вровень с круто взмывавшими вверх перилами. А еще она теперь дотягивалась до кое-каких полок в кладовой, и кухарке даже пришлось переставить повыше изюм. Кроме того, за столом ей стало видно не только столешницу, но и лица родителей — напряженные, озабоченные, с безжизненными, невидящими глазами.

Она подбежала к отцу и положила руку ему на колено. Он взглянул на нее мутными кроличьими глазами и сказал: “Не

сейчас, дочка". Абигайль склонила головку, чуть откинулась и игриво взглянула на него из-под бровей. Это был верный способ умаслить родителей, да и вообще кого угодно, и вызвать у взрослых улыбку. Но сейчас у нее ничего не вышло. Тогда она пододвинулась поближе, чтобы ухватить его за ухо, но он сердито встряхнул головой, словно норовистый жеребец: "Дочка, не приставай".

Когда в комнату вошла мать, отец совсем утонул в кресле и кашлянул. Абигайль ясно видела, да и трудно было не заметить, что он изображает, будто болен сильнее, чем на самом деле, лишь бы добиться участия матери. И в самом деле, Элиза остановилась около него и погладила по широченной куртке, закрывавшей его спину. Он снова кашлянул. Абигайль тоже готова была выказать ему участие, но чувствовала, что сейчас она ему не нужна. Ему нужна была мамочка. Вид у Элизы тоже был не слишком радостный, и Абигайль, обогнув отца, подошла к ней и ласково прижалась к юбке. Ее нежность была вознаграждена: мать опустила руку ей на плечо. Абигайль всегда старалась утешить ближнего, сделать окружающих хоть немного счастливее, чему и посвятила всю свою оставшуюся жизнь. Она преданно жила при матери еще долго после болезни отца, которая, пусть он поначалу и преувеличивал ее тяжесть, все-таки имела место и вскоре свела его в могилу. Потом место матери занял муж, который никогда не был с ней добр и ласков настолько, насколько мог бы, потому что у него просто не было в этом нужды.

— Боюсь, больше нам отдать нечего, — сказала мать отцу.

Отец кашлянул с крепко сжатыми губами, потом сказал:

— Они оставят нас без гроша. Долгие годы работы, все до последней спички — все достанется этим Теннисонам.

Вошел Фултон и с неприкрытым отвращением уставился на повернувшиеся ему навстречу унылые лица родителей. Ничего не сказав, он вышел и хлопнул дверью.

Зашелестели листья, повеяло выпивкой. Кто-то от нечего делать тискал в руках гармонику, нет бы сыграл, а то лишь извлекал из нее время от времени отдельные тихие звуки. На костре пузырилась похлебка из заячьего мяса. А напротив девушки проворно вырезали короткими ножами прищепки на продажу, словно яблоки чистили.

Юдифь рассказывала ему о двоих недостающих.

— Назвал нас гнусным племенем и что гнать нас надо изо всякого ци-ви-ли-зованного государства. Его это слова, так он мне и сказал. И что стереть нас надо с лица земли. Стереть, да.

— А сам священник.

— Христианин.

— Ну, или прикидывается, — сказал Джон.

— Вот-вот. Прикидывается. Еще месяц-другой назад это была общая земля, и что бы она ни родила, что бы ни вскормила, — все было общее, как воздух божий. А теперь тут эта железная дорога, а парней наших в тюрьму. И ведь никак не узнаешь, вот разве из табличек, а они читать-то не умеют, неграмотные. А детки без отцов остались.

— И когда их выпустят?

Она покачала головой, как если бы никогда, потом сказала:

— Через год или два. А может, раньше, так я думаю.

— И вы теперь отсюда уходите.

— Мы лес любим, в лесу еды много. Но нас стали слишком уж часто тревожить по ночам, в кибитки лезут, а собаки наши с ума сходят. Поедем пока в Кент на ярмарку. Нам и самим туда охота, по правде сказать. Там все наши собираются.

— Развлекаться, стало быть, на ярмарку.

— Ну не я, — ответила Юдифь. — Ежели я чего и могу, то только болтать. Ну, может, погадать кому. В былые времена я могла подняться в четыре утра, и прыгать, и скакать, и что хочешь делать. А теперь уже ни на что не гожусь. Вон она там весело проведет времечко, — и Юдифь указала трубкой на одну из девушек, вырезающих прищепки. — Встретится со своим любезным дружком. Вон, руки от страсти дрожат. Вишь, что вытворяет.

Если до девушки что-то и донеслось, то она сделала вид, что ничего не слышала, и зашептала что-то через плечо своей соседке слева.

— И он туда приедет, да? — спросил Джон, ни с того ни с сего ощутив внезапный укол ревности.

— Приедет, а как же. Они лет с девяти не видались, тогда и обещались друг другу, и с тех пор как хотят зазнобе-то своей весточку послать, так люди и передают из уст в уста, ежели кто куда едет. Но в Кент его люди приедут тогда же, когда и мы.

— Понятно, — Джон отхлебнул еще вина. — Сейчас вернусь, — сказал он и поднялся на ноги.

Мягкий свет, пробивающийся сквозь листья. Джон расстегнул штаны и, придерживая правой рукой живот, пустил струю меж уходящих вглубь толстых корней граба. Он думал о девушке, о ее любви, о том, как влюбленные идут по жизни порознь и как жизнь теперь воссоединит их, как они наконец сольются в единое целое. Что за волнение, должно быть, кипит у нее в груди! Подлинная страсть. Вот и у Джона тоже. Тут и одиночество, и скитания, и тоска по дому, по

Марии. Как ей удалось сохранить верность и преданность, когда весь мир сбился с пути истинного? Он почувствовал, что ноги промокли, и увидел вокруг башмаков натекшую с корней лужицу. Придет же в голову мочиться в горку! Вот так всегда и бывает, когда живешь в четырех стенах и мочишься исключительно в ночной горшок. Он вытер носки башмаков о землю.

Продираясь обратно сквозь ветви деревьев, он прокричал:

— А как отсюда выбраться? Расскажите. Как выбраться из леса?

— Выбраться? Куда?

— На север. В Нортгемптон.

— На север ведет Энфилдская дорога.

— И как ее найти?

— Если хочешь, мы оставим тебе знаки, когда будем уходить. Узелки на ветках. Они тебе подскажут дорогу.

— Правда оставите?

— Если хочешь.

— Хочу. Только, чур, это между нами.

— Между нами? Да у нас тут все между нами. Мы попусту не болтаем.

— А я их точно увижу?

— Увидишь, не беспокойся.

— Полагаю, у вас есть все шансы.

— Полагаете?

— Ну, — Томас Ронсли заерзал в кресле, — ваш муж взялся осваивать рынок, пока никем не занятый.

— А значит, он не может знать наверняка, — сказал Фултон и пристально посмотрел в обеспокоенные глаза матери.

— Да, он не может знать наверняка. Никто из нас не может. Но это не означает, что...

— А скажите, если бы это была ваша компания, вы стали бы действовать так же?

— Фултон, прекрати допрашивать нашего гостя!

— И все-таки?

— Я... — Ронсли поднял руки и оглянулся на молчавшую Ханну. — Ну, в общем, да, полагаю, что так же.

— Так почему же вы преуспеваете, а мы...

— Фултон!

— Ваш отец — в высшей степени неординарный человек, тут у меня нет никаких сомнений.

На самом деле его сомнениями был пропитан весь воздух в доме. Фултон задумался, уставившись в ковер.

— Однако я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать доктора Аллена.

— В самом деле? — полюбопытствовала Элиза.

— Да. Я хотел бы, если можно, поговорить с Ханной.

— Вот оно что.

Ханна почувствовала, что все смотрят на нее, и мучительно покраснела. Ну зачем же всем об этом сообщать и выставлять ее на посмешище? Мать и брат поднялись, чтобы оставить их наедине, словно ее пришел осмотреть врач.

— Что ж, тогда мы не будем вам мешать, — сказала Элиза.

Ханна подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Ну конечно, мать снова зажала между зубами кончик языка — что за дурацкая привычка! Ханна поскорее опустила глаза, сжала зубы и почувствовала, как губы вытягиваются в тоненькую ниточку.

Дверь закрылась. В комнате воцарилась тишина. Они остались вдвоем.

— Вот, стало быть, — начал Ронсли и умолк. Он многозначительно положил руку на стол, будто бы вновь намереваясь заговорить, но так и не собрался. Вместо этого он забарабанил пальцами по столу.

Почему он решился заговорить об этом сейчас? Почему не в другой раз, почему не тогда, когда он лучился жизнелюбием и обаянием? А ведь она видела его и таким. Но нет, он смотрел хоть и в сторону Ханны, но мимо нее, и барабанил пальцами по столу. Наконец он выдавил:

— А может, пройдемся? В саду должно быть хорошо, вам не кажется?

— Пожалуй.

В итоге они тоже ушли, и в комнате никого не осталось. Эта опустевшая комната внезапно вызвала у Ханны чувство неловкости, хотя она и не взялась бы ответить почему. Когда они вышли в прихожую, Ханне первым делом подумалось, как тихо, безлюдно и покойно стало теперь в комнате.

Томас Ронсли помог ей надеть пальто и подождал, пока она застегнет перчатки.

Ветер был холодный, но не слишком сильный. На половине деревьев проклюнулись маленькие листочки, по небу плыли облака. Самый обычный день. Ничто не предвещало того, что сегодня произойдет нечто особенное.

Ронсли, сцепив руки за спиной, вышел из дома. Отойдя на некоторое расстояние, откуда, должно быть, открывался милый его сердцу вид на аллею и лес, он остановился.

— Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна.

— Ну конечно, — парировала она. — Цветы. Визиты.

Он помотал головой, что-то бормоча себе под нос, словно ему помешали. И начал заново.

— Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна. — Ханна могла себе представить, сколько раз он прокрутил все это в уме, сколько раз продумал, где именно они остановятся, что именно он скажет, и эти его серьезность и безрадостность были лишь показателем того, сколь сильно он желал, чтобы все вышло как положено. И, разумеется, в ее власти было, подчинившись его мечтам, сделать так, чтобы все выдуманное им стало явью. Она, развеявшая по ветру так много собственных фантазий, могла даровать ему это чудо, и ей страстно захотелось именно так и поступить.

— Я прошу вашего разрешения просить вашего отца о разрешении, — он моргнул, словно сомневаясь, что произнесенное им имеет хоть какой-то смысл, — о разрешении просить вашей руки.

— Да.

— Ханна. Вы бы согласились стать моей женой?

Ханна улыбнулась и честно ответила:

— Согласилась бы.

— Ах! — улыбнувшись, он поднял сжатые кулаки, но тотчас совладал с собой. Ведь пока нельзя сказать, что дело сделано, еще не все его мечты нашли свое воплощение.

— Можно... можно мне поцеловать вашу руку?

Ханна широко распахнула глаза. Сердце ее при этих словах заколотилось. Ну, наконец-то вздыхают и целуют.

— Да, — прошептала она и протянула ему правую руку.

Томас Ронсли ухватился за нее обеими руками и, не говоря ни слова, перевернул и принялся расстегивать пуговки на перчатке. Должно быть, и это он себе тоже намечтал. Она глядела, как он нежно стягивает с ее руки перчатку, как, не решаясь перевернуть, держит ее в своей, как наклоняется, как целует руку, горячо дыша и щекоча бородой, а потом зажимает ей пальцы в кулак, будто бы только что дал ей монетку.

Складывая книги, он курил. Выдыхал клубы дыма, чуть поджимая губы, и читал названия на корешках. Purgatorio[1]. Так он и не одолел итальянского, чтобы прочесть Данте в оригинале. Ну, разумеется. И никогда не одолеет. Он вернется в Сомерсби, но и там ничего не сможет. Нет, он уйдет туда с головой и растает, словно дым в воздухе. Его окружат тени предков, их черная кровь будет течь у него по жилам. Выхода нет. Он ни-

1. Чистилище (*итал.*). Вторая часть "Божественной комедии".

чем не отличается от любого другого английского поэта, разве что притащил сюда с собой сумку, набитую неоконченными стихами, а новые, об Артуре, застряли у него в горле, но дело не в этом. В конце концов, если они и будут когда-то опубликованы, критики вновь примутся их хулить, и никакой Хэллем уже не встанет на его защиту. Нет, он возвращается ни с чем. Он вкусил мира, вкусил предпринимательства, и вот теперь он банкрот, его деньги поглотил безумный проект безумного доктора. Вот так унижение. Хуже того, ему придется вернуться в родительский дом и жить там, стараясь избегать лишних расходов. Он поверил прожектам доктора, сочинил несколько стишков, и все. Да и вообще он выдохся. Перегорел. Вот сейчас он закончит упаковывать свои книги. Придет слуга, уберет комнату, изничтожив все следы его пребывания. И отправится он в Сомерсби курить, угасать, а если будет настроение, сочинять новые стихи об Артуре.

Ханна не слушала, что говорил отец. Слушала мать, сидевшая рядом с нею у органа. Низко склонив голову, Элиза неотрывно смотрела на свои красные скрюченные пальцы, покоившиеся на коленях. За последнее время Ханна не раз заставала ее замершей вот так, в одиночестве. Мать сидела, съежив узкие плечи, отчего делалась похожа на наказанную девчонку. А потом быстро поднималась и становилась по-прежнему деятельной.

Ханна рассеянно глядела на регистры органа, на клавиши цвета слоновой кости. У каждого регистра свой голос, и перечень этих голосов бряцал у нее в голове всякий раз, когда она сидела рядом с матерью, переворачивая ноты: Рожок. Бомбарда. Тридцатидвухфутовый тромбон. Микстура. Гемсхорн. Дульциан. Малая труба. Приходили они на ум и теперь, но не приводили ее в бешенство, как прежде, а звенели радостно, словно птичьи трели в саду, а ведь всего-то и дела было, что вспомнить о лежавшем у нее на туалетном столике письме Томаса Ронсли, о его обещаниях, об ожидавшем ее будущем.

— Горе разделяет людей, — вещал доктор Аллен, вцепившись обеими руками в кафедру. Он взирал на своих безумцев, взывал к ним. — Вот зачем оно нужно. Его ниспосылает нам Господь, чтобы заставить нас обратиться к Нему, чтобы показать, что лишь Он — единственное наше истинное спасение, чтобы увести нас от столь ненадежного непостоянства наших собратьев в храм Христов.

Маргарет смотрела на говорящего в упор. Красные глаза выдавали его с головой: в нем тоже жили черти. Но бояться

ему нечего. Она непременно должна ему это сказать. Даже если они разрушат его бренное тело, бояться нечего. Все будет хорошо. И в самом ближайшем времени. Можно даже не сомневаться. Ее собственное спасение — лишь начало. Радость избавления бурлила внутри нее.

Ханна отвлеклась от своих мыслей лишь тогда, когда мать взмахнула руками и принялась располагать их на клавишах, за которыми теснились переменчивые голоса.

За отбытием больных надзирал Уильям Стокдейл.

Джордж Лэйдло вновь горячо пожал доктору руку.

— Спасибо, — сказал он, — спасибо. Нет слов, какое облегчение вы мне приносите.

— Очень рад, — откликнулся Аллен, собирая бумаги, и Джордж Лэйдло нехотя заковылял прочь, к своей неизбывной вине, к бесконечным подсчетам Национального Долга.

И вот он шагает долой отсюда, домой, наконец-то домой. Завидев Питера Уилкинса, он приподнял шляпу, а тот, открывая ворота, утвердительно кивнул, опустив долу свое затейливое лицо. Он ступил на тропу и вошел в лес. Добравшись до места, он обнаружил, что они ушли. Они ведь предупреждали, что могут уйти. Ни кибиток, ни лошадей. Выжженное кострище забросали сухими листьями и ветками. На земле валялась широкополая шляпа, которую трепал, но не мог сдуть с места ветер. Вид этой шляпы навевал печаль, но грустить ему было некогда. И ведь ни знака не оставили, ни ленточки не привязали где-нибудь на виду. Дружелюбные, непокорные и ненадежные, они просто поднялись и ушли. Он на миг присел, по теням и по заросшим мхом стволам определил, где север, и тронулся в путь. Мелькающие тени, вновь и вновь обрывающийся забор из деревьев. Он должен просто продолжать идти, сколь бы ни был скучен его путь, одолевая расстояния с ворчливой настойчивостью барсука, и в конце концов он придет, будет дома, будет свободен, будет с Марией. И он был прав, пусть и отчасти: Мария умерла, но он вернется домой к своей жене, в свой дом, к своей жизни и даже проживет там некоторое время, пока окончательно не лишится рассудка и не станет совсем уж неуправляем. Тогда его сдадут в Нортгемптонширский сумасшедший дом, из которого он уже никогда не выйдет. Оставшиеся двадцать три года его жизни пройдут в тех стенах. Там он и умрет в забвении и в заточении, никакой уже больше не поэт.

Он уходил из леса, от доктора, от других больных, от издевательств Стокдейла. Одолевая несмолкаемый шум деревьев, пробивался к тишине. Белый день. Мягкий ветер в

лицо. Выбирая дорогу до Энфилда, он ошибся. Заглянув по пути в трактир, спросил, куда теперь идти. Миновав Энфилд, встал на Большую Йоркскую дорогу, по которой шагал на север, пока не стемнело.

С наступлением сумерек его начало шатать. Надо было поесть, хотя бы хлебнуть воды, но он опасался вызвать подозрения. Ноги ослабли, коленные чашечки пронзила острая боль. На глаза ему попалось обнесенное забором пастбище с прудом и скотным двором. Приподняв гнилые доски, он прополз за ограду. Там обнаружился роскошный тюк клевера, шесть на шесть футов. Забравшись на него, Джон почувствовал в уставших ногах отголоски ходьбы. Он погружался в клевер, словно спускающаяся на землю птица, уходил все глубже и глубже. Спал он беспокойно, и снилось ему, что рядом лежит Мария, но потом ее у него забрали. Проснулся он затемно, один-одинешенек. Почудилось, что кто-то совсем рядом произнес: "Мария", однако, обыскав скотный двор, он никого не обнаружил. Подняв глаза к небу, он нашел Полярную звезду и лег головой на север, чтобы, проснувшись, знать, куда идти.

Поднялся он поздно. Было уже совсем светло, утренний туман рассеялся, да и роса почти высохла, и все же его никто не заметил. Возблагодарив Господа, он вернулся на дорогу.

Он шел, опустив голову, не обращая внимания на редкие кареты, считая пройденные мили. Еще немного, и надо будет поесть или хотя бы выпить, придется искать еду.

Он снял ботинки и высыпал колкие камешки. Подметки стерлись и начали рваться. Скакавший навстречу, в сторону Лондона, всадник сказал: "А вот и еще один косарь не у дел" — и бросил ему пенни, засверкавший на солнце. Джон поднял монетку и крикнул вслед всаднику слова благодарности. Свой пенни он обменял на полпинты пива в таверне под названием "Плуг", где укрылся от проливного дождя, без устали барабанившего по толстому неровному стеклу в окне таверны.

Вновь отправившись в путь, он миновал за милей милю, сам того не замечая, но к ночи голод и усталость сделали свое дело, и мили стали длиннее. Дойдя до деревни, он решился постучаться в один из домов и попросить огня, чтобы разжечь трубку, а потом попытать милосердие здешнего викария. Старуха провела его в маленькую гостиную, где девушка расшивала кружевами подушку, а напротив нее сидел джентльмен и глядел во все глаза. Джон спросил, как найти дом викария, но никто ему не ответил. Может, у него пропал голос? Но ведь он явственно себя слышал. Старуха принесла ему горящую свечку. Он втянул дым, голова закружилась. Девушка что-то сказала, не поднимая головы. Джентльмен улыбнулся.

Вновь выйдя на дорогу, он натолкнулся на разговорчивого и участливого селянина, который шел ловить почтовую карету. Тот сообщил, что викарий живет очень уж далеко, пешком не дойти. Джон спросил, где тут можно устроиться на ночлег, нет ли поблизости, к примеру, амбара с сухой соломой. Селянин ответил, что неподалеку есть постоялый двор "У барана", и велел идти за ним. Однако Джон далеко не ушел, вскоре ему пришлось присесть отдохнуть на груду кремня. В желудке жгло от голода, ноги отказывались идти. Селянин был добр и не торопился уйти, но, заслышав звон церковных колоколов, все же поспешил прочь, чтобы не упустить почтовую карету.

Постоялого двора Джон так и не нашел. Он прилег отдохнуть в тени вязов, но шумевший в их кронах ветер не давал уснуть. Когда начало темнеть, он встал, чтобы отыскать место получше. В разрозненных домах вдоль дороги, таких уютных и таких отчужденных, уже горел свет.

В конце концов ему попалась на глаза вывеска "У барана", но денег у него не было, так что зайти внутрь он не решился. К дому был пристроен сарай, но мимо то и дело сновали люди, и Джон не осмелился к нему приблизиться. Вместо этого он вновь двинулся в путь. На дороге было темно, а там, где на нее отбрасывали тень деревья, ветви которых тихо колыхались на ветру, еще темнее.

Подойдя к скрещению двух дорог, он от усталости не смог сообразить, где север, а где юг. И решил, что ничего решать не будет, а просто пойдет куда глаза глядят, но вскоре понял, что ошибся и снова идет туда, откуда пришел, с каждым шагом становясь все ближе к Фэйрмид-Хауз, к Лепардз-Хилл-Лодж, к темному лесу. Уже не в силах идти, лишь еле-еле шаркая ногами навстречу тьме, он слушал собственное горестное поскуливание. Ему даже показалось, что он и не идет вовсе, а топчется на месте в бесконечном мраке. Вдруг впереди задрожал свет, то опадая, то поднимаясь с каждым его шагом. Застава. Когда он, наконец, добрался до двери и постучал, глаза уже не могли вынести этого света. Появившийся на пороге человек со свечой в руке просверлил его недружелюбным взглядом. Язычок пламени уплывал куда-то вбок. Джон спросил, правильно ли идет на север. "Вон за теми воротами", — ответил человек и захлопнул дверь.

Джон словно обрел второе дыхание. Шагая, он мурлыкал себе под нос старую песню о Марии с гор[1]. Выпевал ее имя. Все ближе и ближе к ней.

1. Песня Роберта Бёрнса, написанная в 1792 г.

Но силы вновь оставили его. Заприметив у дороги дом с большим крыльцом, он заполз туда и растянулся на досках. Ему как раз хватило места, чтобы вытянуть шишковатые ноги. Он напомнил себе, что надо будет подняться раньше здешних жителей. От дома исходил покой, к которому он потянулся, словно ребенок к матери. Все обитатели дома спали. Он слышал их храп и поскрипывание соломенных матрасов.

Проснувшись на рассвете, он вновь ощутил прилив сил. На западе небо было белым и голубым, а на востоке, прямо над головой, раскинулась дорога, вымощенная ярко-розовыми облаками. Джон вознес хвалы двум своим женам, своей дочери — королеве Виктории, и вновь тронулся в путь.

Пройдя несколько миль, он остановился отдохнуть у ограды какого-то поместья. Из ворот парка вышла высокая цыганка. Джон спросил, куда это он пришел, она объяснила. С виду она показалась ему женщиной честной и порядочной. Они дошли вместе до ближайшего города, и всю дорогу она едва слышно напевала. А там посоветовала Джону засунуть что-нибудь в шляпу, чтобы выпрямить тулью. "Слишком бросаетесь в глаза", — сказала она. Когда им пришла пора расставаться, поскольку ей нужно было в другую сторону, она подсказала ему, как пройти короткой дорогой мимо церкви, но он не решился срезать путь, ибо из-за голода и усталости боялся заблудиться.

Мир вокруг него начал гаснуть, исчезать. Остались лишь боль в коленях, голод, тяжесть в руках и биение в левом боку. У поля вдоль дороги он увидел сточную канаву и прилег туда поспать. Проснувшись, обнаружил, что замочил бок. Но поднялся на ноги и пошел во тьму, в ночь, во всеохватную мглу.

Утром его осенило. Он опустился на четвереньки и принялся есть сырую траву. Сладкая и незамысловатая, она была сродни хлебу. Тут он сообразил, что может съесть и кое-что еще, вытащил из кармана табак и принялся жевать его на ходу, сглатывая горькую слюну, пока не доел весь свой запас.

Он шел и шел. Труднее всего было идти по прямой. Перед ним возник город Стилтон. Пройдя полгорода, Джон присел отдохнуть на посыпанную гравием дорожку и услышал молодой женский голос: "Бедняжка!" Женский голос постарше отозвался: "Да он притворяется". Когда он, зашатавшись, поднялся на ноги, старухин голос поправился: "Да нет, не притворяется". Не обернувшись, он пошел дальше.

Пройдя город насквозь, он собрался с силами и спросил у попавшейся навстречу молодой женщины: "Я дойду по этой дороге до Питерборо?" — "Да, — ответила она, — это дорога на Питерборо". Дом. Он почти дома. Он стер с носа слезы.

На окраине Питерборо его окликнули с телеги мужчина и женщина. Они оказались хелпстонские, из его родной деревни, и признали в нем своего бывшего соседа. Согнувшись в три погибели, он крикнул им, что не ел и не пил с тех самых пор, как вышел из Лондона. Они бросили ему с телеги пятипенсовик. Со словами благодарности он подобрал монетку и помахал им на прощанье своей вконец развалившейся шляпой.

У моста, над шумной речкой, Джон увидел маленькую таверну, где его пять пенсов превратились в хлеб и сыр на два пенса и в две полпинты пива. Жуя, он задремал, не в силах держать глаза открытыми, но вскоре пища придала ему сил. Он зашагал дальше, ноги после отдыха болели сильнее, но присесть у дороги он уже не мог: дом слишком близко, и, если его увидят знакомые, — стыда не оберешься.

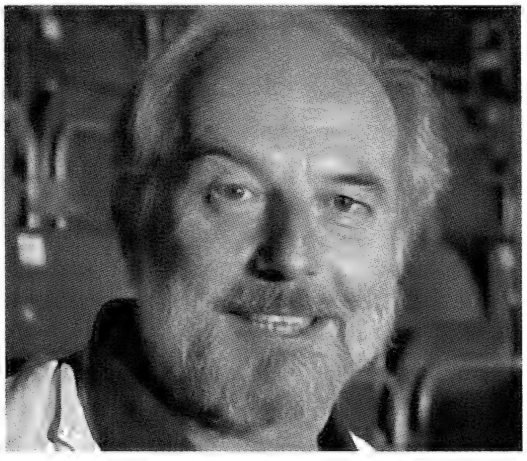
Питерборо. Улицы. Окна. Люди. Лошади. Питерборо тает у него за спиной. Потом Уолтон. Потом Веррингтон. Еще миля-другая — и он на месте. Подле него остановилась телега, где сидели женщина, мужчина и мальчик. "Садись!" — крикнули ему, но он отказался: он уже совсем рядом, не стоит беспокойства. Однако женщина настаивала с такой страстью, что он даже озадачился, в своем ли она уме и не пьяна ли. "Я Пэтти, — сказала она. — Пэтти, твоя жена. Садись же". Они втащили его в телегу, и он, растянувшись на спине, проехал оставшиеся до дома несколько миль лежа. Глазел на облака, плывущие над головой. Чувствовал шершавые поцелуи Пэтти на своих щеках. "Джон, — говорила Пэтти, — бедный Джон. Ты почти дома. Ты тут". У него получилось. Все осталось позади. Пэтти стерла грязь с его лица своей чистой тяжелой рукой. Погладила по голове. Ноги у него задергались. Он повернулся лицом туда, откуда шел ее запах. Облизнул потрескавшиеся губы.

— Пэтти, — прошептал он. — Пэтти.

— Да, это я. Мы почти дома.

— Мария.

Томас Хюрлиман



Рассказы

Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

Послесловие Татьяны Баскаковой

Вечерняя чарка

Действие первое

Наканун своего семидесятилетия поэт Готфрид Келлер сидел на террасе отеля высоко над Фирвальдштетским озером, пил гумпольдскирхенское и смотрел в сумеречную даль. Здесь, наверху, его никто не знал. Зелисберг, прильнувший к крутому скалистому склону в глубине Швейцарии, был курортом, благами которого пользовались господа со всей Европы и даже из Америки, но почти не пользовались сами швейцарцы. Келлер поднял бокал. Июльский вечер выдался теплым, вино было добрым, с каждым глотком он чувствовал себя все лучше. Завтра ему исполнится семьдесят — круглая дата, самый большой праздник его жизни, он же, юбиляр, обвел всех поздравителей вокруг пальца. В гранд-отеле "Зонненберг" удалось снять номер под чужим именем. Он залпом осушил бокал и в приливе радужного настроения пред-

© Ammann Verlag, 2009. All rights reserved by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
© Анатолий Егоршев. Перевод, 2012
© Татьяна Баскакова. Послесловие, 2012

ставил себе, как мужские хоры и студенты с факелами, собравшись перед его цюрихской квартирой, будут напрасно сотрясать воздух песнями и радостными кликами: Келлер, давай же, выходи! Ура! Ура! Ура-а-а!

У подножья горы, возле поляны Рютли, прогудел пароход. А вслед за тем раздался звонкий смех: две девушки, приветливо кивнув ему, скрылись за дверями отеля. Ах ты, старый пес, подумал Келлер, как ты рад, что не чувствуешь больше зуда от блошиных укусов страсти.

С наступлением сумерек часто приходила тоска, поэтому, наперекор подагре, Келлер решил посидеть за бокалом вина еще какое-то время. Он боялся помпезной пустоты своей комнаты. Там он лежал бы сейчас на двуспальной кровати, сам ненамного больше ребенка, разглядывал бы потолок и тускнеющий в полумраке узор обоев, а потом, вдруг, на нижний конец ложа опустилась бы черная птица — его тоска.

— Es timmeret[1], — заметил, наполняя ему бокал, долговязый герр кельнер. За минуту до этого он вышел на террасу и журавлиной походкой приблизился к гостю. Поставив бутылку на сервировочный столик, он откашлялся в белую перчатку и явно ожидал, что гость завяжет с ним беседу. Келлер остерегся делать это. Официант был из здешних, уроженец одного из лесных кантонов. Ему, цюрихцу-горожанину, люди этого склада были чужды. Когда-то они отвергли власть австрийских герцогов, прогнали со своей земли их наместников, стали сами себе господами, а ныне?.. Ныне они вьются около графинь, банкиров, королей угля и стали, неизменно рассчитывая получить на чай. Некогда свободные и смелые крестьяне превратились в холопов, сделались кельнерами и подручными игроков в гольф.

Под нежным, последним светом небес земля, казалось, обретала и даль, и ширь, и сумрачность. С альпийских лугов доносился перезвон колокольчиков. Зычным голосом, через буковый рупор, пастух монотонно оглашал окрестности вечерней молитвой. Одетый во фрак кельнер стоял теперь у парапета террасы; похоже, наблюдал, как пароход, тая в сизой дымке, пересекает озеро.

Я глубокий старик, мысленно сказал себе Келлер. Он сидел в плетеном кресле, прикрыв короткие ноги пледом, и пил — пил торопливо, пил, чтобы сохранить в душе веселость, хорошее настроение. Повеяло прохладой, темнело. Лишь озеро, будто могло само излучать свет, лежало, как зеркало из сереб-

1. Смеркается (*швейцарско-нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ра, в глубине темно-зеленого, полного теней ландшафта. Келлер улыбнулся. Годы состарили его, но не ожесточили. Он жил бобылем, но не чувствовал себя одиноким. Птица, рискнул он подумать, хоть и задела его крылом, но когтей в ход не пустила. Сегодня, в канун юбилея, тоска оставила его в покое. Кельнер выпрямил спину, обернулся и взглянул на него. Казалось, он хотел что-то сказать. Келлер втянул голову в плечи. С неба исчезали последние отблески света. Ни звезды, ни луны. Где-то закрыли окно, задернули шторы, перезвон колокольчиков поутих, доносился издалека.

Как вдруг...

Земля, окутанная ночным мраком, пробуждается, в приозерных селах и ближних долинах начинают звонить колокола, где-то совсем близко — треск, шипенье, вспышка, ввысь летит сноп огня, и вот уже все склоны, все вершины объяты пламенем — пейзаж лесных кантонов разом превратился в громадный летний театр с пышной иллюминацией.

Радужного настроения у Келлера как не бывало. "Was händ ächt die Tuble wider z fyre!"[1] — проворчал он.

Кельнер подошел ближе. "День рождения одного стихотворца!"

"Что вы сказали?" — Келлер поперхнулся.

"Да, — продолжал кельнер, понизив голос, — верится с трудом, но, увы, это чистая правда: таким вот фейерверком и звоном колоколов на всю округу тут решили отметить семидесятилетие некоего Келлера, Готфрида, поэта из Цюриха, не поскупились ни на дрова, ни на петарды". И хватили через край, по его, господина Венделина, мнению.

"Так, так", — буркнул Келлер.

А господин Венделин, с плохо скрываемой усмешкой: *Свет небесный, ты не поскупись, / Лейся в окна глаз моих, струись!*

Келлер сорвал с себя очки, потер большим и указательным пальцами глаза, хотя знал и видел: то был не сон и не плод хмельного воображения — герр кельнер, который столь нагло и уничижительно процитировал его, стоял в метре от плетеного кресла — долговязый, попахивающий потом. "Юбиляр имеет обыкновение слагать стихи именно в такой тональности, — пояснил он, — процитированные строки появились сегодня утром во всех газетах. Свет, льющийся *в окна глаз! Душа, очарованная блеском звезд!*" Так вот, ему, господину Венделину, такая поэзия кажется чересчур восторженной, старомодной; иначе, чем поблеклой лирической мишурой, ее не назовешь.

1. "Видно, этим олухам опять приспичило что-нибудь отпраздновать!" (*швейцарско-нем.*)

Поэт, в честь которого звонили колокола, а вершины гор горели, как факелы, дрожащей старческой рукой обхватил бокал. Смеяться ему или плакать? Кельнер убрал со стола пустую бутылку и вопросительно взглянул на него.

"Ja, – сказал Келлер, – bringed no e Guttere!"[1]

Он впился пальцами в прутья подлокотников. Кружилась голова. Теперь она была тут – птица была тут. "Вы меня не поняли? – крикнул Келлер с отчаяньем в голосе, – no e Guttere, еще одну бутылку, да поскорее!"

Ноги у кельнера были тонкие, он удалялся, шагая, как журавль. Фалды фрака развевались, захваченные волной холодного воздуха, которая поднималась с озера, не минуя и террасы отеля. Келлер тяжело дышал. Что делать? Бежать!

Поздно. Кельнер вновь стоял возле него и, откупоривая бутылку возле самого уха Келлера, с вызовом заметил, что находит гумпольдскирхенское весьма недурственным.

"Drum suuf en"[2], – сказал Келлер.

Действие второе

Венделин Лимбахер, которого благородные гости звали не иначе как "господин Венделин", гордился правом служить в гранд-отеле "Зонненберг" ("самом большом сооружении этого рода в Европе"). Здесь можно было удостоиться знаков внимания со стороны crème de la crème – графов, баронов, тайных советников юстиции самого высокого ранга и даже селфмейдмена из далекой Америки, его преподобия Дугласа Форреста, прибывшего сюда с супругой из Цинциннати. Да, любопытнейшая публика останавливалась здесь, наверху. Мадам Шилицици с семейством и прислугой, из Петербурга, целыми днями сидела в укромном гроте. Барон фон Штеффенс проводил время исключительно меж зеркальных стен комнаты для светских бесед, со скучающим видом созерцая себя в те минуты, когда его одолевала зевота. Полковник Кэмпелл из Лондона, похоже, с наслаждением лечился сывороткой, для чего ежедневно спускался в один из глубоких, вырубленных в скале подвалов. Что и говорить, оригиналы, но все они, истые ли аристократы вроде графа Чезаре дель Майо из Милана, или такие знаменитости из мира искусств, как фройляйн фон Браузеветтер (с прислугой) из Кёнигсберга, – все они и на сей раз устремились после Five o'clock в свои апартаменты, чтобы переодеться к ужину. Лишь один постоялец не сделал этого – карлик в плете-

1. "Да, принесите-ка еще одну бутылку!" (*швейцарско-нем.*)
2. "Потому его и употребляю" (*швейцарско-нем.*).

ном кресле. Он даже не привстал с кресла. Господин Венделин кашлянул — кресло не шелохнулось.

Он должен быть именно здесь, как только что стало известно, здесь, в отеле, собственной персоной — Готфрид Келлер, народный поэт и юбиляр. Остановился, говорят, под чужим именем — типичный каприз художника и, конечно же, с расчетом, что высокого гостя рано или поздно узнают. И тогда, по замыслу дирекции, приятно ошеломленного мастера слова пригласят выйти на террасу, чтобы он услышал колокольный звон и увидел огни, зажженные родиной в его честь.

Господин Венделин кашлянул снова, на сей раз громче, однако старикашка — он, похоже, ничего не замечал, ничего не слышал. Сидит в самом центре террасы и в ус себе не дует. Сущий камень преткновения, как сказал метрдотель Мюллер. Прежде чем пригласить поэта на террасу, надо убрать с нее ворчуна — вместе с его плетеным креслом.

Кашлянуть еще раз? Это было бы ниже его достоинства. Кроме того, работы ему хватало. В бригаде официантов он, господин Венделин, был самым рослым и потому единственным, кто, не пользуясь стремянкой, мог достать до проволоки, натянутой над парапетом террасы. Чиркнув спичкой, он зажег первый лампион, придал ему форму шара и, вытянувшись в струнку, подвесил его к проволоке. Затем взглянул вполглаза через плечо. Старикашка — его соотечественник. Этим и объясняется, почему он так дерзко игнорирует заведенный в отеле порядок: швейцарцы редко выбирают Зелисберг для отдыха, среди великих мира сего они ощущают себя не в своей тарелке. Быть может, рассуждал господин Венделин, это один из тех, что бунтовали в далеком 48-м. С бородой, лицо помятое, а вино лакает, как буренка воду. Господин Венделин брезгливо поморщился. Слава богу, люди такого склада постепенно сходят со сцены. Правда, непрочный союз кантонов они превратили в единое союзное государство, добились принятия конституции, которая гарантирует немало свобод, — но того духа, что вырвался в мир из их творений, они не понимают. Когда-то именно они пошли на баррикады, чтобы укоренить в народе идеи либерализма, а теперь с видом угрюмых всезнаек не устают твердить, что свобода, мол, не товар, что ее нельзя пускать с молотка. Их выводит из себя прокладка железных дорог, ведь рельсы-де уродуют наш ландшафт. А величественные гранд-отели видятся им — и взбредет же такое на ум! — геслеровскими крепостями, которые превращают швейцарцев в лакеев интернациональной аристократии, прихлебателей заезжих фабрикантов и толстосумов.

Нет, решил господин Венделин, с такими короткими ножками на баррикаду не взойдешь, это не старый герой-революционер. Скорее он походит на художника — может быть, пейзажиста.

Итак, нужно убрать брюзгу с террасы, причем как можно незаметнее. Келлеровские стихи тому явно не понравились. Это, подумал господин Венделин, может послужить зацепкой. Подойдя к плетеному креслу, он спросил, знает ли сударь имя того, кого сегодня чествуют по городам и весям. Быть может, даже читал его? С минуту царила тишина. Потом раздалось злобное рычание, посыпались непонятные проклятия, и снова — тишина.

Странный тип, подумал господин Венделин, пора от него отделаться.

Действие третье

Сколько же нелепого в этом мире! Келлер негодовал. Он хотел бежать от всех торжеств, речей и песнопений и вот восседает теперь, как Будда, посреди грандиозного спектакля, устроенного в его честь, — озаренный огнями на вершинах гор, с колокольным звоном в ушах. Мало того, в этом балагане, похоже, собирается участвовать и отель. В саду, близ террасы, — шаги, перешептывание, а кельнер, этот невыразимо жалкий прислужник, разукрасил ночное небо гирляндой из лампионов.

Вечно все складывалось нелепым образом. Всю жизнь он, коротыш, бродил, как дворняга, вокруг мамзелей и дам высоченного роста. Он, лирик от природы, написал толстенный роман, причем — верх несуразности! — в двух разных вариантах. Он стал мастером эпического жанра, но литературный мир — о нелепость за нелепостью! — принимает его всерьез лишь как мастера новеллы. *Люди из Зельдвилы*[1], творения его молодости, трусили за ним, как аккуратно остриженные пудели.

Кельнер стоял не шевелясь. Келлер, моргая, взглянул на него снизу вверх. В том-то и дело, что этот человек прав. И оттого мутит душу... *Глаз моих окошки распахнуть, / Солнца свет легко в себя вдохнуть, / Мир зовет нас, освещая путь.* Окошки его глаз оказались распахнутыми и для господина официанта, и для проклятого ночного мира лесных кантонов, который вздумал славить его, поэта всей нации. Келлер глубже заполз в плетеную раковину кресла. Как это Шторм, его друг, отозвался о "Вечерней песне"? "Ваша лирика подобна

1. "Люди из Зельдвилы" — собрание новелл Готфрида Келлера (1819–1890; первый том вышел в 1856, второй — в 1874 г.).

золотому самородку, это — самое прекрасное из того, что вы создали на склоне лет, друг мой Келлер". А ведь творение это лживо, пошло — поэзия для гувернанток.

В долинах замирал колокольный звон. Из ближнего огненного столба вырывались языки пламени, с треском впивались в сухие сучья, искры разлетались и гасли, словно крохотные млечные пути. Келлер провожал их взглядом. Сестра, за которой он долго ухаживал, умерла. Мать ушла из жизни намного раньше. В сырой земле лежит и его невеста: она покончила с собой незадолго до свадьбы. Его уделом стала одинокая старость. *Свет небесный, ты не поскупись?..* Келлер вздохнул. Свет не лился золотыми потоками, мир скупился на яркие краски, он был серым, серой была жизнь, а уж старость — сплошным мучением. У него нет ни семьи, ни друзей... И вдруг, за секунду-другую, Келлер очнулся, пришел в себя, протрезвел: никто ведь не мог знать, что он уединился здесь, наверху. Кому, черт побери, удалось его рассекретить? Неужели кельнеру? Жердяй узнал его?

Келлер хотел заговорить с ним, но кельнер, напоминая бритву, согнулся под прямым углом: отдавал поклон гостям, которые с возгласами "А!" и "О!" радостно, возбужденной толпой, выходили на террасу.

— Что скажите об этой панораме?

— Она просто импозантна!

— Как же должна быть счастлива республика, — говорил с прононсом статный господин, — которая умеет воздать своему пииту столь пламенные почести. Вы его читали, баронесса?

— Только лирику.

— Она смела!

— Но поэтична. Где же граф Ранцау? Он ведь хотел пойти с нами.

— Боюсь, — прозвучало из чьих-то британских уст, — у графа еще кое-какие дела в баре.

И все спустились в нижний сад: кавалеры — с сигарами, дамы — накинув себе на плечи шелковые шали, а два пажа в красном несли за ними, подобно министрантам, кипу нотных листов.

Келлер потянул жердяя за фалду фрака. "Эй, — сказал он, — от кого вы, собственно, узнали, что он здесь, этот Келлер?"

Кельнер все еще стоял, согнувшись в поклоне.

Действие четвертое

Господин Венделин все еще стоял, согнувшись в поклоне, и жадно вдыхал аромат духов, который струился за дамами, словно шлейф. Как только что выразился полковник Кэм-

пелл? "Боюсь, у графа еще кое-какие дела в баре". По телу кельнера пробежала дрожь. Граф Ранцау был пьяницей и в этот вечерний час обычно уже едва держался на ногах, а полковник Кэмпелл вскользь заметил, что "у графа кое-какие дела в баре". That's it[1], подумал господин Венделин, в великосветском обществе свой язык: эти леди и джентльмены не напиваются, у них — кое-какие дела в баре. Он решил пользоваться, par occasion[2], такой манерой говорить и не спеша выпрямился. Только теперь он почувствовал, что кто-то все сильнее тянет его за фалду фрака. Что задумал этот карлик? Решил ощипать его, как курицу?

"Wie händ iher gmerkt, dass er da obe isch, de Chäller?"[3]

— От Федерального совета в Берне, — сказал господин Венделин.

Потом наклонился к уху старикашки и тихо, чуть ли не шепотом продолжал: "Из Берна, от Федерального совета, то есть центрального правительства, поступила телеграмма, адресованная Готфриду Келлеру. Великого труженика пера чествуют в эти дни по всей стране. Дирекция сделала вывод, что человек сей находится здесь, под чужим, разумеется, именем, и тем не менее, — он бросил взгляд в ярко освещенный холл, — и тем не менее, уже почти закончены приготовления, чтобы устроить поэту на террасе торжественный прием". Господин Венделин кашлянул. "Прием, — повторил он, — состоится здесь. На свежем воздухе. На террасе". Никакой реакции. Тогда он тронул старичка за плечо. "Uusuufe!"[4] — потребовал господин Венделин.

Наконец до ворчуна, кажется, дошло. Он снял очки и, подняв голову, взглянул на него большими, влажными глазами.

Ни дать ни взять карлик, подумал господин Венделин, но голова — импозантна, просто импозантна. Внешность философа и бунтаря? Или художника, работающего на пленэре? Нет, не герой революции и не пейзажист. Так, рассудил он, выглядит швейцарский чиновник. В маленьких глазках — подозрительность, грудь — узкая, ноги — короткие, но упорным сидением за конторками люди этого сорта обрели внушительность, что производит впечатление даже на него, господина Венделина. Он теперь пожалел, что обходился с гостем столь сурово. Взяв бутылку, еще раз наполнил бокал. И кивком головы показал на холл, который тем временем заполнился гостями, представи-

1. Так-то вот (*англ.*).
2. При случае (*франц.*).
3. От кого вы узнали, что он тут, наверху, этот Келлер? (*швейцарско-нем.*)
4. Допивайте! (*швейцарско-нем.*)

телями дирекции, персоналом. Все были взволнованы, готовились к тому, чтобы выразить поэту свое восхищение. Казалось, только одному человеку нет никакого дела до всеобщего ажиотажа. Он удобно устроился в кресле посреди террасы, потягивал вино и что-то бормотал себе под нос. Похолодало. Тем не менее господина Венделина бросило в пот, воротничок сорочки стал ему тесен — что же, черт побери, делать? Поднести кресло к парапету и вытряхнуть неудобного гостя? Лампионы безмятежно покачивались. На гребнях гор полыхали огни. С ближних и дальних лугов доносился перезвон колокольчиков.

Чиновник или не чиновник, но он должен немедленно исчезнуть отсюда, этот твердолобый креслосиделец! Место таким — на празднике стрелков: с носовым платком на голове, каждый уголок которого завязан узелком, с кружкой пива в руке, это простолюдины, думал он, плебс... На приеме в честь поэта, месье, вам делать нечего! Господин Венделин собрался было схватить упрямца за шиворот, но тут из сада на террасу возвратилась дама — та, что недавно справлялась о местонахождении графа Ранцау. Двигалась она на цыпочках и страдала, видимо, близорукостью — ибо приближалась, неотрывно глядя на ворчуна, к плетеному креслу. В двух-трех шагах от него она вдруг всплеснула руками — и остановилась как вкопанная. "Нет! Не может быть!" — вырвалось у нее из груди. С этим возгласом, шурша кринолином, она устремилась в холл. Господин Венделин озадаченно смотрел ей вслед; осмыслить то, что произошло, времени не было. При виде взбудораженной дамы из толпы гостей, закатив глаза и размахивая руками, выскочил Мюллер. Судя по его сумбурной жестикуляции, внимание метрдотеля тоже приковал к себе брюзга в плетеном кресле.

Неужто этот...

Его ворчливый клиент — никак не поэт. Поэта, решил господин Венделин, уже узнали, сейчас он стоит в холле, и его с трудом удерживают от выхода на террасу, ведь ему не терпится услышать овацию отеля и всего Отечества. Да, дело обстоит именно так. Юбиляр желает явить себя публике, но вынужден ждать. Оттого-то — ужас в глазах дамы и отчаяние во взгляде метрдотеля: плетеное кресло не позволяет начать торжественную церемонию. Убрать его! Но как? Господин Венделин послал в небеса проклятие. Затем бросил взгляд в холл. Действительно, там уже раздавали факелы, скрипачи еврейского ансамбля настраивали свои инструменты. Он должен что-то предпринять, чего бы это ни стоило. Колокола уже смолкли, огни постепенно угасают, а ворчун — чтоб ему провалиться! — продолжает лежать в своем кресле и портит всю обедню... И тут господина Венделина посетила спасительная

мысль. Поставив бутылку и бокал на серебряный поднос, он высоко поднял его на трех пальцах. "Chumm scho, — процедил он сквозь зубы, — chasch dinne wytersuufe!"[1]

Трюк всегда удавался (даже с графом Ранцау) — любой пьяница спешит последовать за бутылкой. Сделав пару шагов, господин Венделин остановился и оглянулся. Старичонка за ним не последовал. Руки его обхватили подлокотники, плед сполз на пол, а большая голова неподвижно возвышалась над спинкой кресла.

Господина Венделина вдруг осенило. Тот, кто сидит в плетеном кресле и глядит в ночь, на горные склоны и вершины, вонзающие в густую синеву неба последние огненные лучи, и есть поэт Готфрид Келлер. И тогда бутылка на подносе задрожала, пустилась в пляс, опрокинулась — и разлетелась на тысячи осколков. Какой пассаж! Какая бестактность! Руки господина Венделина бессильно опустились, в правой — поднос, в левой — салфетка. Он, неизменно старавшийся проявлять в любых ситуациях благородство, быть учтивым и классически корректным, именно он сказал знаменитому народному поэту прямо в лицо, какого мнения он о его лирике — да никакого!.. Господин Венделин горестно вздохнул. Я должен взять назад свои дурацкие слова, приказал он себе. Не обращая внимания на ужимки метрдотеля, который уже вышел на веранду, он круто развернулся и, согнувшись в самом глубоком поклоне, с хрустом шагая по битому стеклу, двинулся обратно — к поэту.

Действие пятое

Мир скроен из нелепостей, а он, Готфрид Келлер, — под стать этому миру. Как жадно, долгие годы, искал он признания, наконец снискал его, и с тех пор желает, пожалуй, только одного: как бы кануть в темень безвестности. Его, одинокого, приветствуют со всех окрестных гор, славят в долинах, а за спиной у бобыля уже столпились обитатели и хозяева гранд-отеля, чтобы обрушиться на него с дурацкими хвалебными речами и приветственным посланием правительства.

Да будь она проклята, эта телеграмма!

Когда вчера вечером он прибыл сюда, никто не обратил на него внимания. Ни портье, ни администраторам не пришло в голову, что за человеком, который остановился в их отеле под чужим именем, скрывается автор "Зеленого Генриха". Но потом — это явно случилось уже сегодня вечером — пришла телеграмма,

1. Пойдем, будешь пить из своей бутылки дальше! (*швейцарско-нем.*)

и его присутствие здесь обнаружилось. Келлер сжал кулак. Этому государству еще не исполнилось и полувека, а его сыск уже действует с отлаженностью царского. За ним, Келлером, следят, о нем доложили в Берн. Он протянул руку за бокалом, в пустоту, — со стола уже всё убрали. Он хотел обозвать кельнера балдой, но тут же одумался: этот человек заслуживает не порицания, а чаевых — литературный вкус у него хороший, очень хороший. Как он оценил его "Вечернюю песню"? Назвал "поблеклой лирической мишурой". И не ошибся. Келлер хотел теперь это признать. Однако как раз в тот момент, когда он переводил дух, чтобы начать говорить, говорить начал другой — долговязый кельнер. Он выпрямился, с наслаждением прищелкнул языком, будто дегустировал вино, и стал — о, власть нелепостей и превратностей! — брать совсем недавно сказанное обратно, более того, дерзнул с ложным пафосом расхваливать фальшивые строки. *Свет, льющийся в окошки глаз! / Душа, очарованная блеском звезд!* Он, господин Венделин, хоть и не кончал университетов, хоть и служит всего лишь кельнером кантонного масштаба, но все же способен оценить и смелый полет мысли, и благородное изящество огранки — "Короче говоря, уважаемый мастер, истинная красота обрела под вашим пером форму, а истина со всей ее красотой отлилась в слово. Superb![1]"

"Чушь", — буркнул Келлер. *Свет небесный, ты не поскупись...* Лейся золотым потоком! Нет, мой дорогой долговязый друг, на самом деле всё серо, серо и мрачно. Это я знаю — и знаю слишком хорошо. И все-таки серое я обратил в золотое, а печальное — в радостное. Почему? Так уж получилось. Чем хуже мне жилось, тем красивее становились слова. Чем красивее становились слова, тем хуже мне жилось. Жилось? Это не было жизнью. Женщины, которых я желал, смеялись надо мной. Моих близких в живых уже нет. Друзья — далече. Приходит ночь, и черная птица начинает клевать мою душу, каждый удар клювом — упрек, обвинение, злой вопрос, на который нет ответа: почему ты такой, какой ты есть? Но я жил и любил в моих книгах, в моих героях. Да, герр кельнер, в этом — тайна моей поэзии. В моих героях, в моих стихах запечатлелась та жизнь, на которую сам я был не способен. Так или примерно так Готфрид Келлер охотно высказался бы, обращаясь к герру кельнеру. Однако сделать это он не успел. Со всех сторон их обступали люди: они появились в оконных проемах, свешивались с балконов, теснились в дверях, спешили выйти с веранды на террасу и через секунду-другую заполонили ее.

1. Великолепно! (*англ.*)

"Ура-а-а!" — крикнул кто-то, его возглас сразу подхватили, из нижнего сада в небо с шипеньем взвились ракеты, а красные розы дам, бокалы кавалеров, факелы пажей — "Ура! Ура! Ура!" — начали раз за разом взмывать над их головами. Келлер устало улыбался. Ему придется поблагодарить этих людей. Но как, как произнести речь, если язык еле ворочается? Он порядком выпил, его будет пошатывать, вместо речи получится жалкий лепет. О ты, превратный, двуликий мир: самый торжественный момент в его жизни обернется самым постыдным...

И тут вдруг раздались звуки, подобные рокоту волн и шуму ветра. Запели все, у кого был голос, — повара и гости, горничные и пожарные, скрипачи еврейского ансамбля, гармонисты из окрестных селений, администратор отеля и портье, священник, министранты, студенты, пастухи, гимнасты и, перекрывая своим могучим контральто все инструменты и весь хор, настоящая глыба из уложенных вокруг головы кос, уст и бюста...

"Фройляйн фон Браузеветтер, певица из Кёнигсберга, исполнительница женских партий в операх Вагнера", — гордо возгласил метрдотель.

Келлер кивнул. Подле него свисала длинная рука, он взялся за нее, и тогда, покинув террасу, они вместе полетели в ночь — поэт и господин Венделин, который теперь был птицей, большой птицей-тоской. Они поднялись высоко, над Альпами и даже над звездами. Звезды мерцали далеко внизу, под ними, как осколки разбившейся бутылки. Келлер смеялся и долго махал свободной рукой террасе, которая, кружась, постепенно скрывалась в мглистых просторах Вселенной. Там, внизу, люди пели его "Вечернюю песню", пели от души и с благоговением.

Глаз моих окошки распахнуть,
Солнца свет легко в себя вдохнуть,
Мир зовет нас, освещая путь,
Скоро предстоит нам отдохнуть.

На закате так прекрасна высь,
Блеску звезд, душа моя, дивись!
Свет небесный, ты не поскупись,
Лейся в окна глаз моих, струись![1]

На другой день, 19 июля 1889 года, в гранд-отель "Зонненберг" в несметном количестве стали поступать поздравления. Депеши и телеграммы от студенческих корпораций Швейца-

1. Перевод Наталии Корди.

рии и Германии, различных обществ и объединений, правительства, поклонниц и поклонников... "Этот ужасный день рождения, — напишет Готфрид Келлер чуть позже, — таил в себе какую-то угрозу".

Он умер в своей цюрихской квартире менее чем через год — за четыре дня до следующего дня рождения.

Человек, что око, и Хёрнлиман

МОЕ имя (Фрунц) лишено какого-либо значения. Я — секретариус, id est[1] человек подневольный, вышколенный для безошибочного письма под диктовку. И если я берусь за перо по своей воле, то лишь потому, что мне суждено было сопровождать осенью 1797 года знаменитого поэта господина фон Гёте в его путешествии по нашей стране — от Шафхаузена до высей Швицер-Гаккена. Там, наверху — да будет это предано огласке уже сейчас, — вечером 29 сентября, в День святого Михаила, произошло событие поистине неслыханное. А посему полагаю вполне уместным поведать потомкам Иоганна Вольфганга Гёте о том, что мне, писарю Фрунцу, довелось наблюдать осенним вечером с одного из уступов этого горного массива: господин фон Гёте поднялся, подобно солнцу, над горизонтом всего того, что человек успел пережить, постигнуть и сотворить за долгие века своего существования. Не станем, однако, забегать вперед. Отправимся сначала в Шафхаузен.

Достохвальный консорциум господ Майера, Хорнера и Эшера выслал меня навстречу поэту к государственной границе. От имени консорциума — так гласило задание — мне надлежало предложить великому человеку свои услуги, будь то в качестве секретариуса иль квартирьера; и господин фон Гёте, бросив взгляд на рекомендательное письмо, принял предложение немым кивком головы. С той минуты, став его помощником и подручным, я следовал за ним как тень.

В Шафхаузене мы остановились в гостинице "Корона". За табльдотом сидели большей частью французские эмигранты — графини, служители церкви, офицеры из рядов аристократической оппозиции, — и, как мне вскоре показалось, поэт не отличался от этого общества ни внешним видом, ни манерой держать себя, ни тем более своей речью. *Заметил, что взгляд у швейцарцев, особенно у цюрихцев, какой-то*

1. То есть (*лат.*).

застылый, — записал я (17 сентября, вечером) по его указанию, чтобы он мог потом занести это в свой дневник.

На другой день, спозаранку, в половине седьмого, мы отправились к Рейнскому водопаду и наблюдали со скалы из потемневшего от времени известняка, как с большой высоты низвергаются огромные массы воды. *Вода – зеленого цвета*, — кричал господин фон Гёте мне в правое ухо, и было, разумеется, нелегко среди шума и грохота делать записи совсем без огрехов. *Быстрые волны. Хлопья. Пена в падении. Пена внизу – в котловине. Между гребнями волн – ровные струи зеленого цвета, у самих гребней нежно-пурпурный оттенок. Из котловины вода сбегает пенистыми волнами, они бьются о берега, ниже по течению река успокаивается, и вода вновь обретает зеленый цвет.*

Мы вышли из легкого облака тумана, уже пронизанного лучами солнца, встали на сходни с перильцами, господин фон Гёте попросил дать ему полотенце, насухо вытер виски и, показывая пальцем на мою влажную записную книжку, заметил: *В человеке заложено мощное стремление находить слова для всего, что мы видим вокруг.*

Можно ли выразиться яснее? Гёте умел наблюдать, он был всевидцем. Поэтому ему претил застылый взгляд швейцарца, в особенности цюрихца, и в отличие от нас, простых смертных, способных составить себе лишь общее впечатление от Рейнского водопада, поэт смог самым тщательным образом разглядеть и описать не только каждую волну, но и игру красок на ней.

19 сентября мы прибыли в карете из Шафхаузена в Штефу, где господин фон Гёте оставался до утра 28 сентября, пользуясь гостеприимством консорциума. Господа обсуждали события во Франции и подолгу с удовольствием рассматривали гравюры Майера. В утренние часы мне были продиктованы несколько статей, одна элегия, одна пастораль, а также большое, очень теплое письмо к Шиллеру. Не без гордости позволю себе заметить, что моей работой великий человек остался доволен. Такие вопросы, как *Записал ли он это?* или *Поспевает ли он?* ему приходилось вплетать между фразами редко, и если мне удавалось с усердной поспешностью извлечь из дорожного архива связку нужных бумаг, то уже казалось, что лишь волосок отделяет могучую голову пиита от одобрительного кивка. В канун того дня, когда мы должны были двинуться дальше, он, как бы ненароком, спросил: *Фрунц, у него хорошие башмаки?*

Не решаясь выйти из почтительного поклона, я вытянул ногу слегка вперед, однако господин фон Гёте, который, как обычно, стоял у окна, мечтательно вглядываясь в осенние сумерки над Цюрихским озером, продолжал диктовать и не заговорил вторично о моей экипировке. Его последнее заме-

чание по моему адресу в тот вечер прозвучало так: *Пусть он отдохнет, Фруниц. Пусть не пьет слишком много. С восходом солнца мы выступаем.*

"Позвольте откланяться, Ваша милость!" — выдохнул я и выскользнул из комнаты. Утром члены консорциума провожали гостя до пристани. Я должен был водрузить весь багаж себе на спину и уже на коротком пути до судна, ожидавшего нас с поднятыми парусами, ощутил, сколь утомительной окажется прогулка в горы. Господа Майер, Хорнер и Эшер махали платками, пока не слились с зеленым прибрежным кустарником. Поэт, который с момента отчаливания стоял во весь рост на носу судна, велел мне подойти к нему. *Блеск облаков над дальним краем озера*, — зафиксировал я в записной книжке.

Чтобы пересечь озеро, нам понадобилось три четверти часа.

На пристани в Рихтерсвиле толпились паломники, главным образом из Швабии, но художника слова больше интересовали дорожные плиты: *местами они напоминают порфир, а местами – брекчию*, как заключил он, внимательно осмотрев их за пару минут. В половине одиннадцатого мы пришли в Хюттен — конечно же, порознь, ибо поклажа вскоре начала давить на мои легкие с такой силой, что в проворном движении поэта вверх по склонам я увидел для себя несомненное преимущество: тяжелое дыхание пошатывающегося носильщика наверняка не доставило бы ему удовольствия.

Пастор местной общины по фамилии Блейель, окружной судья, а также некий Бэр, медикус и хирургус, встретили знаменитого путешественника превосходным завтраком. Господина фон Гёте потчевали раками из Хюттенского озера, сыром, фруктами и вином. Когда я благополучно достиг склона холма с террасой, хозяева и их высокий гость сидели под ореховым деревом и радовались погожему дню.

В два часа пополудни двинулись дальше. И шли, пока не случилось нечто неожиданное и прекрасное. Господин фон Гёте взмахом руки заставил всех остановиться, и даже Блейель, изъявивший желание показывать нам дорогу вплоть до монастырского села, вынужден был, не скрывая своего восхищения, признать, что никогда не замечал этого места, хоть и исходил тут все вдоль и поперек. Какой вид открывался отсюда! Слева, на горизонте, был виден город Цюрих, а вдали перед нами, высоко в небе, плавали вершины Тоггенбургских гор, похожие на припорошенные снегом острова. Призывая нас сделать остановку, господин фон Гёте заметил падуб остролистный: *Ствол толщиной с мужское бедро и высотой футов двенадцать.* Падуб указал поэту на это замечательное место? Или

же чутье подсказало ему, что такой ландшафт не может не иметь хорошей точки обзора, — и лишь потом он заметил падуб, парящий над крутым склоном, словно посланец рая, и защищенный от ветров густым кустарником?

Я был так благодарен за подаренную мне возможность насладиться великолепным пейзажем, что готов был заключить всевидца в свое гулко стучащее от напряжения сердце. Взгляните на этого человека, подобного глазу! — думал я про себя.

Как сразу же выяснилось, он не только видел то, что было действительностью, но и распознавал скрытые в ней возможности, а посему предложил перегородить бурную Зиль близ Шинделлеги дамбой и таким образом создать здесь водохранилище. Правда, он тут же сделал оговорку, заметив, что осуществить такое предприятие в *демократическом кантоне немыслимо.* Вытянув шею из-под груды баулов, я со вздохом устремил тоскующий взгляд в ту сторону, где предположительно находилась Франция и откуда можно было ожидать прихода лучших времен. "Да, Ваша милость, — подумалось мне, — если жизнь у нас, благодаря французской succurs[1], потечет по законам настоящей демократии, то уж как-нибудь мы и водохранилища построим!"

В пять часов вечера господин фон Гёте и Блейель увидели вдалеке дома Эйнзидельна, пришли туда около шести и остановились в гостинице "У павлина". Я же, с моей тяжелой ношей, добрался до монастырского селения с некоторым опозданием, вследствие чего описание впечатлений, собранных моим патроном, затянулось чуть ли не до полуночи. Поэту явно приглянулись местные бабенки, однако он велел мне не делать об этом никаких записей.

Следующим утром — 29 сентября, в День святого Михаила — господин фон Гёте осмотрел церковь. Отделку хоров он нашел бессмысленной, от музыки был не в восторге, зато в монастырской кунсткамере, посетить которую пожелал после торжественной мессы, ему понравились *голова кабанчика, красивые адуляры*[2] *и средней величины гранат, ограненный самой природой.* (Продиктовано это было в самом музее.)

В одиннадцать мы покинули Эйнзидельн. И с каждым шагом по долине речушки Альп углублялись в ту кажущуюся невероятной тишину, в какую погружены меж скал лесные кантоны. Господин фон Гёте восседал на лошади, я же, неопытный в таких делах, тянул за собой на веревке норовистую лошадку по кличке Паула. И был ей благодарен, ибо она освободила

1. Succurs — помощь (*лат.*).
2. Адуляр — минерал (по местонахождению в горах Адула в Швейцарии).

мой горб от тяжкой ноши. Теперь она, а не я, тащила на себе баулы с книгами, платьем и инструментами, а также картонки с париками и шляпами, принадлежащими королю поэтов. Вот так мы и продвигались вдоль речушки Альп, по ее правому берегу с довольно сносной тропой: я — в веревочной упряжи, Паула — храпя и фыркая, любимец муз — держа правую руку перед челом наподобие козырька и наблюдая, наблюдая, наблюдая... Когда долина сузилась до ущелья, господин фон Гёте спешился. В часовенке возле тропы он увидел недобрую примету, сказал, что нам предстоит еще крутой подъем, и — ах! — слова эти вскоре оказались пророческими. Между тем я развьючил Паулу, и она, как меня и уверили в Эйнзидельне, немедля самостоятельно затрусила восвояси. Лошадь послушно последовала за ней, стук копыт затих, а поскольку ручей был мелководным, не говорливым, нас окружала теперь мглистая влажная тишь — мы находились в горах.

Вверх по ущелью. Земля под ногами сланцевато-глинистая. Туман все гуще. Однако скала, которая куталась в эту пелену, была ощутима — да еще как! На спине у меня со скрипом покачивались баулы, коробки и картонки, и уже через сотню шагов фрунцевские башмаки выглядели точно два голодных рта, вознамерившихся вгрызться в горную твердь. Я задыхался, я стонал. Ноша, достойная Атланта, сгибала меня так, что взгляд упирался в почву под ногами, из-за чего склон вставал передо мною вертикально, а когда я останавливался, чтобы перевести дыхание, то видел, как с одной стороны от меня клубы тумана опускались вниз, а с другой — подымались вверх. Теперь вообще ничто не нарушало тишину. Птицы остались в теснимом валунами лесу. Я полз по скользким камням в гору, силясь держать себя и драгоценный груз в равновесии, но все же раза два или три ему удавалось пригвоздить меня к склону и тогда казалось, что я вот-вот испущу дух, подобно распятому Господу Нашему Иисусу Христу.

В конце концов моя Via Dolorosa все же привела меня к отлогому пастбищу, а затем и к хижине, из прокопченного нутра которой дохнуло дымом, послышался шум и возникла фигура с чертами то ли горного, то ли земного духа. Седые волосы буйно росли из ушей и ноздрей, свисали над глазами и покрывали широкую голую грудь. Дух этот назвался Хёрнлиманом, здешним пастухом, но быть ему тут, молвил он, осталось недолго: травы в Альпах жухнут, и зима скоро вынудит его спуститься со стадом в долину. Отдохнув настолько, что я смог свалить с себя груду поклажи — со стуком и звоном она разлетелась во все стороны, — и не видя перед собой ничего, кроме тумана, я воскликнул: “Смею доложить, Ваша милость, я уже пришел!”

Ответа из тумана не последовало. Сложив руки рупором, я повторил свой клич: "Ваша милость? Ваша милость! Господин советник! Господин советник!"

Ве-е-тник, ве-е-тник, звучало далекое эхо, *ве-е-тник, ве-е-тник*, и снова воцарялась тишина.

Больше я его никогда не видел.

Да, конечно, покорнейше... Аристократ с величавою осанкой, которого по поручению консорциума я сопровождал от Рейнского водопада до Швицер-Гаккена, вот уже больше часа как исчез, направив свои стопы вверх по склону. Исчез навсегда, ибо то, что теперь, когда вдруг засверкало солнце, являет себя возле одной из двух мощно вздымающихся вершин[1], это хоть и господин фон Гёте — несомненно, это господин фон Гёте, — только *этот* Гёте, будто обретя божественную сущность, перевоплотился в свое око.

Может, гребень горы колеблется? Слева клочья тумана вбирает в себя Швицкая котловина, справа — долина речушки Альп, а там наверху — истинная правда! — там Око все еще наблюдает, не ведая в эти минуты ничего, кроме стремления наблюдать, творить, царить и дивиться... И оно зрит и дивится, пока, взятое скалой в треугольную оправу, не утрачивает своего блеска и не позволяет всему, чем любовалось — всем этим кочующим в туманах вершинам, кручам, утесам, всем Альпам окрест себя, — погрузиться во тьму холодной горной ночи.

Вновь приоткрыв собственный глаз, я увидел, что нахожусь в черной от копоти пещере. Под котлом трепетали язычки пламени, и какое-то звероподобное существо, сидя на корточках, помешивало черпаком с длинной ручкой закипающее варево. Покопавшись в памяти и поразмыслив, я узнал в обитателе пещеры того альпийского лешего, который живет в пастушьей хижине и назвался Хёрнлиманом. Он дал мне попить отвара и делал это потом, судя по всему, неоднократно и через большие промежутки времени, ибо однажды в дверном проеме сияло голубое небо, другой раз плыла луна, а как-то утром, когда мне удалось подняться на ноги средь блеющих коз, бесшумно падали снежинки. Спросить о господине фон Гёте я не решился. Как узнал я позднее, он прошел через Бруннен и Альтдорф до Сен-Готарда, и одному богу известно, кто собрал у Хёрнлимана его вещи и понес их дальше. Оправившись от нервной лихорадки, я увидел на заснеженной земле лишь одну картонку для париков, да и та была пуста.

1. Эти вершины известны сегодня как Большой и Малый Митен.

Всевидца Гёте я сохранил в памяти только как Око. Он был тем, что он видел.

Да, *был*. Когда по городам и весям распространилась весть о смерти Гёте, то об этом человеке, его творениях и деяниях везде писали в самых учтивых тонах и даже господа члены тогдашнего консорциума, собравшись помянуть усопшего за стаканом пунша, пролили из своих глаз с их застылым цюрихским взглядом по нескольку слезинок. Больше мне сообщить нечего, и все-таки позволю себе закончить этот рассказ указанием на то, что богоподобное всевидение великого Гёте нашло живое подтверждение в его последних словах. "Больше света!" — воскликнул он, согласно преданию. И тогда Око закатилось — в иные миры и навеки.

Деревянный театр

ДРАМАТУРГИ Томас Бернхард и Рольф Хоххут были друзьями. Однажды после полудня, зимой 1990 года, они ехали в вагоне "Интерсити", пересекая Германию, и — то ли потому, что встреча двух этих титанов театрального дела возмутила атмосферу, то ли из-за зависшего над Скандинавией циклона — на немецкую землю вдруг обрушился такой ураган, какого страна не знала все последнее столетие: он дробил дамбы, срывал крыши с домов, ломал, как спички, колокольни. В конце концов и Бернхард с Хоххутом, толковавшие в купе первого класса о директоре Бургтеатра Пеймане, выглянули из окна. Небо было черно, как море перед грозой, по воздуху неслись трактирные вывески, пальмы в кадках и зонтики, сигнальные мачты кренились, контактные провода раскачивались, конец света был близок. "Бернхард, никак, разыгралась буря", — спокойно заметил Хоххут, привыкший к бурям на театре. И тот, набрасывая на плечи непромокаемое пальто, согласно кивнул: "Непогодь".

И они снова заговорили о Пеймане, о его женщинах, а поезд, пронзительно гудя сигнальным рожком, еще добрый час продвигался вперед черепашьим шагом. Потом вдруг крики, визг тормозов — состав остановился. Посреди леса. Возможно, это Тевтобургский лес, предположил Хоххут, а Бернхард, достав из-под плюхнувшего с полки багажа свою тирольскую шляпу, уверенно сказал, что локомотив врезался в падающие деревья и тут же сошел с рельсов. Кругом гудело и грохотало, но то не был шум пожара. Это бушевал ветер, это буйствовал ураган. Он с оглушительным треском откручивал стволы от корней и швырял обломки деревьев оземь.

— Это же великолепно! — вдруг воскликнул Бернхард. — Никогда не видел, чтобы лес валили с такой силой и таким размахом.

Хоххут собрал лоб в складки. Уж не тронулся ли Бернхард умом? И в самом деле: приподняв свою зеленую шляпку и пританцовывая, тот распевал задорную песню во славу ураганов, что косят деревья тысячами и делают цены на лес смехотворными. Потом, так же неожиданно посерьезнев, он обнял Хоххута за плечи, заглянул ему, немало озадаченному, в глаза и сказал с расстановкой:

— Дорогой друг, — сказал Томас Бернхард, — мы построим деревянный театр.

— Деревянный театр?

— Да, Хоххут, воспользуемся обвалом цен, купим лес задешево и построим из деревьев, поваленных ураганом столетия, деревянный театр.

— Дорогой Бернхард, — отвечал Хоххут, — вы же прекрасно знаете, что в большинстве театров даже сцена сделана не из дерева, — таковы правила пожарной безопасности! Например, в Бургтеатре, где меня, между прочим, играют очень и очень редко, при изготовлении декораций и кулис дерево использовать вообще нельзя.

— Правильно! — попытался Бернхард прервать собрата. Однако сделать это было совсем непросто, ибо Хоххут начал в деталях описывать пожар, случившийся в театре на Рингштрассе, называл цифры, даты, обрисовывал обстоятельства, так что во избежание срыва диалога Бернхарду пришлось несколько раз крикнуть "Правильно!"

— Правильно, Хоххут, правильно, там все из пластика.

— Вот именно, — не унимался Хоххут, — после того знаменитого пожара дерево из Бургтеатра начисто, а из многих других театров почти начисто...

— Исчезло, — прервал его Бернхард, — да, исчезло, его оттуда, можно сказать, изгнали!

— И вы хотите в такой ситуации, вопреки всем правилам пожарной безопасности, строить деревянный театр? — Голос Хоххута звучал так же резко, как голос патера Риккардо в его "Наместнике".

— Да, Хоххут, все — из дерева! Здание, фойе, гардероб, сцена, башня или куб над ней, кулисы... Всюду — дерево, ничего кроме дерева!

— А если он загорится, этот ваш деревянный театр?

— Вот и пусть горит! — воскликнул Бернхард. Глаза его горели, щеки пылали. — Это же хорошо, Хоххут. Настоящее искусство — это искусство сожжения на костре.

— Потрясающе! — сказал Хоххут и устремил взгляд ввысь. Он вдруг увидел перед собой громадную, как кафедральный собор, избу, увидел Байрейт, рубленный из дуба, который презирает все правила пожарной безопасности, все параграфы страховки, который служит исключительно искусству игры на подмостках, и в сердце у него тоже вспыхнула искра вдохновения, он как-то сразу воспылал любовью к деревянному театру.

Взволнованные до глубины души, оба драматурга пожали друг другу руки.

— Разведем такой костер, чтобы можно было сжигать себя снова и снова, — сказал Бернхард.

— Создадим подмостки для наших костров! — подхватил мысль товарища Хоххут.

И вот уже перешагивая через чемоданы и пассажиров, оставляя за спиной вагон за вагоном, он начал пробираться вперед, к локомотиву, чтобы донести по радиотелефону до ошеломленного дорожного мастера следующую весть: используя могучий ураган в качестве повода, он, Хоххут, и его сподвижник Бернхард решили основать Первый Немецкий Деревянный Театр.

— Как вы сказали? — вскричал дорожный мастер, нервы которого были напряжены до предела, ведь именно на его участке срывалось в данный момент движение скоростных поездов "Интерсити". — *Что* вы решили основать?

И тогда Рольф Хоххут, стоя в кабине машиниста и устремив взгляд на поверженный Тевтобургский лес, прокричал в трубку ликующим тенором: "Говорит Хоххут. Всем, всем, всем. Городу и миру. Через дерево к огню. Искусство живо, пока оно пылает. Over[1]".

От редактора

Томас Хюрлиман (р. 1950), швейцарский прозаик и драматург, — один из тех авторов, которых можно полюбить, прочитав первую же страницу какого угодно их текста. Для меня таким текстом стала новелла "Фройляйн Штарк", действие которой разворачивается в наши дни в старинной библиотеке Санкт-Галленского монастыря. Эта книга была переведена на русский язык, как и ее продолжение, роман "Сорок роз".

1. Здесь: конец связи (*англ.*).

Герой новеллы, двенадцатилетний мальчик, работающий на каникулах в библиотеке, открывает для себя вселенную книг и знакомится с историей собственной семьи, попутно обнаруживая свойственную ему способность чувственного восприятия фактуры, запахов жизни... Такое камерное — заинтересованно-чувственное, не лишенное иронии и фантастических предположений — восприятие книжной культуры, традиции вообще проявилось и в трех исторических миниатюрах Томаса Хюрлимана, которые мы публикуем.

Классик швейцарской литературы Готфрид Келлер показан в момент, когда он безуспешно пытается ускользнуть от торжеств по поводу его семидесятилетия. Диалог с кельнером заставляет прославленного писателя вспомнить прожитую жизнь и осознать горькую истину, относящуюся к его (или: ко всякому) искусству: "Чем хуже мне жилось, тем красивее становились слова. <...> В моих героях, в моих стихах запечатлелась та жизнь, на которую сам я был не способен". И тем не менее рассказ заканчивается фантазийным катарсисом: два очень разных по своим взглядам человека, писатель и его возможный читатель, найдя наконец общий язык, "вместе полетели в ночь — поэт и господин Венделин, который теперь был птицей, большой птицей-тоской".

Во втором рассказе нам представляется возможность увидеть великого Гёте глазами человека, швейцарца, которому довелось однажды тащить на себе его багаж. Гёте почти не воспринимает своего провожатого как личность (хотя тот достаточно образован, чтобы исполнять и функции секретаря), избегает напрямую обращаться к нему, говоря о нем как о предмете: *Пусть он отдохнет, Фрунц*. Тот же искренне восхищается знаменитым гостем Швейцарии и дает ему емкую проницательную характеристику: "Он был тем, что он видел".

Третья история, про Деревянный театр, — самая фантастическая и крепче двух других сшивающая прошлое с настоящим. Немецкий драматург Рольф Хоххут (р. 1931), один из создателей документального театра, в 1990 году едет в поезде с другим знаменитым реформатором театра, австрийцем Томасом Бернхардом (который умер в 1989-м!). Застигнутые в Тевтобургском лесу апокалиптическим ураганом, два друга решают построить анахроничный Деревянный театр — руководствуясь, видимо, идеями почти забытого ныне, а в свое время скандально разрушавшего все стереотипы немецкого драматурга и прозаика Ханса Хенни Янна (название рассказа, "Das Holztheater", явно отсылает к названию символического романа Янна "Деревянный корабль", "Das Holzschiff"), а также принципом, сформулированным в конце рассказа самим Хоххутом: "Искусство живо, пока оно пылает".

Анна Холландер
Взгляд сквозь одежду

Отрывки из книги

Перевод с английского Вадима Михайлина

Глава I. *Драпировка*

Изобразительные искусства всегда крайне внимательно относились к удивительной способности тканей собираться в складки, расправляться, провисать и трепетать на ветру, делаться в зависимости от обстоятельств ровными или неровными, приобретать качества готовой вещи, после чего снова превращаться в кусок ткани, чтобы затем стать другой вещью. <...>

Искусное переплетение волокон, по идее, должно было притягивать к себе человеческие взгляды, с тех самых пор как люди научились ткать. Художники от века вносили свой вклад в идеализацию тканей, приучив наш глаз любоваться ими, а в нас самих воспитав стремление применять их гораздо шире, чем то диктуется простой прагматикой. Принято считать, что драпировка возвышает любой предмет и делает его прекраснее и не только потому, что она красива сама по себе, но еще и в силу долгой традиции, дошедшей до нас с древнейших времен, через посредство бесконечной череды произведений искусства.

Художественная драпировка в западном искусстве всегда так или иначе была ориентирована на уцелевшие образцы античной скульптуры: интерпретировать их могли по-разному, но основания для каждой очередной интерпретации находили именно в них. Изображая ткань, художники эпохи раннего христианства оглядывались на конвенции, сформировавшиеся в позднеримской скульптуре и живописи; а их способы репрезентации свободно ниспадающих одежд, в свою очередь, оставались в силе на протяжении всей эпохи Средневековья —

© by Anne L. Hollander, 1975, 1976, 1978
© Вадим Михайлин. Перевод, 2012
Полностью книга Анны Холландер "Взгляд сквозь одежду" выйдет в издательстве "Новое литературное обозрение" в 2012 году.

вполне узнаваемые, несмотря на безжалостную стилизацию. Драпированные на античный манер фигуры появляются на саркофагах и в элементах архитектурного декора, представляя Христа и апостолов в одеждах и позах, характерных для римских мудрецов и государственных деятелей. Таким образом, вариации на тему античного костюма длили и длили свое существование и в конечном счете были кодифицированы как некий вневременный образец одежды, подобающей персонажам священного предания. Позже этот образ был развит художниками Ренессанса, которые исходно ориентировались на средневековые примеры, а затем начали уже напрямую подражать возрожденной античности. Привычная длинная и свободная туника с широкими рукавами и накинутый поверх нее через плечо плащ до сей поры считаются подобающим костюмом для Иисуса. То же одеяние носят святые и ангелы, если только не облачаются в церковные ризы, которые, в свою очередь, также являют собой изрядно модифицированный пережиток античности.

Складывается впечатление, что все многообразие связей между ниспадающей изящными складками тканью и возвышенными идеями, между самим представлением о благородстве и ношением просторных развевающихся одежд восходит к обычному для римского гражданина в мирное время официальному костюму, который христианская церковная иерархия восприняла исключительно через посредство художественной традиции. Нет никаких свидетельств, что хоть один человек, носивший длинную, свободную одежду, сделался благодаря ей более благородным и изысканным, чем все те, кто носит твидовый костюм; но связь между драпировкой и представлениями о лучшей — прекрасной — жизни никуда не девается и поддерживается многовековой художественной традицией, каждая из неисчислимых извилин и складок которой по-своему притягательна и авторитетна.

В скульптуре спектр потенциально возможных применений драпировки всегда был у́же, чем в живописи, а система отношений с традицией — куда прямолинейнее. Складки, вырезанные в камне, служили целому ряду чисто художественных целей, для которых не требовалось искать каких бы то ни было оснований в иконографической традиции. Так, к примеру, любой знаток античной скульптуры мигом примет во внимание, что скрытая тканью нижняя часть туловища Венеры Милосской дает куда более прочное основание для обнаженного торса, чем могли бы дать обнаженные ноги, и что мраморный плащ Аполлона Бельведерского поддерживает вытянутую руку статуи. Античные мастера неизменно, вне зависимости от конкретной эпохи, до-

веряли драпировке выполнять чисто структурные функции. Вертикальные складки одежд, облекающих тела кариатид Эрехтейона[1], напоминают каннелюры колонн — как на всех прочих вертикально ориентированных драпировках так называемого строгого стиля, который связывает между собой архаический и классический периоды греческого искусства. Создается впечатление, что одежда здесь не столько облекает тела, сколько дополняет их, обозначая положение ног, но не их форму; и начинает казаться, что стоящие фигуры сами несут вес того камня, из которого сделаны, а складки им в этом помогают. В итоге скульптура, представляющая женщину, облаченную в легкую, без рукавов, одежду, приобретает весьма монументальный вид: из-за того напряжения, которое возникает между свинцово-тяжелыми ниспадающими складками мраморной ткани и абсолютно прямым положением тел, напряжения, смягчаемого разве что некоторой разницей в положении ног.

Общим местом является представление о том, что античная драпировка, помимо выполнения подобного рода структурных функций, была призвана раскрывать тело в движении, подчеркивать и мягко облекать его контуры. На самом деле отношения между телом и драпировкой в классической скульптуре всегда носят характер несколько более сложный и взаимообязывающий. Например, тело Цереры из ватиканской Круглой залы явственно искажено — для того чтобы выгодно подать одежду, и никак не наоборот. Плечи у фигуры сделаны непропорционально широкими, а груди расставлены и разведены по сторонам богатырской грудной клетки таким образом, чтобы складки хитона могли свисать с верхней части рук, не утяжеляя верхней части тела и не производя такого впечатления, что они вот-вот соскользнут: ткань при этом разбегается по груди приятной для глаза рябью небольших углублений и впадин. То же самое тело без одежды смотрелось бы просто нелепо, а фигура, выполненная с соблюдением самых изысканных телесных пропорций, попросту не выдержала бы всего великолепия костюма, потерявшись в беспорядочных и комковатых нагромождениях ткани. Попытки воспроизвести одежду, характерную для греческих статуй, и сфотографировать ее на живых моделях показали, что реальная шерстяная ткань, вместо того чтобы облегать и обрисовывать груди, каж-

1. Храм, посвященный Афине, Посейдону и Эрехтею, находится на афинском Акрополе. На южной его стороне расположен так называемый Пандросейон или портик Кариатид; архитрав в нем поддерживают не привычные колонны, а шесть женских статуй. (*Прим. перев.*)

дую по отдельности, как это происходит в случае с Церерой, заставляет их просто-напросто теряться в складках. В случае с Церерой базовым выразительным элементом является именно ткань, которую поддерживает человеческое тело, искаженное таким образом, чтобы как можно выгоднее подать драпировку; и случай этот — отнюдь не исключение.

В греческой традиции, особенно в классический период, драпировке предается особенно большое значение, вне зависимости от того, служит ли она для более выгодной подачи человеческого тела или, наоборот, тело выступает для нее основой: а иногда она и вовсе принимается жить собственной, весьма непростой жизнью. Свободное поведение ткани, судя по всему, ничуть не занимало воображения египтян или греков времен архаики: что бы там ни происходило в реальной действительности, в искусстве материя всегда стилизована. Древнее минойское и микенское искусство практически не интересуется изгибами и складками ткани, вне зависимости от степени стилизации: одежду просто кроили, подгоняли по фигуре и сшивали. Однако греки классической эпохи создали из восприятия небрежно накинутой на человеческое тело шерстяной ткани постоянный источник эстетического наслаждения — и не только для самих себя, но и для последующих поколений художников и ценителей прекрасного, с точки зрения которых греческий опыт в этом отношении был и остается непревзойденным.

Шерстяные ткани в греческих домохозяйствах выделывали самостоятельно, вне зависимости от социального ранга семьи: от начала и до самого конца технологического процесса, включавшего стрижку овец, кардочесание, прядение и ткачество. <...>

Чем бы эти люди ни занимались и в каких бы ни верили богов, они неизменно обращали особое внимание на ткань и одежду из ткани, и их знания относительно производства материи были основаны на личном опыте. Художники и их почитатели должны были с одинаковым удовольствием представлять себе красоту и пластичность ткани, поскольку каждый из них имел непосредственный опыт обращения с ней всякий раз, когда одевался. Красота ткани должна была апеллировать к их воображению не менее властно, чем красота обнаженного тела, пожалуй, самого знаменитого открытия греков. Диалектика ткани и тела — главный секрет греческого искусства, ключ к пониманию греческой системы жестов и общей манеры поведения; и в тех произведениях искусства, где ткани нет, само ее отсутствие уже является выразительным. Сочетание обнаженного тела и ткани, какой бы именно

ни была его логика, неизменно сохраняло эстетическую привлекательность — во многом из-за той абсолютной уверенности, с которой древнегреческие мастера обращались с любым аспектом этого сочетания. Полная обнаженность в греческом искусстве, в тех случаях, когда в изображении отсутствует даже сброшенная с тела одежда, тем более поразительна, что мы наблюдаем ее через голову многовековой христианской традиции, привыкшей целомудренно прикрывать гениталии.

Грекам также не были чужды представления о том, что одежда и скромность связаны между собой — но в этой своей функции одежда годилась для женщин, а не для мужчин. Полностью обнаженная женская фигура в греческом искусстве появляется довольно поздно, и стоит она, как правило, наклонившись вперед, в закрытой защитной позе, а рядом с ней лежит ее одеяние. Обнаженный мужчина-грек стоит прямо и зачастую вовсе не нуждается в какой бы то ни было драпировке — либо же откидывает ее за спину, дабы еще больше подчеркнуть красоту нагого тела. У Аполлона Бельведерского и ватиканского Мелеагра, признанных образцов мужской красоты, драпировка свисает позади, оставляя фигуру открытой. Плащ Аполлона, "спускающийся приятными складками... вносит в композицию ласкающее глаз разнообразие, ни в малой степени не лишая зрителя красот обнаженной натуры", — пишет Хогарт. Мужчины-греки носили такого рода одеяния только ради пущей элегантности, чтобы тем выгоднее подчеркнуть обнаженность передней части тела.

<...>

Проблема того, как согласовать легкий трепет приведенной в движение материи и тяжесть мрамора была вполне разрешимой для греческого скульптора эллинистических времен, прошедшего выучку многовековой традиции, которая с давних пор старалась передать одну субстанцию через посредство другой. <...>

Развевающееся платье Ники Самофракийской неизменно превозносилось как образец динамической экспрессии, за возникающее ощущение, что эта крылатая фигура и в самом деле вот-вот оторвется от земли, однако самое сильное впечатление производит все-таки сама драпировка, ее поразительные каменные складки. Динамичность движений здесь не следует переоценивать. Уже высказывалось аргументированное мнение о том, что сложная драпировка, которую мы видим и на этой, и на многих других скульптурах эллинистического времени, прежде всего отражает позднегреческие представления о рельефной ткани как о пластичной и текучей, чья неровная поверхность подхватывает переменчивую

игру света — в противоположность гладким линейным поверхностям, принятым в V веке и ранее. Однако помимо общего привкуса стилистической свободы, свойственного эллинистической скульптуре — трактовка ткани в этом смысле следует параллельным курсом трактовке человеческой плоти и волос, — остается некий элемент обобщения, сохранявшийся в передаче драпировки на протяжении всех периодов существования греческого искусства. Ткань, насколько бы натуралистично она ни выглядела и как бы свободно себя ни вела, не копировалась с натуры — она выстраивалась, и выстраивалась продуманно. <...>

Другие, более поздние, пластические школы, прибегавшие к активному использованию "драматической" драпировки — такие как готическая или барочная, — критиковались не за излишнее нагромождение тканей и не за то, что в том или ином случае ткань была неуместна, а за нелепую и "неестественную" манеру заставлять ее жить собственной жизнью, отличной от жизни тела. Груди, локти и колени греческих статуй настолько убедительно и расчетливо вырисовываются из-под складок ткани, что драпировка слишком ровно облегающая тело или, наоборот, ведущая себя слишком своевольно, выглядит подозрительно. И тем не менее одежды Ники ничуть не менее эксцентричны, чем одежды какого-нибудь ангела в исполнении Бернини. <...>

В некоторых скульптурах эллинистического периода, изображающих драпированные женские фигуры, используется эффект наложения одного тонкого слоя материи на другой, так что противоположно ориентированные системы складок пересекаются между собой. Тело, хотя и угадывается сквозь тонкую ткань достаточно явственно, как того и требовали общепринятые конвенции, здесь значит гораздо меньше, чем образованный одеждой сложный поверхностный узор. Ощущение, что подобного рода сосредоточенность на ткани как на феномене в каком-то смысле есть признак упадка и что "чистая" форма предполагает подчинение ткани телу, помогает упрочить представление об эллинистической культуре как о декадентской.

Интерес, который греки испытывали к абстрагированной передаче тканей, более всего заметен, конечно же, в архаической скульптуре, где геометризирована как одежда, так и сами человеческие тела. Тонкую и ровную плиссировку платья, в которое одеты коры VI века, до сих пор не удавалось воспроизвести в реальной ткани, хотя подобные попытки предпринимались неоднократно, особенно на сцене, в частности, для знаменитого балета Нижинского "Послеполуденный отдых

фавна"; для имитации архаических шерстяных складчатых тканей совершенно негреческий тонкий шелковый маркизет был украшен аккуратно простроченными и отглаженными складками. Вполне может статься, что в действительности ткань подобным образом заглаживали крайне редко, а настолько строгую форму и вовсе сообщали ей на одних только скульптурных изображениях — но все же драпированы они с таким вкусом, что возможность эта представляется маловероятной. В любую эпоху изображение элегантно одетого человеческого тела бывает напрямую обусловлено идеалами красоты, имеющими вполне реальную портняжную основу; сколь высока ни будь степень стилизации, она неизменно окажется созвучна — в той или иной степени — современному ей способу превращать ткань в одежду. Археологические данные позволили восстановить практику ручного обжима складок, которые затем закреплялись при помощи шлихты или клея. А когда мы видим на скульптурных изображениях край одежды, изогнутый равномерной мелкой волной, это может оказаться на поверку вовсе не попыткой передать в камне легкое дуновение набежавшего ветерка, а следствием того, что при выработке реальных тканей, ближе к концу каждого куска, ткачихи особым образом работали с утком, заплетая обратно в ткань нити основы и тем самым создавая по краю подобный "гребенчатый" эффект.

<...>

Визуальные репрезентации драпировки в позднейшем европейском искусстве восходят к античной скульптуре, а не к античной живописи. Для двухмерной передачи особенностей ткани в греческом искусстве существовали совсем другие конвенции, как то показывает даже самое беглое сопоставление скульптуры с вазописью или фресками. Двухмерная материя в греческом и римском искусстве, несмотря на то что в каждую конкретную эпоху связь с современной скульптурной традицией вполне ощутима, изображалась по своим законам, и художники никогда не пытались заставить ее выглядеть так, как будто она не нарисована, а вырезана в камне. Стремление передать в рисунке или в живописи трехмерность скульптурных складок — удел последующих эпох.

В греческой вазописи линии, которые обозначают свисающую или собранную складками материю, выглядят неестественно, особенно на фоне того, как эти же самые складки и в это же самое время изображались скульпторами. Судя по всему, вазописцы куда охотнее стилизовали ткань, чем человеческую анатомию. Тело в V веке уже могло изображаться в перспективе, а в отношении ткани подобная техника не

применялась, хотя могла бы помочь добиться более реалистичной ее передачи. Для того чтобы разработать способы передачи "естественного" вида ткани и заставить ее казаться настоящей, грекам требовались три измерения. А в двух продолжали сохраняться прежние, вполне очевидные способы стилизации. Вазописные складки и кромка платьев зачастую прописаны как бы на глаз — при сохранении общей точности и элегантности рисунка, — чего ни один скульптор ни за что бы себе не позволил. Неоклассические линейные графические стили, которые позже взялись имитировать античность, совершали, как правило, одну и ту же ошибку: стремление прорисовать каждую мельчайшую складку с той тщательностью, которая у самих греков была зарезервирована за искусством скульптуры. Свободные, легкие, почти каллиграфические по исполнению линии, передающие ткань, можно обнаружить на греческих вазах едва ли не всех известных периодов: устойчивость графических традиций, практически не подверженных влиянию со стороны скульптурных техник и ценностей, являет себя здесь в полной мере.

Нам, конечно, очень недостает представления о цветах и узорах, свойственных одежде древних греков. Исходно статуи раскрашивались, но краска сошла, и последующие века воспринимали античную скульптуру как монохромную. Узоры появляются на вазописных изображениях, но техника рисунка там столь нарочито условная, что интерпретировать их должным образом не представляется возможным; ну и, конечно, цветовая гамма сведена к двум цветам, красному и черному, иногда с добавлениями желтого и белого, а в более поздние времена — еще и зеленого, и пурпурного, но крайне редко. Таким образом, позднейшие поколения оказались лишены представления о настоящих цветах, в которые одевалась античность; наши глаза привыкли к цвету мрамора и черно-красных греческих ваз. О цвете говорят документы, но документам трудно доверять, не имея перед глазами зримых примеров.

Римские настенные росписи в Помпеях и Геркулануме, следующие греческим образцам, — источник наших представлений об античных цветах и демонстрация еще одного двухмерного способа изображать одежду, также независимого от скульптурной традиции. Роскошные живописные ткани, которые украшают здесь человеческие фигуры и служат для них одеждой, исполнены в чрезвычайно свежей и экономной манере, с той художнической прямотой выражения, до которой западное искусство заново дозреет только к концу XVI века. Мазки ложатся очень просто, и сама эта простота позволяет зримо представить, как материя натягивается или собирается

в складки; метод свежий и тем более эффектный, что применяется он для передачи вполне устойчивых мотивов — драпировочных "фраз" или "эпизодов", которые встречаются в античном искусстве повсеместно: арка из ткани, которая развевается над головой танцующей фигуры, складки плаща, которые веером расходятся за спиной сделавшего выпад воина. Все эти декоративные "жесты ткани" в классической настенной росписи никогда не выглядят неестественными или риторическими, потому что исполняются с той же отчетливой и хладнокровной уверенностью, которая свойственна одеждам самым аскетичным и бесстрастным. Стилистика, в которой выполнены фрески, никогда не привлекает особого внимания к линейным узорам, образованным краем одежды, к ритмически повторяющимся на поверхности ткани мелким впадинам, не прослеживает по всей длине каждую волнообразную складку. Это — удел скульпторов.

На лучших из этих фресок мазки, уверенные и тонкие, покрывают поверхность тканей и моделируют мускулы в явственно ощутимой попытке передать сугубо "импрессионистическое" впечатление реальности — эффект игры света на изменчивой красочной поверхности. Таким образом, художников привлекает красота материала в сугубо земном, повседневном смысле этого слова, а вовсе не его возвышенный эстетический потенциал и не его способность подчеркивать драматичность момента. Будучи включены в интимизированное частное пространство и рассчитаны на созерцание с достаточно близкого расстояния, эти картины, несмотря на мифологические сюжеты, по большей части не воспринимались в монументальном или же сакраментальном контексте, хотя и чисто декоративными не были тоже. И даже на фресках Виллы Мистерий в Помпеях (случай довольно необычный), насыщенных драматизмом и религиозным чувством, драпировка не несет никакой самостоятельной эмоциональной нагрузки, как то обычно бывает в западноевропейской живописи на религиозные сюжеты — или в значительной части классической скульптуры.

Развитие отдельных элементов скульптурной драпировки, пусть даже они и превратились в Средние века в жесткие формулы или абстрактные декоративные схемы, вполне возможно проследить вплоть до конкретных античных источников. Первые вновь наметившиеся ростки натурализма в скульптуре, одновременно в итальянской и французской, привели со временем к резким различиям между Италией и Северной Европой в ренессансных стилях драпировки и,

шире, к различиям в общем восприятии унаследованных от античности взаимоотношений между одеждой и человеческим телом. Вновь изобретенная в эпоху раннего Возрождения натуралистическая манера изображения драпировки вошла в христианский мир, который в равной степени был привержен представлениям о греховности всего материального и усердно развивал производство шерстяных материй.

Древние греки выделывали свои шерстяные ткани дома и находились с ними в интимизированных семейных отношениях. Подобно молоку или маслу, ткань являлась одним из основных элементов бытия, чей источник был близок и понятен. Средневековый европеец жил не столько бок о бок с шерстяной тканью, сколько за ее счет; и ткань для него была продуктом не столько естественным, сколько экономическим, крайне значимым продуктом промышленной выработки. В качестве материальной субстанции она по статусу соответствовала стеклу или чеканному золоту, знаменуя собой скорее триумф человеческого стремления к искусным (и искусственным) предметам роскоши, нежели его способность жить в гармонии с плодами земными. Со временем, как то было и в случае с драгоценными металлами, специфически "роскошные" свойства ткани — текстура, цвет, вес — могли и вовсе сделаться предметом мифологизации. Красота изысканных тканей начала порождать и питать жизнь воображаемую, богатства же красоты телесной виделись в совершенно ином освещении. Природа человека и природа ткани перестали восприниматься как производные от одного и того же корня.

Это разграничение между телом и тканью, одевающей тело, столь чуждое античному духу, лежит в основе всей последующей традиции идеализации ткани, сложившейся в западном искусстве. Именно из него произрастает представление о драпировке как о чем-то таком, что, скрывая человеческую плоть, по определению испорченную и ничтожную, при этом сообщает ей некое дополнительное измерение, способное ее приукрасить и облагородить. По видимости, безногих ангелов с картин эпохи Возрождения поддерживают на весу скорее даже не крылья, а пышные, вздувшиеся пузырями одежды, которые не столько покрывают не подобающие ангелам нелепые человеческие члены, сколько подменяют их собой. Ткань не только сама по себе лучше и красивее плоти, но и представляется более близкой к святости, а потому и в преддверии рая выглядит гораздо уместней. Не может же она быть грешной.

<...>

<...> "Натурализм" в отношении одежды, судя по всему, берет свое начало в Греции V века до н. э., и нигде больше. И

только они, эти первые натуралистические опыты в скульптуре, научили все последующие поколения европейцев так настраивать оптику своего глаза, чтобы он специально считывал эстетические особенности "поведения" тканей. С приходом христианства эта способность к считыванию тонких деталей никогда не исчезала совсем, но ей приходилось во все большей и большей мере соотносить себя с христианским принципом стыда в отношении наготы и половой жизни, который, помимо прочего, требовал от одежды, чтобы она закрывала большую часть тела — и одновременно позволяла более чем внятно отличать мужчину от женщины. И тело не просто должно быть скрыто от глаз, оно еще и не должно показывать себя сквозь одежду — даже ненароком. Это сочетание обильной драпировки — унаследованной от античности — с привычкой стыдиться поверхности собственного тела, да еще и осложненное соображениями, проходящими по ведомству коммерческих и статусных отношений, в конечном счете произвело на свет те сложносоставные, развевающиеся, театральные одеяния, в которых щеголял XV век, — одеяния с таким великолепием воспроизведенные тогдашними живописцами и составляющие с тех пор предмет неизменного восхищения для ностальгирующих душ и для художников, иллюстрирующих детские книжки.

Раннесредневековое, ориентированное на драпировку платье представляло собой вариации классического средиземноморского костюма в сочетании с теми или иными элементами, внесенными пришельцами с севера и востока. Следов кройки и подгонки по фигуре или, напротив, стремления исказить фигуру здесь немного; однако платье это уже не представляет собой прямоугольных кусков ткани, обмотанных вокруг туловища, эти куски теперь сшиваются во что-то вроде мешка с рукавами и отверстиями для головы и ног, что, естественным образом, позволяет куда лучше скрыть человеческое тело. Ткань, пусть даже и сшитая этаким незатейливым образом, по-прежнему ниспадала роскошными геометрическими фигурами, задавая изысканные сочетания углов и плоскостей; она развевалась по ветру, волочилась по земле или свисала целым каскадом складок; и подобно тому, как средневековый костюм унаследовал от костюма античного свободу и богатую выразительность, так и в области визуальных репрезентаций находки античного искусства не пропали даром. Вариации на тему свободно ниспадающих складок, в сколь угодно упрощенных формах, продолжали на протяжении двенадцати веков задавать общий тон того, как должна выглядеть одежда — и в искусстве, и в жизни.

Где-то в XIII веке в европейских представлениях о том, что такое красивая одежда, возник эстетический импульс к значимому искажению человеческой фигуры и креативному крою (в противоположность креативному искусству драпировки и отделки) — здесь, собственно, и берут начало современные представления о моде. Впервые в истории женщины принялись утягивать талию и подбривать лбы; у обоих полов форма рукавов и обуви начала приобретать не функциональное, а декоративное и символическое значение; головные накидки и шляпы стали жесткими и выделывались по шаблону; юбки теперь удлинялись или укорачивались, воротнички становились выше или ниже; а различные части костюма делались широкими или зауженными применительно к различным частям тела. Подобная вариативность навсегда определила приверженность европейской моды к самой идее перемен — в масштабах, неведомых античному миру и раннесредневековой Европе. Впрочем, вне зависимости от того, что рукава становились разрезными, а корсажи начинали плотно облегать фигуру, свободная драпировка продолжала оставаться константой. Вплоть до XVI века она неизменно появлялась хоть где-нибудь как непременный элемент модного костюма, необходимая демонстрация бьющей в глаза роскоши.

Драпировка в европейском искусстве эпохи Возрождения отнюдь не сводилась к попыткам рабского копирования античных средиземноморских традиций. Со времен позднего Средневековья в Северной Европе появилась своя собственная концепция того, как должна выглядеть ткань на изображениях, концепция эта опиралась на аутентичную готическую традицию и не нуждалась в опоре на авторитет античности. В Германии и в Нидерландах развевающиеся уголки покровов и массивные подолы одежд, широко раскинутые по полу или по земле, появляются на протяжении двух веков снова и снова, вырезанные из дерева, отлитые в металле, на картинах и на гравюрах — вне всякого античного аллюзивного контекста. Взамен в изображении ткани вырабатывается совершенно самостоятельный, чисто готический лексикон "жестов" и "фраз"; одним из довольно рано появившихся в северной традиции фирменных знаков является развевающийся уголок одежды — притом что вся атмосфера изображения остается спокойной, как это происходит с шарфом стоящего на лестнице человека в "Снятии с креста" Рогира ван дер Вейдена. Этот одинокий взметенный ветром уголок на фоне массы других, совершенно неподвижных предметов одежды, "рифмуется" с беспокойным множеством замявшихся под самыми неожиданными углами друг к другу складок, пусть даже они и находятся

в состоянии покоя; такое впечатление, что в нем воплощается вся нервическая энергия, все то бескрайнее, хотя и не проявленное до поры обилие возможностей, которое таится в материи, главном мирском богатстве Северной Европы. Одеждам на всех этих полотнах свойственна совершенная целостность. Сколь бы многочисленны ни были и под какими бы углами ни разбегались складки, платье остается безупречным; и в этом своем жизнеподобии самостоятельная, отдельная от человеческого тела витальность драпировки становится куда убедительнее, чем того можно было бы добиться за счет каких-либо искусственных эффектов.

Итальянская драпировка эпохи Возрождения ориентировалась на византийскую, а та, в свою очередь, — на античную, и от одного стиля к другому складки все больше отражали стремление к идеальному, следуя за линиями человеческого тела и копируя их. Гармонические изгибы ткани, более или менее стилизованные, постепенно утрачивали жизнеподобие, приобретая взамен способность попадать в такт идеализированным движениям и жестам. К XV веку в живописных и скульптурных изображениях одежды была достигнута такая грация, равняться с которой не могли даже изображения обнаженной натуры — куда более абстрактные, а порой и откровенно неуклюжие. Древние греки искусством драпировки добились невозможного — настолько тонкой стилизации сочетания одежды и тела, что видимое сделалось фактически неотличимо от идеального; художники итальянского Возрождения, насквозь пропитанного христианством и неоплатонизмом, сконцентрировались на идеальном, выработав целый лексикон условностей, при помощи которых идеальное являло себя сквозь покровы материи — зачастую только для этого она и была нужна в изображении.

Северная готическая традиция отмежевалась от итальянской манеры выстраивать перспективу по принципу проскений-сцена в пользу своего рода ступенчатого принципа, при котором более отдаленные объекты располагаются выше и уменьшаются в размерах, а передний план как будто опрокидывается вперед и вниз, едва ли не зрителю под ноги. Избыточные объемы ткани, пошедшей на центральные фигуры картины, зачастую расстилаются художником именно на этой наклонной поверхности; а поскольку выглядит она еще более просторной, чем на самом деле, за счет того, что зритель может окинуть ее взглядом всю целиком, не искаженную эффектом перспективы, — тем большую поверхность может занять ткань. Драпировка живет здесь собственной, весьма насыщенной и выразительной жизнью, недоступной и непредстави-

мой для строгих, покойно застывших где-то высоко над ней человеческих рук и голов. Тяжелые шерстяные подолы летящих ангелов плывут в неподвижном воздухе в этаком художественном беспорядке, равно как и трепещущие кончики шарфов и покрывал; отнюдь не ветер возбуждает их движение, но переизбыток собственной внутренней энергии. В этих антигравитационных драпировках Северного Возрождения сквозит та же диковатая поэзия, что и в квадратных километрах материи более земной, разостланной на первом плане. Самая интересная в этом смысле особенность — довольно странный вид этих выплывающих из ниоткуда ангелов, каждая складка на костюме которых прописана тщательнейшим образом и, судя по всему, следует собственной, весьма причудливой логике ткани (а не какой-либо общей логике построения сцены). Складывается такое впечатление, что художника более всего волнует не общая грация движений, а почти болезненная сосредоточенность на правдоподобии мельчайших деталей. Во фламандской живописи это впечатление усиливается благодаря доведенной до совершенства технике передачи фактуры ткани — впрочем, это, разумеется, относится также и к фактуре кожи, волос, дерева и стекла. Однако к своевольному поведению, свойственному тканям — которых на картинах всегда в избытке, — художники проявляют все-таки куда больше внимания и уважения, скорее будучи склонны следовать его прихотливым и переменчивым правилам, нежели пытаясь подчинить ткань собственным целям.

Северные художники ощутили те поэтические возможности, которые кроются в ткани, раньше своих итальянских коллег — по крайней мере в том, что касается наиболее радикальной части спектра. Такие немецкие живописцы как Альтдорфер и Грюневальд, открыли для материи новые, визионерские измерения — в той невесомой, свисающей клочьями, сияющей внутренним светом драпировке, которая была совершенно немыслима в классически ориентированном итальянском искусстве на протяжении нескольких поколений, вплоть до вычурных конвульсий маньеризма. Эти немецкие и фламандские мастера были настолько уверены в своем умении передавать особенности ткани, что могли себе позволить вполне экспрессионистские, по сути, ходы: ткань на их полотнах неизменно вещает голосом уверенным и властным, сколь бы истерично и непредсказуемо она себя ни вела. Непредставимых размеров набедренная повязка распятого Иисуса может развеваться по обе стороны от креста; но каждый нервический изгиб ткани кажется настолько убедительным, что общей композиции это

сообщает дополнительное — кумулятивное — ощущение торжественности и серьезности момента, без какого бы то ни было привкуса недопустимой вольности. (Именно это качество заставляет воспринимать как вполне подобающую практику показа гравюр Дюрера в качестве иллюстраций к музыке Баха, несмотря на то что эти творцы принадлежат к разным эпохам; в обоих случаях перед нами одна и та же неистощимая — линейная — изобретательность, в которой строгая логика сочетается с отчаянной творческой дерзостью.)

В конце XVI века, когда модная одежда кроилась весьма сложным образом и облегала тело настолько туго, что о какой-либо свободной игре ткани говорить почти не приходилось, на заднем плане портретов часто появляется драпировка, причем ведет она себя более чем свободно и выглядит, как правило, слишком агрессивной и энергичной, чтобы ее можно было счесть какой-то конкретной деталью интерьера.

Возникшая в живописи конвенция, согласно которой за спиной у портретируемого следовало повесить кусок ткани, уходит корнями во вполне реальное историческое обыкновение помещать позади того места, где сидит или стоит король, почетное полотнище, балдахин — христианские художники на протяжении многих веков привыкли видеть в нем еще и вполне уместный фон для сидящей на троне или стоящей Мадонны. Самый факт его появления за спиной у состоятельного горожанина являл собой весьма живописное, если даже не символическое, расширительное переосмысление той привычной роли, которую он выполнял за спиной у Царицы Небесной, и должен был откровенно льстить модели. Однако оригиналы подобного рода тканевых задников вешались, как правило, совершенно ровно, наподобие гобеленов, с тем, чтобы как можно нагляднее продемонстрировать узор или фактуру; на полотнах эпохи Раннего Возрождения они выполняют функцию мозаики или расписной стены, ничем не обнаруживая своей тканой природы. В XV веке любили "естественно" выглядящую драпировку и свободную игру ткани; так что художники вполне могли аранжировать фигуры своих персонажей достаточно прихотливыми извивами ткани, выстраивая композиции, не предполагавшие большого количества дополнительной драпировки, для того чтобы доставить удовольствие глазу. Балдахину не было нужды вздуваться или собираться складками до тех пор, пока одежда — на какое-то время — не перестала этого делать.

<...>

По многим портретам Бронзино и его последователей, к примеру, хорошо заметно, как потребность иметь в поле ви-

дения некоторое количество красиво ниспадающей ткани может переместиться с самой центральной фигуры на фон, где эта живая и энергичная субстанция принимается вовсю распоряжаться вниманием зрителя, хотя к окружающей обстановке она никакого касательства не имеет. Примерно в это же время на некоторых елизаветинских портретах появляются целые массивы жесткоскладчатой, металлического оттенка, материи, которая не висит за спиной у портретируемого, а отводится в сторону словно для того, чтобы обнаружить его или создать для него рамку. Почти иконописная строгость в изображении фигур и одежды на этих полотнах, столь непохожая на ту уверенную и элегантную манеру, в которой своих персонажей подает Бронзино, сообщает старательно изломанным и ассиметричным складкам драпировки какую-то причудливую пикантность. В каждом таком случае перед нами — не балдахин, но попытка создать при помощи полотнища устойчивый драматический эффект, привнесенный в композицию по вдумчивом размышлении, в согласии с актуальным художественным вкусом: и это притом, что сам дух этой школы живописи категорически не приемлет драматических и чувственных эффектов.

К середине XVI века материя, из которой шилась одежда, становилась все более жесткой и кроилась по все более строгим лекалам. Именно в этот период, кстати, появляется и начинает свою карьеру накрахмаленный воротник — вместе с набивными гульфиками, юбками с фижмами и прочими подбитыми изнутри предметами туалета, от которых со временем отказались. Однако вид развевающейся по ветру ткани настолько прочно устоялся в европейских визуальных канонах красоты, что именно на протяжении этого чопорного периода в европейской моде, предшествовавшего эре барокко, впервые в истории весьма значительные массивы ткани начали появляться в произведениях искусства — в качестве сугубо воображаемого декоративного пейзажа. <...>

Гирлянды и сложносочиненные матерчатые поверхности сделались в изобразительном искусстве явлением самодовлеющим, но было бы крайне интересно узнать, отражалась ли эта художественная практика в реальных интерьерах эпохи. Привычка нагромождать целые горы и водопады из ткани для создания ничем не оправданных декоративных эффектов с единственной целью — получить наслаждение от самого ее вида, по всей вероятности, изобретена была не декораторами, создававшими интерьеры, а живописцами XVI века: именно они впервые стали прибегать к той риторике искусной драпировки, которая за последующие несколько сотен лет обросла мно-

жеством условностей. До XVII столетия в комнатах европейцев, судя по всему, драпировок как таковых почти не было, если не считать балдахинов над кроватями, которые должны были оберегать спящих от сквозняков и света. С той же целью занавешивались и дверные проемы, но оконными занавесками, видимо, не пользовались совсем. Взбитые облака невероятных по размерам драпировок, которые заключают в свою отдельную раму столь значительное количество моделей на портретах XVI века, совсем не появляются на картинах с изображениями реальных интерьеров, в которых эти персонажи обитали. Гобелены и тканые ковры на стенах растягивались так, чтобы висеть совершенно плоско; а если ткань собирается складками, значит, перед нами полог, закрывающий кровать или дверной проем, и в сторону его отодвинули для удобства, а не для красоты. <...>

Глава II. Нагота

Для западного мира различия между состоянием одетости и раздетости всегда носили принципиальный характер. То же самое можно сказать и в отношении других цивилизаций, но представление о том, что такое человек "одетый", бывает порой настолько подвижным, что сама система различий может оказаться весьма непохожей на ту, к которой мы привыкли. Антропологи и социологи уже успели доказать, что у народов, которые не носят одежды, тем не менее вырабатывается привычка украшать тело. Судя по всему, эта привычка, так же как и западноевропейский обычай носить одежду, выполняет знаковую функцию, делая тело в полном смысле слова человеческим. Здесь мы сталкиваемся со стремлением одеваться в его чистом виде, без необходимости скрывать от посторонних глаз ту или иную часть телесной поверхности или скрадывать ту или иную особенность фигуры.

В те времена, когда научные методы начали впервые применяться к анализу людских обычаев, в западном обществе было принято носить многослойную, сложным образом сшитую одежду. Исходными мотивами, которые заставляют человека одеваться, было принято считать природную стыдливость и защитные функции, так что возникновение самой по себе идеи о "голом дикаре" выглядит вполне естественно. Однако в XX веке образованные европейцы стали носить значительно более простые и легкие вещи, которые, тем не менее, по-прежнему обладают весьма высокой семантической емкостью, так что в последнее время нам приходится уделять вни-

мание глубинным и достаточно сложным мотивам, управляющим одеждой любого типа, включая и ту, в которую облачают свои тела "нагие" народы. В системе этих мотивов весьма значимую роль естественным образом играют и представления о раздетости. Чем более значима одежда, тем больше значения приписывается и ее отсутствию, и тем большее внимание люди уделяют всему, что касается взаимоотношений между двумя этими состояниями.

Сравнительное изучение большого количества культур приводит нас к выводу о том, что на самом деле в естественном состоянии взрослый человек пребывает тогда, когда он одет или надлежащим образом украшен, но при этом свойственное ему чувство "природности", "естественности" внушает ему глубокое уважение к обнаженной натуре. Это чувство может внушить ему не только представление о "греховности" наготы, к коим на протяжении многих поколений успели настолько прочно привыкнуть протестанты, но также и о том, что она "естественна" — каковая идея в немалой степени обязана своим обаянием тому обстоятельству, что она представляет собой чистейшей воды фикцию. Нагота — состояние не природное, а вполне благоприобретенное, привычное для каждого из нас, но ни для кого не естественное, и значимые исключения только подтверждают это правило. Исключения эти могут носить ритуальный, театральный или "домашний" характер, но они неизменно специфичны, вне зависимости от того, насколько часто встречаются.

Нагота зачастую напрямую связана с сексом, и для тех, у кого секс ассоциируется с чувством стыда, приобретает поэтому оттенок постыдности. Впрочем, христианский Запад, где эта иудаистская идея успела пустить весьма глубокие корни, является наследником еще и других средиземноморских культур, привыкших любоваться красотой человеческого тела. Опираясь на оба эти источника одновременно, западная цивилизация умудрилась синтезировать представление об исходной целомудренной красоте человеческой наготы, отличной от простой физической притягательности, — идею о красоте духовной, берущей происхождение разом из естественности и подверженности разложению, а не из физического совершенства. Для христиан сама эта подверженность человеческой плоти, одетой или обнаженной, разложению, обнаруживается в том, как легко она поддается тлению и греху, однако на фоне естественным образом одетых тел нагое тело выглядит особенно уязвимым, поскольку в любой момент готово показаться стороннему глазу не только эротически привлекательным, но и слабым, уродливым или нелепым.

И если в среде привыкших к довольно плотной одежде западных христиан нагота и могла отсылать к чему-то более возвышенному, чем грубая физическая похоть, то для того чтобы сделать ее прекрасной, могучей и воистину естественной, требовалась сила искусства. Более того, подобную трансформацию следовало осуществлять такими способами, которые позволяли не только выражать прекрасные истины о наготе, но и транслировать подспудно сопутствующее ей ощущение греховной сексуальности. И прежде всего западным изобразительным искусствам пришлось изобрести наготу, которая оттеняла бы особую семантику одежды — ее символическую значимость, ее особую органическую жизнь, подверженную изменчивой и преходящей моде, ее влияние и власть.

Идеализирующая функция, в обязательном порядке присущая серьезному искусству изображения наготы в "одетых" обществах — выражать тоску по изначальной целомудренности, изначальной человеческой красоте, изначальной сексуальности, — с неизбежностью приводит к побочным следствиям. Таковым следствием со всей очевидностью является восприятие наготы как особого костюма, который можно описать как визуальную экстраполяцию чувства "облаченности в природное достоинство". Нагие фигуры, представленные в скульптуре и живописи, дали возможность превратить наготу в один из стилей одежды, стиль, который, как правило, неприемлем для приверженцев скрывающих тело костюмов.

Идеализация обнаженности в конечном счете сводится к двум основным формам. Одна превозносит ничем не украшенное тело как невинное по праву рождения — подобно телу животного — и потому прекрасное в своей непорочности. Другая подает раздетое человеческое тело как великое достижение божественной силы искусства, а потому — непорочное в прекрасности своей. Представление о том, что при помощи нагой человеческой фигуры можно представить какую-нибудь базовую добродетель, получало таким образом законную прописку в рассуждениях как на духовные, так и на чисто мирские темы; и скрытое удовольствие, проистекающее от созерцания наготы в публичном пространстве "хорошо одетой" цивилизации, вне всякого сомнения вносило свою лепту в развитие подобного рода экзальтированных идей. Однако идеи эти расцветали, должно быть, еще более пышным цветом, оттого что самым привычным, самым желанным и самым знакомым для глаза было тело одетое. О том, что под одеждой оно нагое, надлежало догадываться, иной раз не без труда. Одежда — отвлекающая внимание, радикальным образом отличная от человеческой плоти, но совершенно для нее

необходимая — стала восприниматься либо как несущественное украшение, кричащее излишество, которое всегда остается куда менее привлекательным, чем то живое, сакральное тело, которое она под собой скрывает, либо как защитный и обманчиво манящий покров, нужный для того, чтобы скрывать природное ущербное состояние человеческого тела, когда-то безупречное, но впавшее в ничтожество и срам в результате грехопадения.

Так же как теория о естественном целомудрии человеческой наготы должна была подпитываться восхищением при созерцании оной, так и христианская теория о том, что одежда по самой своей сути есть нечто противоестественное и позорное, результат грехопадения, несомненно, имела под собой непосредственный опыт переживания эротической притягательности одежды — даже самой скромной. Одежда заставляет скрытое от глаз человеческое тело выглядеть не менее, а более привлекательным. Нагота, конечно же, весьма действенным способом провоцирует чувство вожделения; но и у одежды, скрывающей наготу, есть свой собственный способ и, судя по всему, даже более действенный. <...>

Новые течения в моде изменяют внешний вид одежды, однако вместе с одеждой вынуждены меняться и образы человеческих тел. Образ обнаженного тела, который не имел бы никакой связи с образом тела одетого, практически невозможен. Таким образом, с тех пор как родилось современное представление о моде, каждая обнаженная фигура, изображенная на полотне или в камне, несет на себе призраки отсутствующих одежд — наблюдаемые иной раз вполне отчетливо.

<...>

Когда портновское искусство соединяется с человеческой плотью, для того чтобы создать законченный идеальный образ живого и одетого тела, оно может задействовать самые разные искусственно созданные материалы — красители, бисер, шелк или мешковину, — не говоря уже о бескрайних возможностях воображения и творческих навыков. Тело, конечно же, так и останется телом. Однако полученный результат может оказаться настолько стилизованным и абстрагированным, что эта стилизация коснется и тела тоже. Когда самые разные люди в массовом порядке носят вещи, скроенные на один лад, их тела тоже начинают казаться отлитыми в одной и той же форме — или возникает подспудное желание, чтобы они таковыми были. Предельный случай — это рота одетых в форму солдат, однако любая группа мужчин в одинаковых деловых костюмах являет нам ту же попытку стилизовать тела и жесты в соответствии с неким единым образцом. Люди при-

выкли видеть друг друга одетыми; и одежда — тот фильтр, сквозь который мы получаем представления о человеческой телесности в наиболее общем виде. При таких исходных данных, непосредственное столкновение с наготой заставляет наш глаз автоматически ее идеализировать — то есть редактировать визуальные данные. Лучше всего этот процесс заметен по сделанным в разные эпохи фотографиям обнаженной натуры; здесь мы можем воочию наблюдать, как зрительное восприятие, моделируемое современной ему модой, тем не менее выдается за объективную истину.

Лишенные одежды тела выявляют поразительную неорганизованность человеческой наготы, неаккуратную, непредсказуемую всеохватывающую изменчивость, которая не имеет ничего общего с представлениями об идеале — даже если это идеал той самой изменчивости. Искусству, однако, вполне по силам навязать тем образам обнаженных тел, которые оно предлагает нашему вниманию, свою собственную, идеальную вариативность или свои собственные, идеальные отношения подобия, тем самым поспособствовав созданию в бесконечном разнообразии человеческих обликов куда более приемлемой упорядоченности — в соответствии с потребностями современного визуального восприятия, приученного к виду современной одежды. Таким образом, на представления о том, как должно выглядеть обнаженное человеческое тело, оказывает влияние не только устойчивая привычка видеть людей одетыми, но также и подспудная идеализирующая сила искусства ню, включая массовую фотографическую продукцию, которая также стилизует натуру в согласии с модой. Более того, фотографии и фильмы зачастую предоставляют нам куда больше возможностей для наблюдения за изменчивостью человеческой наготы, чем реальная жизнь. Таким образом, нагота подвержена изменениям, согласованным с текущей модой, не только в художественной традиции, но и в повседневной жизни. Чувство того, что является "естественной" наготой в реальной жизни, в значительно большей степени воспитывается искусством, нежели собственным опытом, люди хотят выглядеть без одежды так же, как нагие тела на картинах, им хочется казаться похожими на безупречные "естественные" образцы. Раздетость, как своего рода костюм, в тех случаях, когда она предназначена для визуального восприятия — партнером, камерой, аудиторией или в зеркале — подчиняется стандартам, заданным современной "нагой" модой. Вполне "естественные" жесты и постановка головы, шеи, плеч, спины и ног соотносятся с этой модой, с господствующим стилем эпохи — так что фотографии с обнаженной натурой все равно

четко выдают то время, когда они были сделаны. Люди без одежды чаще всего ведут себя так, как если бы они были одеты; и таким образом на "естественную" наготу оказывают влияние два типа наготы идеальной: один, создаваемый непосредственно одеждой, а другой — искусством ню, которое тоже зависит от фасона платья. От одежды никуда не денешься, даже тогда, когда она отсутствует.

Хотя нагота семантизирована повсеместно, — так, в некоторых примитивных культурах люди раздеваются во время засухи, чтобы вызвать дождь, — у нас эта семантизация носит преимущественно эротический характер, в особенности если речь идет о наготе женской. Мы уже видели, что вплоть до конца IV века до н. э. греки считали необходимым одевать представленное в скульптуре женское тело с ног до головы, в отличие от тела мужского, христианское же искусство унаследовало и интенсифицировало это чувство особой нравственной щепетильности в отношении женского тела; присущие ему расширительные представления о сексуальности превращают наготу и сокрытие наготы в концепты куда более значимые — в рамках общества, которое фактически назначило женщину живым воплощением сексуальности. Представления об идеальной красоте и о естественности оказались накрепко связаны с наготой, особую значимость которой одежда только подчеркивала; нагота оказалась способна передавать не только самые возвышенные и абстрактные из человеческих идей, но и самые интимные физические ощущения. А невероятная устойчивость образов, связанных с обнаженной женской натурой в изобразительном искусстве, во многом обусловлена этой самой дополнительной эротической смысловой нагруженностью.

На оборотной стороне каждой картины, где обнаженная женщина предстает как олицетворение абстрактной истины или как часть повседневной действительности, неизменно пропечатан образ ее сексуальной власти, и этот образ постоянно просвечивает сквозь первый. Кеннет Кларк убедительно показал, что образов обнаженных женских тел, лишенных эротического импульса, как таковых не существует, каким бы ни были конкретный способ и степень идеализации; и одна из существенных составляющих, от которой зависит этот импульс, — визуально воспринимаемые отношения между обнаженным телом и отсутствующей одеждой. Поскольку эротические ощущения от тела всегда включают в себя и ощущения от одежды, то и ориентированные на усиление эротического эффекта образы тел непременно используют эту связь.

Они подчеркивают выразительный силуэт, позу, общие пропорции тела, в обычной жизни облаченного в модную одежду, с тем, чтобы оно казалось не нагим, а раздетым. Впрочем, западные вкусы касательно одетых тел варьировались настолько серьезно, что ню одной эпохи в глазах другой может не представлять никакого интереса. Мы даже можем принять образ с выраженной эротической составляющей за образ идеализированный — если он не предъявит нам формы, пропорции и детали, на которые мы привыкли откликаться в современной жизни. Девицы с журнальных разворотов на современный взгляд кажутся куда более сексапильными, чем женщины с полотен Тициана, однако те люди, которые заказывали Тициану эти картины, вне всякого сомнения, смотрели на них как на иллюстрации из "Плейбоя". Даже откровенно порнографические "Sedici Modi" Джулио Романо с изображением различных сексуальных поз, столь шокирующие для его современников, для нынешнего зрителя вид имеют на удивление асексуальный: своеобразной "одеждой" для каждого персонажа служит специфически ренессансная фигура, которую в наше время принято ассоциировать с идеализированной — формульной — наготой.

Художественная идеализация наготы не ограничивается стремлением выкроить из нее некую общую идею прекрасного, мало совместимую с природными возможностями человеческого тела. Художники зачастую двигаются и в противоположном направлении — в сторону "реализма", в сторону откровенного любования необычными, остро специфическими деталями. Сей метод может претендовать на полное отсутствие идеализации и на передачу фактов такими, какие они есть; но мы уже имели возможность убедиться в том, что эти факты проходят предварительную — бессознательную — обработку прямым или непрямым ощущением облаченного в одежды тела. Истина в искусстве ню, так же как и красота, строго следует моде.

Оба способа идеализации могут вполне целенаправленно педалировать эротическую составляющую и тем успешнее, чем более четкими являются визуальные отсылки к влиянию моды. Особенно явно это влияние сказывается на тех телах, которые, по мысли художника, должны одновременно казаться гротескными и проникнутыми некой болезненной эротичностью: как в случае с ведьмами Ханса Бальдунга Грина или — в рамках того же временного периода — с некоторыми из потаскушек Дюрера или Урса Графа. Готические изображения (в том числе и современные работы Климта или Шиле) постаревших женских тел, показанных в контрастной паре с молодыми и нежными и наглядно развивающих тему суеты сует, должны внушать отвра-

щение, но при этом сохранять и некую извращенную эротическую притягательность — а посему художник подчеркнуто прописывает модный силуэт в сочетании с морщинами и дряблой плотью. Или другой пример: ню, выполненные в подражание античным или другим идеализированным пропорциям, казалось бы, должны нести исключительно безличные и абстрактные представления о прекрасном, но на самом деле могут самым коварным образом приобрести мощный эротический заряд, если слегка подправить эти пропорции в согласии с современными представлениями о том, как должно выглядеть раздетое тело, — плечи сделать пошире или чуть более покатыми, удлинить или укоротить талию, добавить или убрать в тех или иных местах складки жира. Подобного рода детали, основанные на чувстве одежды, делают обнаженную натуру более "реальной" в восприятии людей своего времени — и, следовательно, более сексапильной и "более обнаженной", счастливо избегая при этом откровенных сексуальных намеков и сохраняя, хотя бы в теории, полную нравственную незамутненность. Неоклассические статуи самых разных эпох, все как одна претендующие на строгое следование оригиналу, можно легко датировать с оглядкой на свойственную каждой конкретной эпохе манеру одеваться и на то, как она может повлиять даже на неизменные греческие образцы совершенной красоты.

Степень, в которой образу обнаженного человеческого тела в искусстве удается избежать — по силуэту, по сочетанию объемов — влияния незримо присутствующей одежды, представляет собой не самый плохой критерий для оценки того, насколько четко он нацелен не на эротический эффект, а на то, чтобы в первую очередь воздействовать на представления зрителя об общечеловеческих ценностях и на беспристрастное чувство формы. Одна из стандартных процедур, нацеленных на воспитание последнего, неизменно состояла в копировании классических формул. Однако практически все величайшие ню западного искусства обязаны своей вечной и не зависящей от изменчивых вкусов силой эстетического воздействия тонкому сочетанию всего перечисленного выше: эмоциональной непосредственности, отсылок к классическим образцам и сексапильности, основанной на игре с современной автору модой. С другой стороны, образы чисто порнографические, в погоне за эффектом достоверности, не только привлекают повышенное внимание к сугубо сексуальным атрибутам, но и максимально эксплуатируют сиюминутную моду в области наготы.

Прямое влияние моды на образы обнаженного человеческого тела можно отследить только в те века западноевропейской

истории, когда мода уже существовала как вполне самостоятельное явление. Если в области одежды мода означает постоянные и достаточно заметные колебания внешнего облика, создаваемые различными комбинациями специально сшитой одежды и телесных форм, то многие древние цивилизации, а также значительная часть восточного полушария никогда не имели дела с "модой" в нашем понимании этого слова. Конечно, изменения происходили и там — в способах формирования и оформления внешнего облика при помощи украшений и аксессуаров, различных деталей прически, варьирования цветовой гаммы; однако общий силуэт менялся чрезвычайно медленно, отталкиваясь от постепенной эволюции базовых форм. Перемены в том, что уже можно называть настоящей модой, начались на Западе приблизительно с 1300 года и предполагали существенные изменения во всем сложном комплексе, состоящем из одежды и тела. Так что отдельные части тела ужимались, другие, наоборот, приобретали дополнительный объем, некоторые движения становились более стесненными, другие более свободными, со вполне возможной — впоследствии — переменой на прямую противоположность. Таким образом, в различные периоды времени ноги у среднестатистического тела удлинялись или укорачивались, голова увеличивалась или уменьшалась, руки то тяжелели, то становились более хрупкими — и это не говоря уже о всевозможных вариациях на тему женского торса, которые зависели от того, что в данную эпоху принято было считать сексуально привлекательным.

<...>

В XV веке европейское воображение, вдохновленное интересом к античности, возникшем в Италии, ухватилось за наготу как за способ выразить идею совершенства, выработав одновременно с этим целый ряд самых изысканных в истории человечества модных фасонов. Общие принципы и детали североевропейского, бургундского и итальянского стилей сильно варьировались — как, собственно, и отражавшие их живописные стили. Нагота, следуя моде как портновской, так и художественной, и взяв на вооружение переменчивые возможности и той и другой, приобрела совершенно новую значимость. Итальянское ренессансное платье, как и системы условностей в ренессансном изобразительном искусстве, развивалось под влиянием вкуса к классике, в котором прежде прочего доминировали идеи гармонии и подобающей пропорциональности. Это позволяло удерживать размеры второстепенных элементов (головных уборов, обуви) в рамках разумного соотношения с реальными размерами и особенностями динамики человеческого тела. Готиче-

ское или североевропейское платье тяготело скорее к экспрессивной преувеличенности форм с акцентом на дополнительных объемах, уводящих взгляд от центра фигуры (очень высокие шляпы, туфли с длинными и острыми носами), что приводило к искажению общего силуэта "по частям". В итальянской ренессансной моде тщательный подбор украшений обычно служил единому замыслу, гармонизируя и сливая в единое целое весь костюм; в готической моде украшения, как правило, располагались отдельными группами, каждая из которых сама по себе притягивала взор. Такого рода различия прослеживаются для всех возможных аспектов этих двух совпадающих по времени художественных традиций; и изображение обнаженной натуры есть всего лишь один из примеров этой общей закономерности, будучи самым естественным и неразрывным образом связано как с дизайном одежды, так и с формальными и духовными особенностями стилистики изобразительных искусств.

Как на Севере, так и на Юге, свежеобретенная уверенная манера обращения с плотской красотой концентрировалась — как и на протяжении нескольких сотен лет до этого — на женском животе. Все женские платья, вне зависимости от особенностей кроя и других, достаточно серьезных формальных различий, так или иначе привлекали внимание именно к животу. Подхватывать платья в XV веке было принято довольно высоко: над этой линией ткань плотно облегала бюст, проймы и плечи, а ниже, на рукава и юбку материал, мягко говоря, не экономили. (У мужчин линия пояса проводилась ниже, в районе "физиологической" талии, и утягивалась в рюмку. Грудь сильно выдавалась вперед, спина была очень прямая — общая выправка смахивала на военную.) Модный женский силуэт требовал, чтобы живот выпирал сильнее, чем грудь, которую хотя и обрисовывали максимально четко, но с точки зрения объема старались минимизировать, что было особенно заметно в сравнении с довольно массивными головой и шеей. В Италии женские тела представлялись более объемными, нежели на худосочном Севере, однако и в Италии портреты, написанные в XV веке и представляющие модель в профиль, дают нам все ту же аккуратную, туго утянутую верхнюю часть туловища, плавно переходящую в округлую выпуклость живота, так что приподнятая линия пояса довольно далеко отстоит от низко расположенного таза; это особенно заметно у сидящих фигур. Таким образом женский торс кажется изрядно вытянутым в средней своей части. Данная анатомическая особенность свойственна большинству сидящих Мадонн; ню XV века в этом смысле ничуть от них не отстают. Судя по всему,

доминирующим было желание так или иначе замаскировать то, что мы привыкли называть талией — выемку между грудной клеткой и тазом, которая оказалась бы в самом центре вожделенного средоточия плоти, коим представлялся женский живот. Мужчины же, напротив, старательно утягивались в талии: нагие мужские фигуры, вроде Адама в Эдемском саду на полотнах Хуго ван дер Гуса и Поля де Лимбурга, со всей очевидностью демонстрируют нам результат.

В эротическом воображении Европы до конца XVII века женский живот, судя по всему, вообще не мог восприниматься как "слишком большой". Начиная с этого времени все решительно переменилось; груди и ягодицы стали (и продолжают оставаться) источником куда более острых эротических переживаний, чем животы. Мы уже обращали внимание на то, что модная женская одежда куда больше подчеркивала выступающий вперед живот, чем холмики грудей; и, хотя верхняя часть грудной клетки зачастую была открыта взглядам благодаря глубокому вырезу, одежда скорее старалась сплющить грудь, нежели выставить ее напоказ. У всех знаменитых ню ренессанса и барокко, сколь бы тучным ни было все остальное тело, груди неизменно очень маленькие и изящные. Массивными грудями наделяются, как правило, уродливые старухи и ведьмы, либо персонажи вроде Сребролюбия (Avaritia) у Дюрера, чья тяжелая обнаженная грудь, довольно пикантная на современный взгляд, в 1507 году внушала откровенное отвращение. При этом как в суровых творениях готического Севера, так и в вопиюще роскошных венецианских шедеврах, тяжелые животы встречаются и у самых нежных дев, и у самых соблазнительных куртизанок.

Готическая обнаженная натура выказывает наклонность к той разновидности худобы, сквозь которую просвечивает скелет — вполне в духе современных вкусов. Изящные бугорки в тех местах, на плечах и коленях, где под кожей угадывается кость, плавно изогнутые линии ключиц и ребер в немецкой и фламандской обнаженной натуре будто нарочно сочетают смиренное восприятие плоти как тленной материи с откровенным удовольствием от порождаемого ею специфического ощущения эротической притягательности. Художники готики, которые не испытывали необходимости преклоняться перед античными представлениями о пропорциях, могли себе позволить изображать человеческую ногу, не вытягивая ее между коленом и щиколоткой — за счет чего греки и римляне привыкли усиливать общее впечатление изящества как у женских, так и у мужских фигур. Это легкое удлинение нижней части ног заставляет довольно плотные

женские торсы выглядеть элегантными, а мускулистые мужские — более легкими и динамичными. В рамках античных представлений о пропорциях человеческого тела эта условность явно была общепринятой. И задержалась затем в ориентированном на классику европейском искусстве на долгие века, найдя этакую косвенную опору в представлениях о том, как должно выглядеть красивое платье, которое, по всей видимости с точки зрения европейцев, всегда смотрелось лучше на длинноногих моделях. В действительности среднестатистическая человеческая нога между выступающими костями колена и щиколотки довольно коротка и не слишком изящна, и готические ню, блюдя верность этому факту, выглядят довольно коренастыми, причем применительно к женской фигуре впечатление это еще и усиливается за счет объемного и выпирающего вперед живота.

Большой ренессансный живот особенно странно смотрится на худых и костлявых телах северной традиции, чем, видимо, и были вызваны к жизни представления о том, что изображенные женщины беременны — поначалу это, вероятнее всего, совсем не имелось в виду. Как уже было замечено, модный дамский костюм предполагал длинную тяжелую юбку, спускающуюся от крохотной грудной клетки, утянутой в узкий корсет с высокими, сковывающими движения проймами. Однако на Севере, самозабвенно преданном делу изготовления шерстяных тканей, юбка не просто спускается до земли, но озером растекается вокруг ступней, если только не подхватить ее спереди. Живот, аппетитным холмиком выставленный вперед, превращается в этакую полочку, на которой можно носить собранную складками материю, что, в свою очередь, придает ему дополнительный объем. Голени и ступни тонули в шерсти: у обнаженной Евы Ван дер Гуса они выглядят усохшими — едва ли не рудиментарными — от долгой жизни, проведенной под спудом тяжелой ткани. Тело Адама, при всей подобающей сюжету благопристойности, может похвастаться не только четко обозначенной, сообразно с актуальной мужской модой, талией, но и расправленными плечами, привыкшими носить подбитые у основания, высоко воздетые рукава бургундского придворного, и строго выпрямленной спиной, и ступнями, вполне подходящими для туфель с носами длиною в семь дюймов.

Обнаженное женское тело в искусстве, следуя моде, после XV века начало набирать в округлости и полноте, однако "правильная" поза оставалась неизменной — животом вперед. В течение XV столетия четко обозначенная, высоко, едва ли не к середине грудной клетки поднятая линия пояса исчезла

бесследно, и европейские ню сделались совершенно бесформенными, похожими на длинные бугорчатые колбаски без какого бы то ни было ясно выраженного деления на части тела. Венецианским ню и Венерам флорентийских маньеристов в равной степени свойственны эти продолговатые, словно подернутые рябью фигуры, невзирая на очевидные различия в технике и манере письма — по торсу рассыпано некоторое количество легких выпуклостей, самой заметной из которых попрежнему остается живот.

Эту новую моду на женскую фигуру породили сильно изменившиеся представления европейских дам касательно того, что такое элегантное модное платье. К середине XVI века изысканность торса определялась тем, что он был затянут в почти цилиндрический по форме корсет. Груди, которые в прежние времена сразу бросались в глаза благодаря подогнанным по фигуре и надлежащим образом открытым корсажам, отныне надлежало в буквальном смысле слова расплющивать, втискивая в жесткий продолговатый тубус. Расстояние по вертикали от плеч до пояса изрядно увеличилось, так что юбка начинала расходиться в ширину едва ли не на уровне бедер. Талия по объему практически сравнялась с бюстом; грудная клетка под жестким корсажем также почти никак не выделялась. Соответственно и бедра перестали выдаваться в стороны, поскольку корсет теперь, вместо того чтобы обрисовывать талию, поджимал заодно и верхнюю их часть. Юбки обильно подбивались или накрахмаливались в районе таза: бедра, стиснутые корсетом, служили для них плохой опорой, а все эти тяжелые складки нужно было как-то поддерживать — на некотором расстоянии от ног. В результате полностью одетая женская фигура сделалась значительно объемнее, и голова теперь выглядела совсем крошечной.

Обнаженная натура Высокого Возрождения отражает эту перемену в пропорциях. Тело стало более массивным, а следовательно, удлинились и ноги, дабы уравновесить вытянутый торс и привести композицию в целом в соответствие с уже успевшим как следует устояться классическим каноном. Но излишняя длина обнаженной ноги, столь характерная для маньеристских фигур как в Италии, так и на Севере, отвечала также и новой моде на юбки до пола, которые позволяли рассмотреть точное расположение ступней, утопавших прежде в обильных потоках ткани. Начинаясь на уровне бедер, — вместо грудной клетки, как ранее, — модная юбка середины столетия принимала форму эдакого накрахмаленного колокола или купола, расходясь вширь и спускаясь вниз к четко обозначенной линии подола. Поскольку силуэт начинал расширяться настолько низко, приходилось увеличивать и длину юбки (и, сле-

довательно, ноги), для того чтобы изящным образом уравновесить раздавшийся и удлиненный корсаж в верхней части фигуры, которая, в свою очередь, делалась еще массивнее из-за широких, подбитых изнутри рукавов. Отныне угадать форму ног одетой женщины сквозь ткань, которая поддерживалась на расстоянии от них, было попросту невозможно, а кое-где, по крайней мере в Венеции, женщины начали носить нечто вроде котурнов, для того чтобы ноги под юбкой казались длиннее. В изобразительном искусстве, понятное дело, ставить женщин на ходули было совершенно необязательно: длинные обнаженные ноги можно было изобразить вполне естественными и без этого.

Большая часть ню конца XVI века демонстрирует нам этот базовый цилиндр, который, судя по всему, считался тогда идеальной формой женского тела: освободившись от жестких покровов, он делался гибким и податливым, при этом оставаясь по всей своей длине равномерно широким и тем утверждая в правах отсутствующий на изображении корсаж. Широкие бедра, похоже, никак не влияли на эротическое впечатление, производимое женским торсом; бедра у ню XVI века сплошь узкие, равно как и груди у них плоские и силе тяжести практически не подвластны. Основой эротического ландшафта продолжали оставаться живот и бедра — теперь существенно удлиненные по вертикали, — а груди и ягодицы виделись как необходимые дополнения к оным. В общем, женское тело в эпоху Высокого Возрождения воспринималось, судя по всему, как длинный и объемный живот, вытянутый от ключиц до самого паха, с неким отдаленным намеком на груди, которые и видны-то по большей части только оттого, что нужно где-то поместить соски.

Плоти всех этих позднеренессансных дам свойственен тот же вид, что и гладким, плотно подбитым одеяниям, модным в означенную эпоху. Мышцам, костям и разного рода телесным выпуклостям воли дают ничуть не больше, чем текучим потокам шерсти, шелка и бархата; шелк и кожа одинаково туго натянуты поверх базовой формы, словно бы подкачанных изнутри воздухом, — без единой лишней морщинки. И не только роскошные ню Тициана и Веронезе, но и жемчужных оттенков создания школы Фонтенбло, и нервические обнаженные модели голландских и фламандских маньеристов все как одна щеголяют различными версиями этого гладко вылепленного, подбитого изнутри и вытянутого в длину тела, увенчанного маленькой аккуратной головкой с плотно облегающими череп волосами и уравновешенного на противоположном, нижнем, конце парой крохотных ступней.

По европейским поясным портретам как мужским, так и женским, заметно, как со времен предшествующего столетия изменились идеальные пропорции человеческого тела; на портретах XV века мы видим крупные головы, которые кажутся еще крупнее из-за большого количества волос, из-за шляпы или накидки — крепкая шея соединяет их с укороченными и усеченными в размерах торсами; теперь же бóльшую часть полотна, под небольшой и аккуратно убранной головой, занимают огромные плечи, еще и увеличенные за счет рукавов и расшитой драгоценностями, колоссальных размеров передней части костюма. Барочная мода отказалась от плотной подбитой ткани и от длинного, сковывающего движение корсета, перенеся акцент на текучие, плавных очертаний округлости, коими разбегаются и материя, и человеческая плоть, и украшения, и волосы — в полной гармонии с прочими проявлениями барочной чувствительности. Под кистью Рубенса женские фигуры ожили водоворотами и завихрениями перламутровой краски. Безымянные пузыри и складки подернули доселе неподвижную жировую ткань под пустившимися в безостановочное и беспорядочное движение кожными покровами нимф и богинь — и то же самое движение взметнуло атласные рукава и юбки едва успевших войти в моду свободно развевающихся платьев. На протяжении первой половины столетия пояс у модниц снова стал выше, а не выходящий из моды животик под ним стал заметнее, чем когда-либо раньше. Цилиндрический по форме корсаж оставался жестким и строгим, хотя и стал гораздо короче, в том числе и за счет широкого пояса, а груди по-прежнему расплющивали, плотно прижав к грудной клетке. Относительно широкий корсаж дополнялся вздутыми рукавами-буфф, тоже укороченными так, чтобы обнажить предплечья, причем позу теперь предпочитали со слегка откинутым назад торсом, и потому живот обрисовывался еще отчетливее из-за плоской, стиснутой груди и обильно присборенной чуть выше пояса юбки. Четко выраженных границ между торсом и широкими рукавами или между корсажем и юбкой не существовало. Все части платья, хотя их очевидным образом кроили и расшивали по отдельности, сливались в единую объемистую массу.

На ростовых портретах кисти Ван Дейка модницам присущ этот новый, массивный, делающий женщину похожей на гору ткани вид: то тут, то там на этой горе блестят преломленными лучами шелковистые ледники. Игра света на ломаных поверхностях ткани, которую с таким великолепием передает Ван Дейк, была, судя по всему, свежеизобретенной базовой деталью модного платья ("О как меня слепит сей блеск!" — написал в 1648 году Хэррик о "текучести"

одежд Джулии), а соответственно, и игра света на коже требовала сложносочиненной, глянцевитой поверхности. Обнаженные женщины Рубенса, известные обилием жира, в действительности не такие уж и толстые: такое впечатление возникает из-за игры плоскостей. Отдельные фрагменты плоти этакими гамачками свисают в самых неожиданных местах, совсем как складки той ткани, которую женщины только что скинули с себя. Места эти фламандские обнаженные красотки, по сути, занимают меньше, чем некоторые венецианские ню конца XVI века; однако все эти переливающиеся на свету, своенравные припухлости заставляют их казаться куда более корпулентными, чем гладкие дамы Тициана, которые, какими бы тяжеловесными они ни были, кожу свою носили как будто платья — скроенной точно по фигуре, так, чтоб не топорщилась подкладка.

Модные груди оставались довольно скромных размеров, однако теперь элегантная линия шеи спускалась вниз, открывая верхнюю их часть, порой даже вместе с соском. Снизу округлыми они не были из-за прямого и строгого корсета, который просто не оставлял для этого места; юбка снова стала тяжелой, и линяя пояса поднялась довольно высоко, к грудной клетке. Корсаж иногда удлинялся спереди за счет жесткого, суживающегося книзу выступа и, как правило, сильно выступал вперед из-за юбки, резко расширяющейся в верхней части, отчего живот казался еще массивнее. Центром женского торса был живот — это ощущается отчетливее чем когда-либо; однако и бедра, которые отныне свободно расходились вширь из-под укороченного корсета, начали набирать очки с точки зрения эротической привлекательности.

Модный силуэт был мастерски отражен рукой раннего Рембрандта, чьи дамы щеголяют скромных размеров грудью, пухлыми плечами, тяжелыми животами и той общей массивностью нижней части тела, которая столь радовала глаз современников. Одетые мужские силуэты того же периода выше бедер выглядят примерно так же: расширяющиеся к локтю рукава, очень плоская грудная клетка, переходящая в выпуклый живот, с большим количеством ткани, нагроможденной вокруг пояса и бедер. Головы как у мужчин, так и у женщин укрупнились благодаря завитым или развевающимся по ветру волосам и большим шляпам.

Из-за того что столько веков подряд объемистый женский живот выглядел столь привлекательно, беременность, как правило, изображали не так, как теперь, внимание на его размерах не акцентировали — даже в жанровых сценах. При необходимости показать недвусмысленные признаки беременно-

сти, обычай, судя по всему, требовал демонстрации неуместного в каких-либо иных ситуациях беспорядка в одежде: например, слегка распущенного в нижней части корсета или даже полного отсутствия такового, таким образом спереди на платье становилось заметно больше складок. Священный сюжет посещения беременной Девой Марией беременной же святой Елизаветы часто решается через образ протянутых рук: каждая из женщин дотрагивается до живота другой, ради пущего восхищения духовного как своего собственного, так и зрителя — однако животы у них при этом увеличены ничуть не заметнее, чем обычно. Торчащий живот был слишком устойчивым атрибутом женской красоты, чтобы делать из него специфический признак беременности. Джованну Арнольфини, на знаменитом парном портрете Ван Эйка, часто принимали за беременную — на деле же перед нами демонстрация того, как худенькие, в полном соответствии с модой, плечи и грудь юной невесты могут быть выгодно уравновешены не менее шикарным вздутием на месте живота, преувеличенным пуще всякой очевидности, для того чтобы выгоднее подчеркнуть обильно струящееся по полу зеленое платье. Зритель должен одновременно оценить и ее собственную привлекательность, и богатство мужа: типичная манера саморепрезентации для женщины из буржуазной семьи.

В рамках этой довольно специфической стилистики женский живот оказывался центральной смысловой точкой всего костюма. Именно здесь выстраивалось равновесие между достаточно замысловатым головным убором и волочащейся по полу юбкой или — для девиц — между волочащейся юбкой и длинными волосами. Куполообразный живот был не только эротически притягателен, но и элегантен; элегантность лона здесь явно превалировала над плодородием оного. В соответствующем этой моде искусстве обнаженной натуры ситуация была точно такой же. Большой живот оставался на нагой фигуре, освобожденной от всякого рода портняжных премудростей, просто потому, что он — один из немногих постоянных элементов костюма (наряду с девичьими каскадами волос), который при этом является естественной составной частью тела. <...>

Цзи Чэн

Устроение садов

Фрагмент трактата

Перевод с китайского, вступление и комментарии Е. Кузьминой

"Устроение садов" (по-китайски "Юанье", буквально "Выплавка садов") — первый в китайской традиции трактат по садово-парковому искусству. Это удивительный текст с очень несчастливой судьбой. Он написан на закате династии Мин (в середине XVII века) мастером искусственных горок и "садоустроителем" Цзи Чэном.

Ремесленник пишет о своем ремесле — сегодня такое встречается сплошь и рядом. Книги опытных мастеров, описывающих свое искусство, мы ценим подчас значительно больше, чем рассуждения теоретиков и критиков. В Китае же письменная традиция была весьма консервативной, в ее обиход мог войти только текст, обладавший определенным набором свойств. Главное из них: он должен быть написан на литературном языке *вэньяне*, который многие столетия назад оторвался от устного языка и пошел по своему пути развития. Изучение *вэньяня* и классических текстов оставались привилегией ученых и аристократии, архитекторы были далеко не так образованы, как ученые сословия. Поэтому в Китае на протяжении тысячелетий, до появления Цзи Чэна, строили сады одни, а писали о них другие.

© Е. Кузьмина. Перевод, вступление, комментарии, 2012
Автор портрета Цзи Чэна неизвестен.
Текст иллюстрируют сюжеты классической китайской живописи, служившей источником вдохновения для китайских устроителей садов.

Сочинения о садах были столь многочисленны и разнообразны, что их можно выделить в особое направление *юаньцзи* ("записки о садах"). Однако читатель найдет в них лишь скрупулезное описание сада, составленное владельцем, и руководство по "наслаждению садом". Цзи Чэн первый написал своего рода инструкцию по созданию предмета "наслаждения" — самого сада. Как ему — ремесленнику — удалось написать текст, удовлетворяющий специфическим литературным стандартам?

Существует мнение, что часть трактата написана другим автором. Пристальный взгляд на оригинальный текст подтверждает эту догадку: трактат как бы распадается на две части — "прикладную" и "художественную". Распадается не структурно, но по содержанию, и фрагменты из обеих частей зачастую перемешаны в одной главе. Скажем, за патетическим описанием прекрасного пейзажа может следовать такая фраза: "Не стоит ограничивать себя определенным количеством окон, делай их там, где это уместно".

Публикация текста была осуществлена с помощью известного сановника Жуань Цзичэна. Вскоре после издания трактата он попал в опалу — такая же судьба ожидала и "Устроение садов". О трактате забыли на 300 лет, его повторная публикация состоялась в первой трети XX века, когда китайцы заново "узнали" о нем от японских исследователей. Китайские ученые провели большую текстологическую работу, подготовили научный и культурологический комментарии. Трактат был переведен на современный китайский, английский и французский языки и, можно сказать, зажил счастливой жизнью. Правда, в России для него пока все складывается неудачно. Специалисты по садово-парковой архитектуре узнали о трактате из западных источников и из работ отечественного синолога Владимира Малявина. Однако многое из того, что сегодня цитируют как "Устроение садов", является переводом не совсем достоверных англоязычных переложений. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку этот трактат, с присущим ему историко-культурным и художественным своеобразием, несомненно, достоин настоящей встречи с читателем — в полном объеме, максимально достоверном переводе и с исчерпывающим комментарием.

Мы предлагаем перевод нескольких фрагментов трактата. Это предисловия друзей и покровителей автора — Жуань Дачэна и Чжэн Юаньсюна, а также его собственное предисловие и послесловие. Кроме того, мы публикуем главу "*Цзецзин*, или Использование естественного ландшафта", описывающую один из принципов садово-паркового искусства — "заимствование пейзажа" ("borrowed scenery"). Читатель, вероятно, с удивлением обнаружит, что это едва ли не стихотворение в прозе, насыщенное цитатами и аллюзиями. В этой главе проглядывает предполагаемый второй автор "Устроения садов" — тот, кто привнес красоту и поэзию в сухое описание архитектурных приемов.

Предисловие Жуань Дачэна

С юности, подобно Сяну и Циню[1], я имел склонность к уединенной жизни, но на мое горе оказался повязан по рукам и ногам делами службы. Когда же наконец я был отстранен от должности и сослан на родину, то смог осуществить свою мечту об уединении. Однако в ту самую пору повсюду царили беспорядки, к тому же я не мог пренебречь сыновним долгом — заботой о родителях, — ради того, чтобы отдаться "свободному скитанию"[2]. Итак, мне ничего не оставалось, кроме тихого бесцветного существования среди курятников и свинарников, в кругу соплеменников и сородичей.

Неподалеку протекала река Луаньцзян. Как-то случилось мне взять лодку, и она принесла меня на поросшее ивами мелководье в "Сад пробуждения". Я провел там два дня в умиротворении и веселье, радуясь дивному месту, на котором за бамбуковой изгородью собрали самые прекрасные холмы и долины. Вот где мог бы я утолять свою страсть к красивым пейзажам, заботиться о родителях и не искать лучших мест. Можно только посмеяться над теми неутомимыми странниками, что бесконечно скитаются, окутанные облаками и туманами[3].

Этот сад — "Сад пробуждения" — устроил Цзи Упи из Сунлина[4] и написал о нем трактат, а мой друг Цао Юаньфу из Гушу назвал этот трактат "Устроение садов". Упи отличается искренностью и открытостью, он обладает незаурядным умом, по натуре своей не склонен к пошлости и лицемерию — его стихи и картины таковы, каков он сам.

И вот я очистил от сорных трав заброшенный участок, находящийся неподалеку, вырыл там пруды, возвел искусственные горки и устроил сад — прекрасное место для чтения и игры на цине. В погожие дни я буду бродить по саду с посохом или странствовать в паланкине и беседовать с бессмертными, останавливаясь передохнуть. Облаченный в разноцветные одежды, как Лао Лайцзы[5], я буду напевать песню

1. Сян Пин и Цинь Цин — два знаменитых отшельника эпохи Восточная Хань (206 до н. э. — 25 н. э.) (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Свободное скитание" — название первой главы знаменитой даосской книги притч "Чжуан-цзы" (IV–III вв. до н. э.).
3. Имеются в виду даосские отшельники, бесконечно странствующие в поисках островов бессмертных.
4. Цзи Упи — один из псевдонимов автора трактата Цзи Чэна. Семья Цзи Чэна происходила из города Тунли в области Сунлин. Сегодня это уезд Уцзян в провинции Цзянсу.
5. Легендарный пример почтительного сына. Известно, что в 70 лет Лао Лайцзы одевался в детское платье, изображая ребенка на радость родителям.

отшельника[1] и пить за здоровье стариков. Так, в праздности и веселье я проведу остаток дней.

Поистине, талант Цзи-цзы[2] помог счастливо воплотить мои замыслы, и в знак благодарности я хочу наполнить еще одну чашу вина и с песней поднести ему.

А когда в моем саду месяц выходит из-за горных вершин и наступает тишина, я зову Юаньфу, ибо мудрость его безгранична.

В год Цзяжун эпохи Чунчжэнь (1634), в четвертый месяц, когда в саду расцвели деревья, в кругу своих лучших друзей – птиц, Жуань Дачэн взялся за кисть в усадьбе Каменное Гнездо.

Предисловие Чжэн Юаньсюня

Люди древности оставили записи о ста искусствах, а об устроении садов – ни слова. Почему? Говорят, что каждый сад устраивается по-своему, общих и твердых правил нет, поэтому искусству устроения садов нельзя научить и его невозможно передать.

Что значит "по-своему"?

Высокое происхождение позволило императору Цзяньвэню[3] создать сад Хуалинь; богатство Лилуня[4] дало ему возможность построить сад Цзиньгу; а у бедняка Чжун-цзы[5]

1. По преданию в последние годы эпохи Цинь (221–206 до н. э.) четыре ученых мужа – Дунюань Гун, Ци Лицзи, Сяхуан Гун, Лу Ли, именующие свое сообщество "Четыре седовласых старца с горы Шан", поселились отшельниками в горах, чтобы скрыться от беспорядков, царивших в империи. Они написали песню "Собираю чудесные грибы", в которой говорится, что в мятежные времена чудесный гриб может утолить печаль.
2. Еще один псевдоним Цзи Чэна.
3. Императору Цзяньвэню Ди Сяона (503–551) государства Лян (502–556) в период Северных и Южных династий принадлежал легендарный сад "Цветущая роща". В сочинении средневекового прозаика Лю Ицина (403–444) "Мирские толки в новом изложении" об этом саде говорится следующее: "Место отдохновения сердца необязательно должно быть далеко. Скрылся за ширмой из деревьев – словно оказался на берегу рек Хао и Пу. Среди птиц, зверей и рыб чувствуешь себя, как среди лучших друзей".
4. Лилунь – прозвище Ши Чуна (249–300). Во время государственной службы в городе Цзинчжоу (провинция Хэбэй) разбогател, занимаясь незаконной конфискацией товара у купцов. Вступил в соперничество за влияние с одним из членов императорского клана по имени Ван Кай и вскоре был убит. В пору наивысшего богатства построил в Хэяне сад Цзиньгу, или "Сад в золотой лощине".
5. Чэнь Чжун-цзы (350–260 до н. э.) известен также по имени Цзы-Чжун. Его старший брат был придворным сановником при правителе царства Ци и получал жалованье в размере 10 000 мер зерна. Чэнь Чжун-цзы считал несправедливым такое огромное жалованье и в знак протеста покинул родину, поселившись во владении Чу в маленьком городке Улинь. Услышав о нем, правитель владения Чу пожелал сделать его своим советником тоже за большое жалованье, но Чэнь Чжун-цзы по совету жены отверг это предложение и бежал.

только и было, что крошечный огородик в Улине. Один благородного происхождения — другой низкого, один бедный — другой богатый, у каждого свои обстоятельства, непросто что-то сделать им вопреки.

Если в твоем саду не найти тихого уголка, скрытого меж величественных гор и пышных деревьев, ты напрасно пускаешь по воде чарку с вином[1]. Если созданные тобой пейзажи не могут сравниться с "Оленьим загоном" и "Узорным абрикосом", не следует гордиться садом, словно усадьбой Ваньчуань[2]. Ведь, когда уродливая Мэй Му[3] пудрится и румянится, она становится еще безобразнее. Помни, что с каждым участком земли следует обращаться по-своему.

1. Речь идет о поэтической игре, или ритуале, суть которого заключалась в следующем: гости садились возле извилистого ручья и пускали вниз по ручью листья лотоса с чашами, полными вина. Пока лист лотоса плыл от одного человека к другому, каждый должен был сочинить стихотворение. Проигравший выпивал вино. Эта игра ассоциируется прежде всего с одним из величайших китайских каллиграфов Ван Сичжи (303–361). В третий день третьего лунного месяца 353 г. каллиграф собрал друзей в своем саду у Беседки орхидей и пригласил их принять участие в поэтической игре. Стихотворения, сочиненные в ту ночь, составили сборник "Собрание стихотворений, написанных у Беседки орхидей". Ван Сичжи написал для сборника предисловие — непревзойденный шедевр китайской каллиграфии. Говоря об этой игре, Чжэн Юаньсюнь, вероятно, указывает на несообразность бедной обстановки и возвышенного, утонченного занятия.

2. Ваньчуань — загородная усадьба прославленного танского поэта и художника Ван Вэя (701–761). Располагалась в уединенной живописной местности в столичном уезде, неподалеку от гор Чжуннань. В этой усадьбе поэт провел в уединении последние годы жизни. Многие из шедевров пейзажной лирики Ван Вэя, скорее всего, созданы именно в эти годы. В их числе знаменитый цикл "Река Ваньчуань" из 20 стихотворений, в которых воспеты особенно любимые поэтом уголки местной природы. "Олений загон", "Узорный абрикос" — названия павильонов в усадьбе Ваньчуань. Ван Вэй упоминает их в своих стихотворениях. Приведем некоторые из них.

Беседка из узорного абрикоса

Узорные абрикосы
Срубил и сделал стропила.
Душистый камыш связал я —
Крыша над головою.
Чтобы людей далеких
Дождиком окропило,
Не зря облака седые
Плыли рядом со мною.

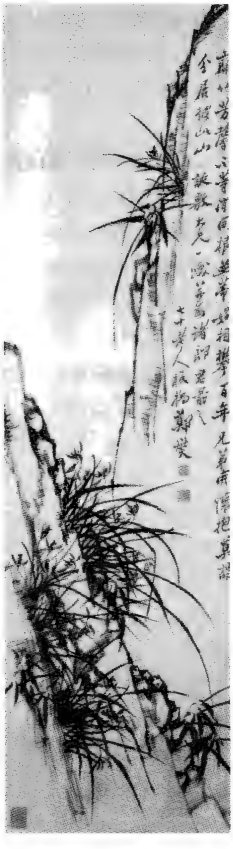
Перевод А. И. Гитовича

В Оленьем загоне

Пустынны горы, в них людей не видно,
Но голоса звучат их отдаленно.
Заката отблеск в лес проник глубоко,
Сияет луч на мху темно-зеленом.

Перевод Л. Н. Меньшикова

3. Мэй Му — по преданию наложница четвертого ранга у императора Хуанди, известная своим уродством.



Если, приступая к устроению, хозяин уже видит каждый холм и долину своего сада, тот будет изысканным и элегантным, или непритязательным и скромным. Если же берешься за устроение сада, принуждая себя и целиком полагаясь на плотников, каменщиков и мастеровых, цепочка гор не будет такой живописной, поток воды не ляжет петлями, тень от травы и деревьев не укроет водную гладь. Захочешь ли ты приходить в такой сад каждый день?

Также прискорбно, если хозяин уже видит, каким должен быть его сад, его уединенное тайное убежище, но не умеет передать замысел работникам. Работник всегда придерживается правил и не отступает от них ни на шаг. Привязанный к стамеске и рубанку, он одерживает верх над хозяином, заставляя его забыть о высоких мечтах. Разве это не достойно сожаления?

Отличие Цзи Упи в том, что он следует велению сердца, а не правилу. Для многих это недостижимо. Еще более искусен он в управлении работниками: бестолковый становится у него умелым, медлительный — проворным. Это особенно радует.

Я давно знаю Упи и очень жалею, что для великих замыслов ему достаются лишь пересохшие ручьи и жалкие подобия гор. Вот бы раскинуть сеть из десяти Великих гор, дать Упи в подчинение пять силачей Поднебесной[1], собрать райские цветы и травы, многолетние деревья и священных журавлей — и он совершенно преобразит землю! Жаль, не найти столь крупного землевладельца...

Значит ли это, что Упи — мастер только крупных форм? Вовсе нет! И хозяин, и его земля имеют свои особенности, а Упи как никто другой умеет представить их в лучшем виде. Когда-то я строил усадьбу к югу от городской стены. Между зарослями тростника и берегами, поросшими ивой, оставалась полоска земли шириной всего в десять *ху*[2]. Стоило Упи

1. Мифологическая пятерка силачей, якобы проломивших горный хребет и открывших дорогу войскам Хуэй-вана из царства Ци в княжество Шу (316 до н. э.).
2. Ху — длинная узкая дощечка из бамбука, слоновой кости или нефрита, которую чиновники держали в руках на аудиенциях у императора.

дать несколько распоряжений — и это место преобразилось в тихое тайное убежище. Я никогда не считал, что много понимаю в строительстве, но по сравнению с Упи я просто кукушка, которая не может свить себе гнездо.

В Поднебесной немало ученых и знатных мужей, обладающих изысканным вкусом. Задумывая небольшой сад или мечтая о прекрасном пейзаже, они, конечно, захотят пригласить Упи. Боюсь только, что Упи не под силу одновременно пребывать во всех частях света. Трактат "Юанье" может заменить его для всех.

И все же мне очень досадно, что мудрость и мастерство Упи невозможно передать словами. Слова запечатлели только несколько правил, а это почти ничто. Эти правила можно менять и совершенствовать, и теперь у нас хотя бы есть от чего оттолкнуться. Это хуже чем подробное изложение, но лучше чем ничего.

Необычайный талант Цзи Чэна станет образцом для грядущих поколений. Кто осмелится сказать, что его труд не будет столь же знаменитым, как "Записки об исследовании ремесел"[1]?

Написано в год Ихай эпохи правления Чунчжэнь (1635), в первый день пятого месяца, другом Чжэн Юаньсюнем в "Саду отражений".

Предисловие автора

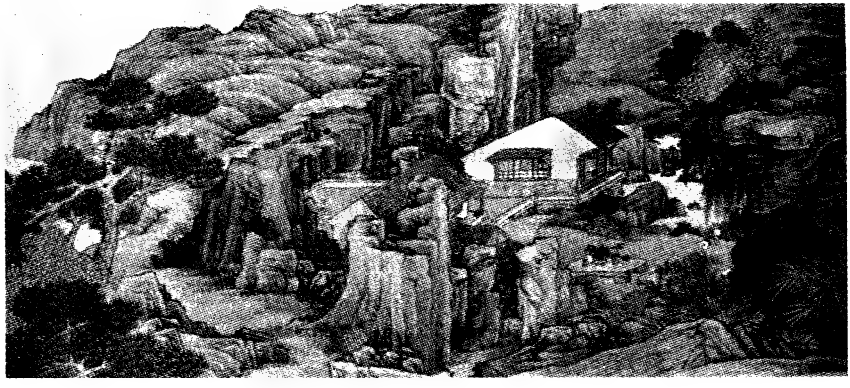
В молодости я прославился как художник. По своей природе любил все необычное и странное. Превыше всего ценил таланты Цзин Хао и Гуань Туна[2] и всегда подражал им. Путешествовал по Янь и Чу, в зрелые годы вернулся в У, поселился в Жуньчжоу[3].

Жуньчжоу окружают прекрасные горы и реки. Местные любители садов собрали камни причудливых форм и соорудили горку в бамбуковой роще. Случайно увидев ее, я не смог сдержать улыбку. Меня спросили почему. Я ответил: как известно, в мире есть естественное и искусственное. Почему

1. "Записки об исследовании ремесел" — трактат, посвященный теории и практике ремесленного производства. Содержит разделы, описывающие деятельность рудокопов, кожевников, камнерезов, мастеров по изготовлению экипажей, гребней, плугов, топоров и др.
2. Цзин Хао и Гуань Тун, известные также как "Цзин-Гуань", — создатели так называемой "южной школы живописи". Они разработали великолепную живописную технику для передачи суровой красоты северных гор.
3. Янь — север современной провинции Хэбэй. Чу — территория современной провинции Хубэй и Хунань. У — район Цзянсу. Чуньчжоу — старое название города Чжэньцзян в провинции Цзянсу.

вы не стремитесь воспроизвести естественную форму гор, а вместо этого наваливаете груды камней, словно встречаете духа весны Гоумана[1]?

Меня спросили, могу ли я сделать лучше. Воспользовавшись этой счастливой возможностью, я возвел отвесную ска-



лу. Каждый, кто видел ее, восклицал: "Воистину прекрасная гора!" С тех пор слава обо мне разнеслась по всей округе.

Вскоре провинциальный казначей У Ююй из Цзиньлина прослышал об этом и пригласил меня. Он получил участок на востоке города. Это был семейный надел юаньского Вэнь-сяна, размером всего лишь 15 *му*[2]. Господин У сказал: эти 10 *му* оставь для постройки дома, на оставшихся 5 *му* разбей сад, подобный "Саду единственной радости" Сыма Вэнь-гуна[3]. Я осмотрел самые высокие места, исследовал глубину источников. Деревья доставали до небес, кривые ветви мели землю. Я сказал: для того чтобы устроить здесь сад, нужно не только поднять возвышенности, но и углубить низины. Пусть склон горы проглядывает из-за высоких деревьев; камни врезаются в извивающиеся корни; павильоны и террасы как бы разбросаны по поверхности воды; парящие галереи перекинуты через кана-

1. Гоуман — в древнекитайской мифологии помощник правителя Востока Фу-си. По другим источникам — дух дерева с квадратным лицом и в белой одежде, в руках у него циркуль, и ему подвластна весна. В древности существовал обычай — в праздник прихода весны накладывать груды камней в знак приветствия духа весны Гоумана.
2. Му — мера площади, равная 1/15 га.
3. Сыма Вэнь-гун, он же Сыма Гуан (1019—1086) — историк, философ, государственный деятель. Родился в городе Шаньчжоу уезда Ся (современная провинция Шаньси) в семье крупного сановника. Занимал высокие посты в правительстве, состоял в академии Ханьлинь, однако был вынужден отойти от дел и удалиться в Лоян, провинция Хэнань. Там он создал сад и назвал его "Сад единственной радости". Сыма Гуан оставил описание своей усадьбы в "Записках о саде единственной радости".

лы, извилистые, словно знаки на древних печатях, — вот картина, поражающая воображение!

Когда строительство было завершено, хозяин возликовал. Он сказал: если измерить расстояние между входом и выходом — это всего лишь 400 шагов, однако на них собраны все красоты Цзяннани[1]! Помимо прочего, в саду были отдельные глыбы камней и небольшие строения. Но и с помощью этих мелких объектов я сумел воплотить свои дерзкие замыслы. Поэтому и я остался доволен своей работой.

В то время секретарь государственной канцелярии, Ван Шихэн, пригласил меня устроить для него сад к западу от реки Луаньцзян[2] — и, кажется, я верно понял и воплотил его замысел. Этот сад, также как и сад господина У Сюаня, прославился по обоим берегам Янцзы. На досуге я начертил планы своих садов и назвал свои заметки "Содержание садов".

Наши края посетил Цао Юаньфу из города Гушу. Ван Шихэн и я сопровождали его во время прогулок по саду. Цао Юаньфу провел с нами два дня — похвалам его не было предела! Он сравнил пейзажи в саду с картинами Цзин Хао и Гуань Туна и спросил, могу ли я обратить свои умения в слова. Я показал ему свою рукопись. Он сказал: тысячу лет люди не видели и не слышали ничего подобного, почему же вы называете это "Содержание садов"? Это достойно благородного мужа! Но не следует ли изменить заглавие на "Устроение садов"?

Написано Фо Даожэнем[3], в год Синьвэй эпохи правления Чунчжэнь (1631), на исходе осени в часы досуга в саду Уюань.

Цзецзин, или Использование естественного ландшафта

В устроении садов не придерживаются строгих правил, однако в использовании естественного ландшафта нужно следовать некоторым принципам. Важнее всего учитывать смену времен года[4], *фэншуй* не столь важен.

1. Цзяннань — историческая область в Китае, занимающая правый берег нижнего течения реки Янцзы. Многие века считалась центром культуры, ремесел и торговли и в значительной степени остается таковой по сей день.
2. Имеется в виду "Сад пробуждения", о посещении которого упоминает в своем предисловии Жуань Дачэн.
3. Еще один псевдоним Цзи Чэна, означает буквально "человек, сбившийся с пути".
4. По нашему предположению далее Цзи Чэн описывает изменение пейзажа по временам года (подзаголовки переводчика. — *Е. К.*).

Весна

Если для строительства сада ты выбрал поросшую деревьями излучину реки, ищи бамбуковую рощу или густой лес. В шумном и суетном городе лучше укрыться в спокойном и уединенном месте. Смотришь с высокогорья вдаль — со всех сторон тебя окружают скалистые вершины. Теплый воздух струится из павильона и окутывает прохожих, весенние ручьи устремляются к воротам и наполняют пруд. Среди ослепительно ярких цветов ты встречаешь на счастье бессмертного[1]. Веселишься со святыми и превозносишь совершенномудрых[2], чувствуя себя Первым Министром Гор[3]. Поешь хвалу *жизни на приволье*[4] и выращиваешь лекарственные травы[5]. Подметая дорожки, обходишь стебли орхидей — и они оделяют ароматом твои покои. Поднимаешь занавески и приветствуешь ласточек, что свободно разрезают воздух. Кружатся лепестки осыпающихся цветов, струятся поникшие ветви ивы.

1. По мнению одного из комментаторов, здесь подразумевается сюжет из повести Фэн Мэнлуна "Слово вечное, мир пробуждающее" о том, как старик, поливая цветы, поздним вечером повстречал бессмертную деву. Это метафора небесной красоты сада. Другой исследователь полагает, что под "бессмертным" понимается "бессмертный среди цветов" — бегония. По свидетельству танского писателя Цзя Даня (730–805), бегония получила этот титул благодаря необычайно красивому цвету.
2. В "Повествовании о Сюй Хуане" из "Записи о трех царствах" (III в. н. э.) говорится: "Обычно опьяневшие гости называли очищенное вино 'совершенномудрым' или 'святым', а неочищенное — 'добродетельным' или 'достойным человеком'". Ду Фу обыгрывает это в стихотворении "Восемь бессмертных за вином":

Без устали пьет, не пьянея ничуть,
сто рек он бы смог, словно кит, заглотнуть,
"Веселым святым" полнит чарку за чаркой,
давая "Достойному" путь.

Перевод Б. Мещерякова

3. В "Истории южных династий" рассказывается о прославленном ученом, даосском монахе и отшельнике Тао Хунцзине (456–536), который бросил службу и поселился в горах. Император У-ди не оставлял попытки привлечь его к решению государственных дел и часто посылал к Тао Хунцзину за советом, поэтому тот получил прозвище Первый Министр Гор.
4. Имеется в виду "Ода о праздной жизни" Пань Юэ (247–300). В переводе В. М. Алексеева ода называется "Жизнь на привольи".
5. Комментаторы усматривают здесь аллюзию на фрагмент из поэмы Цюй Юаня (ок. 340–278 до н. э.):

На пустырях я вырастил дубравы,
И орхидей я посадил сто *му*,
Я вырастил лекарственные травы,
Что так любезны сердцу моему.

Перевод А. И. Гитовича

Если ты все еще дрожишь от зимнего холода — повесь высокие качели[1]: они поднимут тебя к далекому ясному небу, ты сможешь высказать свою радость холмам и долинам. Выйдя из круга мирских забот, размышляя, странствуешь по саду, словно внутри пейзажного свитка.

Лето

В тенистом лесу начинает кричать иволга, из-за горного склона доносится пение дровосека. Ветер родится под сенью деревьев, и ты входишь в пределы Фу-си[2]. Отшельник слагает стихи в сосновой хижине, затворник играет на цитре в бамбуковой роще. Красный наряд лотосов свеж и омыт дождем, яшмовый бамбук легко постукивает, и ты любуешься им в излучине ручья и наблюдаешь за рыбой в реке Хао. Горы виднеются в клубах тумана, низкие облака окружают тебя, когда ты стоишь в галерее, держась за перила. Поверхность воды покрыта мелкой рябью, прохладный воздух будит тебя, приклонившего голову к подушке. У южного окна ты изливаешь горделивые мечты[3], у окна на

1. В эпоху Тан (618–907) ежегодно в Праздник холодной пищи на каждом дереве в императорском дворце вешали качели для увеселения придворных девушек.
2. Фу-си — в древнекитайской мифологии первопредок и легендарный герой. Считался владыкой востока, его изображали как существо с телом змеи или дракона, но с головой человека. Фу-си считается изобретателем китайской иероглифической письменности. Цзи Чэн перефразирует пассаж из "Наставления Яню и другим сыновьям" Тао Юаньмина (365–427 н. э.): "В пятый и шестой месяцы я лежал у окна на северной стороне и, когда дул прохладный ветер, воображал себя придворным императора Фу-си". Эпоха легендарных императоров прошлого традиционно трактуется как период благоденствия и процветания.
3. Отсылка к напевным строфам Тао Юаньмина "Домой, к себе": "Прислонившись к окну, что выходит на юг, я пространству отдам горделиво мечту". Перевод В. М. Алексеева.

северной стороне укрываешься в полуденной тени. До середины окна поднимается изумрудная тень платана и павловнии, стена обвита лазурной сетью стеблей. И ты любуешься луной, склонившись над ручьем, и пьешь родниковую воду, присев на камень.

Осень

Летние одежды не согревают в осенней прохладе. Лотосы в пруду свернулись в ароматные бутоны. Листья утуна осыпаются, испуганные приходом осени[1], цикады в траве стрекотанием наполняют мрак. Бескрайний струящийся свет над озерной гладью, горы словно прекрасные яства на богатом пиру... Ты останавливаешь взгляд на веренице белых цапель, что летят над полями и кленами, словно раскрасневшимися от вина. С высокой террасы смотришь вдаль, чешешь затылок и вопрошаешь голубые небеса[2]. Укрываешься в пустом павильоне и поднимаешь чарку луне[3]. Небесный аромат плывет в воздухе, печально осыпаются семена османтуса[4].

Зима

Увидев у бамбуковой изгороди умирающие хризантемы, ты понимаешь, что пришла зима. Когда же на согретом солнцем горном хребте расцветут сливы — ты будешь знать, что наступила весна. А сейчас повесь связку монет на верхушку по-

1. Существовало поверье, что утун, или дерево феникса, роняет первый лист в первый день осени, и его листья опадают до начала зимы.
2. "Чесать затылок и вопрошать голубые небеса" — цитата из "Заметок о бессмертном на облаке" танского литератора Фэн Чжэна: "Ли Бо поднимался на гору Хуашань и, взобравшись на пик Лофэн, сказал: 'Эта гора — самая высокая, воздух, которым я дышу, достигает трона Небесного императора. Досадую, что со мной нет удивительных стихов Се Тяо, чешу затылок и вопрошаю синее Небо!'"
3. Аллюзия на стихотворение Ли Бо (701—762) "Под луной одиноко пью":

Среди цветов поставил я
Кувшин в тиши ночной
И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.
Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час,
И тень свою я пригласил —
И трое стало нас...

Перевод А. И. Гитовича

4. Османтус цветет осенью и поэтому ассоциируется с этим временем года. Османтус также ассоциируется с луной, так как по легенде на луне под деревом османтуса заяц смешивает эликсир бессмертия.

соха[1] и позови соседей выпить вина. Внезапно набредаешь на красавицу в освещенном луной лесу[2], спит в хижине под снегом достойный муж[3].

Темнеет полотно из облаков, листья шелестят на ветру. В лучах закатного солнца обдуваемые ветром вороны сидят на деревьях. Под убывающей луной озябшие гуси жалобно кличут. Очнувшись от сна у окна в кабинете, ты читаешь стихи, похожий на одинокую тень. Парчовая занавеска льнет к нарумяненной щеке красавицы за узорной ширмой, и снежинки являют

1. В Древнем Китае существовал обычай — отправляясь за вином, вешать связки металлических денег, которые имели отверстие в центре, на верхушку посоха. Тао Юаньмин и Су Дунпо описывают в своих стихотворениях сцены распития вина с сельскими соседями. Вот несколько строф из цикла стихотворений Тао Юаньмина (365—427) "Возвратился к садам и полям":

Никого. И в печали

я иду, опираясь на палку.
Возвращаюсь неровной,

затерявшейся в чаще тропой.
А в ущелье, у речки

с неглубокой прозрачной водою,
хорошо опуститься

и усталые ноги помыть...
Процедил осторожно

молодое вино, что поспело.
Есть и курица в доме —

и соседа я в гости зову.
Вечер. Спряталось солнце,

и сгущается в комнате сумрак.
В очаге моем хворост

запылал — нам свеча не нужна...

Перевод Л. З. Эйдлина

2. Отсылка к стихотворению Гао Ци (1336—1374) "Слагаю стихи о сливе", в котором к благородному мужу, уснувшему на заснеженном поле, в лунном сиянии явилась красавица. Под красавицей понимается цветущая слива. В книге "Записи о городе Лунчэн" есть рассказ о том, как Чжао Шисюн, живший при династии Суй (589—619), после прогулки в горах Лофу заснул, и ему приснилась красавица в красивом бледно-розовом одеянии, вместе они веселились, пели и танцевали. Когда он проснулся, то обнаружил, что лежит под большой сливой.

3. Под достойным мужем, спящим в заснеженной хижине, вероятно, понимается нищий отшельник Юань Ань, живший в эпоху Поздней Хань (23—220) в Лояне. В "Истории Поздней Хань" говорится: "Однажды после сильного ночного снегопада правитель города Лоян отправился осматривать свои владения. Все горожане вышли из домов разгребать сугробы. Только перед домом Юань Аня снег не был расчищен, и другой нищий, который пришел к воротам Юань Аня, предположил, что тот уже умер. Правитель Лояна приказал разгрести снег. Когда вошли в дом, то увидели, что Юань Ань лежит на постели. На вопрос, почему он не попытался выйти на улицу, нищий ответил: 'В большой снегопад все остаются в постели — не подобает в такой день докучать людям просьбами о подаянии'".

доброе знамение. Ты можешь взяться за весла, словно собираешься плыть через реку Янь[1], или набрать снега, чтобы растопить его в чайнике, превосходя в этом род Дан[2]. В холодные ясные дни хорошо подхватывать рифмы, а в погожие дни соединять слова[3].

Пейзаж все равно что цветок, который не увядает, когда ты срываешь его. Напротив, он приобретает новую жизнь. Не нужно придерживаться никаких принципов. Если пейзаж трогает душу — значит, это твой пейзаж.

Самое важное в устроении сада — умело использовать красоту вокруг тебя. В разное время года ты можешь любоваться отдаленным или ближним пейзажем, облаками над головой или травой под ногами. Однако прекрасный образ — как внешний, так и внутренний, — прежде чем ты изложишь его на бумаге, должен появиться в твоем воображении. Только тогда ты сможешь полностью его воплотить.

1. Цзи Чэн отсылает нас к истории из "Нового изложения рассказов, в свете ходящих" (IV в.) Лю И-цина, в которой рассказывается о том, как Ван Цзы отправился навестить друга Дай Аньдао. "Как-то ночью пошел сильный снег. Ван проснулся, открыл дверь и велел принести вина. Посмотрел — кругом все белым-бело. Тогда он встал и пошел бродить. На память ему пришли стихи Цзо Сы 'Приглашение к отшельнику', и тут он вспомнил о Дай Аньдао. А Дай в это время жил у горы Яньшань. И вот Ван ночью сел в лодку и поехал к нему. Приехал он туда только утром. Подошел уже к самым дверям, да не вошел, а повернул назад. Его потом спросили: почему? Цзы ответил: 'Я поехал под влиянием чувства, а чувство прошло — к чему мне было видеться с ним?'" (Перевод Л. Егоровой.) Эта история обычно приводится как иллюстрация философско-эстетического учения "ветер и поток", согласно которому человек должен всегда следовать сиюминутным желаниям.

2. В связи с использованием снега для заваривания чая комментаторы приводят историю об ученом муже по имени Тао Гу, жившем при династии Сун (960–1279). Тао Гу купил наложницу в доме высокопоставленного чиновника по фамилии Дан. Когда выпал снег, Тао Гу собрал его и стал кипятить воду, чтобы заварить чай. Он спросил, делают ли так в семье Дан? Наложница ответила: "Они — простые люди, откуда им знать? Только и могут что сорить деньгами..."

3. Вероятно, здесь имеются в виду литературные игры, например, совместное написание стихов.

Послесловие автора

В год *цзясю* эпохи правления императора Чунчжэня (1634) мне исполнилось 53 года. Я пережил много бед и устал в долгом странствии по дорогам своего ремесла.

В юности меня влекло к тихим уединенным местам, я скрылся от славы среди холмов и долин, долгое время жил устроением садов, отдалился от мирских дел, изредка получая известия о смуте и беспорядках в империи. Сердце отшельника таково: не имея средств, чтобы купить гору, оно всегда ищет устье Персикового источника[1].

С горестью думаю о том, что был рожден не в свое время. Полководец Чжугэ Лян[2] в эпоху Троецарствия, первый министр Ди Жэньцзе[3] при дворе императрицы У Цзэтянь — эти талантливые и благородные мужи тоже родились не в свое время. Что же тогда говорить обо мне, невежде из деревенской глуши, проводящем свои дни среди холмов и долин!?

На досуге я написал это "устроение" в надежде, что оно пригодится моим сыновьям Чаншэну и Чанцзи, но, кажется, они "только и знают, что груши рвать да каштаны"[4]. Поэтому я издал свой труд в надежде, что он будет кому-нибудь полезен.

1. Персиковый источник — идеальная страна, описанная в одноименной поэме Тао Юаньмина.
2. Чжугэ Лян (181–234) — китайский полководец и государственный деятель эпохи Троецарствия (220–280).
3. Ди Жэньцзе (630–700) — высокопоставленный чиновник при дворе императрицы У Цзэтянь (годы правления 690–705). Он был одним из самых уважаемых чиновников того времени и прославился своей честностью.
4. Цитата из стихотворения Тао Юаньмина "Укоряю сыновей":

А младший мой, Тунзы,
которому скоро девять,
тот только и знает,
что груши рвать да каштаны.

Перевод Л. З. Эйдлина

Джон Берджер
Два эссе

Перевод с английского и вступление Анны Асланян

Предлагаемые тексты — первая русскоязычная публикация произведений Джона Берджера, знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста, известного и своими радикальными взглядами (так, в 1972 году, получив Букеровскую премию за роман "G.", он отдал половину денежного приза ультралевой организации "Черные пантеры").

К его книге "Здесь нам суждено встречаться" (2005) трудно подобрать определение: это и заметки — путевые, автобиографические, философские, и эссе об истории и культуре, и, наконец, повествовательные фрагменты, напоминающие главы романа. Эссе "Женева" — о посещении писателем могилы Борхеса — взято из этого сборника. "После смерти человека о нем нельзя узнать ничего нового. Но то, что о нем уже известно, обретает твердость и определенность", — писал в свое время Берджер.

Последний, вышедший в 2011 году, сборник "Блокнот Бенто" (полностью выйдет в издательстве "Ad Marginem") свидетельствует о том, что 85-летний Берджер с годами не утратил способности глубоко чувствовать и увлекательно рассказывать, примером чего может служить приводимое здесь эссе-размышление о щедрости и силе человеческого духа, торжествующего над обстоятельствами.

Женева

Существует фотография Хорхе Луиса Борхеса, сделанная, вероятно, в начале 80-х, за год или два до того, как он уехал из Буэнос-Айреса умирать в Женеву — город, который называл одной из своих "родин". На этой фотографии видно, что он почти слеп, и ощущается, что слепота подобна тюрьме — он часто упоминал об этом в своей поэзии. В то же время его лицо на этой фотографии — пристанище множества жизней. Это — лицо, полное других: мужчины и женщины с их устремлениями говорят его глазами, почти невидящими. Лицо бесчисленных желаний. Это — портрет, который пришелся бы впору поэтам разных веков, разных тысячелетий; в каталоге он значился бы как "Неизвестный".

Женева противоречива и загадочна, словно живой человек. Я мог бы заполнить удостоверение личности. *Национальность*: нейтралитет. *Пол*: женский. *Возраст*: (тут мешает скромность) выглядит моложе

Here Is Where We Meet © 2005 by John Berger
Bento's Sketchbook © John Berger 2011
© Анна Асланян. Перевод, вступление, 2012

своих лет. *Гражданское состояние*: одинока. *Род занятий*: наблюдательница. *Особые приметы*: слегка сутулится вследствие близорукости. *Общие замечания*: привлекательна и скрытна.

Из прочих европейских городов лишь Толедо обладает столь же поразительным местоположением. (Сами по себе эти города абсолютно непохожи.) Однако мое представление о Толедо сложилось под влиянием картин Эль Греко, в то время как Женеву никто из художников не прославил, и единственный ее символ — игрушечная водяная струя, вырывающаяся из озера, которую она включает и выключает, будто галогеновую лампу.

Облака в небе над Женевой появляются (в зависимости от ветров, из которых два самых известных — биз и фен) из Италии, Австрии, Франции или — через долину Рейна — из Германии, с Нижних земель и с Балтики. Порой они приходят из таких далей, как Северная Африка и Польша. Женева — место, где все сходится, и ей это известно.

Проезжие путешественники веками оставляли Женеве на хранение письма, указания, карты, списки, сообщения — для других путешественников, что прибудут позже. Она читает все это со смесью любопытства и гордости. Те, кому не посчастливилось родиться в нашем кантоне — таково ее заключение, — по-видимому, обязаны избыть каждую из своих страстей сполна, а страсть — несчастье, способное ослепить. Главный почтамт Женевы по замыслу его создателей так же внушителен, как и ее собор.

В начале XX века Женева была традиционным местом встречи европейских революционеров и заговорщиков, подобно тому, как сейчас она — один из центров, куда съезжаются на рандеву воротилы новой мировой экономики. Более основательно здесь разместились Международный комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Экуменический совет церквей. Сорок процентов населения — иностранцы. Двадцать пять тысяч человек живут и работают здесь без документов. В ООН около двадцати четырех сотрудников постоянно заняты лишь тем, что носят папки и письма из одного отдела в другой.

Революционерам-заговорщикам, беспокойным организаторам международных переговоров и нынешним финансовым мафиози Женева давала — и по-прежнему дает — покой, белое вино, отдающее морскими раковинами, поездки по озеру, снег, прекрасные груши, закаты, отраженные в воде, изморозь, что, по крайней мере раз в год, покрывает деревья, самые надежные в мире лифты, арктическую рыбу из своего озера, молочный шоколад и комфорт — непрекращающийся, ненавязчивый и совершенный до такой степени, что переходит в распутство.

Летом 1914 года, когда Борхесу было пятнадцать лет, его семейство, приехав на время из Аргентины в Европу, застряло в Женеве, — разразилась война. Борхес ходил в школу при кол-

ледже Кальвина. Сестра его посещала художественное училище. Вероятно, именно тогда, гуляя между рю Фердинанд-Ходлер, где у них была квартира, и колледжем Кальвина, он и сочинял свои первые стихи.

Самих уроженцев Женевы здесь часто одолевает скука — скука, смешанная с привязанностью: они редко помышляют о том, чтобы освободиться и покинуть город навсегда, скорее питают интерес к путешествиям по всему свету. Путешественники они предприимчивые, зачастую бесстрашные. Женева переполнена историями, которые они рассказывают за ее обеденными столами, накрытыми и украшенными с обычными вниманием и заботой: нигде, можно сказать, ни единой ошибки в правописании, каждое блюдо всегда готово вовремя и подается с уклончивой улыбкой.

Несмотря на то что Женева — прямой потомок Кальвина, ничто из того, что она видит и слышит, ее не шокирует. Не испытывает она и никаких соблазнов — или скорее никаких явных соблазнов. Ее тайная страсть (ибо она у нее, разумеется, есть) надёжно спрятана и заметна лишь немногим.

В южной части Женевы, прямо у Роны, там, где она вытекает из озера, есть несколько узеньких, коротеньких, прямых улиц с четырехэтажными зданиями, построенными в XIX веке и первоначально отданными под жилые квартиры. Часть из них была позже превращена в конторы, в других до сих пор живут люди.

По этим улицам идешь, как по проходам между книжными полками обширной библиотеки. Если смотреть с улицы, каждая череда закрытых окон — стеклянная дверь, ведущая к следующему стеллажу. Запертые входные двери лакированного дерева — ящики библиотечного каталога. За этими стенами все пребывает в ожидании быть прочтенным. Ее архивные улицы — так я их называю.

Они не имеют никакого отношения к официальным городским архивам: отчеты комитетов, забытые памятки, принятые резолюции, протоколы миллиона заседаний, сведения, добытые безвестными исследователями, отчаянные призывы к общественности, черновики речей с любовными каракулями на полях, пророчества до того точные, что их пришлось похоронить, жалобы на переводчиков и бесконечные годовые бюджеты — все это хранится не здесь, а в зданиях тех самых международных организаций. То, что стоит на полках архивных улиц в ожидании быть прочтенным, — вещи личные, не знающие себе равных и почти невесомые.

Архивы не похожи на библиотеки. Библиотеки составлены из переплетенных томов, каждую страницу которых неоднократно перечитывали и правили. Архивы нередко состоят из бумаг, поначалу брошенных или отложенных в сторону. Страсть Женевы — обнаруживать, заносить в каталог и сверять то, что было отложено в сторону. Неудивительно, что она близорука. Неудивительно, что она вооружается — даже во сне — против жалости.

Как, например, занести в каталог вырванную из настольного календаря страничку, охватывающую две недели от воскресенья 22 сентября до воскресенья 5 октября 1935 года? В небольшой графе для заметок, между двумя недельными колонками, написаны одиннадцать слов. Почерк наклонный, торопливый, порывистый. Возможно, женский. Слова, написанные по-английски, таковы: *всю ночь, всю ночь, но что же это такое на открытке.*

Что дает Женеве ее страсть? Она утоляет ее ненасытное любопытство. Любопытство, не имеющее никакого (или почти никакого) отношения к пытливости или сплетням. Она не консьержка — и не судья. Женева — наблюдательница, ее привлекает само разнообразие людских горестей и утех.

Столкнувшись с любой, самой вопиющей ситуацией, она способна пробормотать: "Я понимаю, — а после мягко добавить: — Сядьте, а я вам что-нибудь принесу".

Невозможно угадать, откуда она возьмет то, что собирается принести, — с книжной ли полки, из шкафчика с лекарствами, из погреба ли, из платяного шкафа или ящика тумбочки у ее кровати. Как ни странно, именно этот вопрос о происхождении принесенного и делает ее желанной.

В Женеве с семнадцатилетним Борхесом произошел случай, оставивший глубокий след в его жизни. Он долго молчал об этой истории, лишь спустя много лет посвятил в нее одного или двух друзей. Его отец решил, что сыну давно пора потерять девственность и, соответственно, устроил ему свидание с проституткой. Спальня на третьем этаже. День в конце весны. Неподалеку оттуда, где жила семья. Возможно, на пляс дю Бург-де-Фур, возможно, на рю дю Женераль-Дюфур. Борхес мог перепутать эти названия. Я бы поставил на рю дю Женераль-Дюфур — как-никак, архивная улица.

Лицом к лицу с проституткой семнадцатилетний Борхес оказался парализован робостью, стыдом и подозрением, что его отец — клиент этой самой женщины. На протяжении всей жизни собственное тело причиняло ему страдания. Он раздевался только в стихах, которые одновременно были его одеждами.

В тот день на рю дю Женераль-Дюфур женщина, заметив мучения юноши, накинула на белые плечи пеньюар и, слегка ссутулившись, направилась к двери.

Сядьте, мягко сказала она. А я вам что-нибудь принесу.

Принесенное было нечто из найденного ею в одном из архивов.

Спустя много лет, когда Борхес стал директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе, его воображение превратилось в неутомимого собирателя отложенных в сторону предметов, порванных предательских записок, утерянных фрагментов. Его великое поэтическое наследие — своего рода каталог экспонатов подобной коллекции: воспоминание некоего мужчины о женщине, оставившей его тридцать лет назад, связка ключей, колода

карт, засохшая фиалка, смятая между страницами книги, зеркальное отражение буквы на промокательной бумаге, упавший том, скрытый из виду другими томами, симметричная роза у мальчика в калейдоскопе, тёрнеровские тона, когда в узком зале галереи погашен свет, ногти на руках, атласы, усы с седеющими кончиками, весла Аргуса...

Сядьте, а я вам что-нибудь принесу.

Прошлым летом, пока Буш со своей армией и нефтяные корпорации со своими советниками громили Ирак, у меня в Женеве состоялось рандеву с дочерью Катей. Я рассказал Кате о встрече с матерью в Лиссабоне. Пока моя мать была жива, они с Катей понимали друг друга, ибо обладали чем-то общим, глубоким, таким, что не нуждалось в обсуждении. Обе соглашались с тем, что в поисках какого-либо смысла жизни бесполезно заглядывать туда, куда смотреть указано. Смысл можно найти лишь в секретах.

Выслушав рассказ о том, что произошло в Лиссабоне, Катя предложила: "Ты говоришь о почитании; начни с Борхеса. Почему бы и нет? Ты его цитируешь, мы его обсуждаем, всё собираемся посетить кладбище, а ты там так ни разу и не был; пошли вместе!"

Она работала в Grand Théâtre de Genève[1]; туда я за ней и приехал. Стоило мне выключить мотор и поставить ноги на землю, как жара стала удушающей. Я стянул перчатки. Машин почти не было. Все обитатели центра города в разгар лета уезжают. Немногочисленные пешеходы, в основном пожилые, передвигались в безопасном медленном ритме, будто сомнамбулы. Они предпочитали находиться на улице, а не у себя в квартирах, ведь такая жара угнетает еще сильнее, когда ты один. Они бродили, они садились, они обмахивались, они лизали мороженое либо ели абрикосы. (Подобного урожая абрикосов не было уже десять лет.)

Я снял шлем и запихнул перчатки туда.

Мотоциклисты даже в самые жаркие летние дни надевают легкие кожаные перчатки — на то есть особая причина. Формально перчатки нужны для защиты в случае падения и для того, чтобы руки не соприкасались с липкой резиной руля. Однако если вдуматься, они прикрывают руки от холодного воздушного потока, который, хотя и весьма приятен в жару, притупляет чувствительность восприятия. Летние перчатки носят, чтобы получать удовольствие от точности при езде.

Я подошел к служебному входу и спросил Катю. Вахтерша пила из жестянки охлажденный чай (со вкусом персика). Театр был закрыт на месяц, остались только основные сотрудники.

Сядьте, мягко произнесла вахтерша, а я ее поищу.

Катина работа заключалась в составлении учебных материалов по опере и балету для школьников — в том числе учеников колледжа Кальвина. Она сбежала вниз по лестнице, одетая в набивное летнее

1. Женевский оперный театр.

платье, угольно-черное с белым. Борхес увидел бы лишь размытое серое пятно.

Ты давно ждешь?

Ну что ты.

Хочешь посмотреть на сцену? Можно влезть на самый верх, очень высоко, оттуда весь пустой театр целиком видно.

В пустых театрах есть что-то такое...

Да, они — полные!

Мы направились вверх по металлической лестнице, напоминавшей пожарную. Над нашими головами двое или трое рабочих сцены настраивали осветительный механизм. Она помахала им.

Они меня позвали, а я сказала, что хочу еще тебя привести.

Рабочие, смеясь, помахали ей в ответ.

Потом, когда мы добрались до их уровня, один из них сказал Кате: так ты, я вижу, высоты не боишься!

И я подумал о том, сколько раз в жизни мне приходилось принимать участие в этом ритуале: мужчины демонстрируют женщинам, что их работа связана с определенным риском, не очень серьезным. (Серьезный риск они предпочитают не демонстрировать.) Им хочется произвести впечатление, хочется, чтобы ими восхищались. Это — предлог, для того чтобы поддержать женщину под руку, показать ей, куда ступить или как нагнуться. Есть здесь и удовольствие другого рода. Ритуал, о котором речь, подчеркивает разницу между женщинами и мужчинами, и эта преувеличенная разница рождает трепет надежд. Потом на какое-то время становится легче выносить рутину.

Высоко мы?

Метров сто, солнышко.

Откуда-то издалека, из репетиционной, до нас донеслись трели сопрано — кто-то распевался. В стороне от батареи приглушенных прожекторов было темно. Виднелась только открытая дверь — маленькая, не больше чердачного лаза — далеко внизу, возле кулис. Из нее струился солнечный свет. Ее, очевидно, открыли, чтобы впустить немного воздуха. Рабочие были одеты в шорты с майками и обливались потом.

Сопрано начала арию.

Беллини, "I Puritani", объявил младший из рабочих. Восемьдесят представлений в прошлом сезоне!

O rendermi la speme
O lasciatemi morir...

Позволь мне надеяться
Или позволь умереть.

Сцена была огромной, как сухой док, и мы с Катей прошлись по одному из мостиков. Параллельно мостику висели, спускаясь прямо к подмосткам, раскрашенные декорации сезонного репертуара.

Луч прожектора пересек, как по дорожке, подмостки; голос почему-то остановился посередине арии; тогда-то мы и увидели, как в открытую дверь — там, вдали, внизу — влетела птица.

Несколько минут она кружила в темном пространстве. Потом, потеряв ориентацию, уселась на провод. Стало видно, что это скворец. Птица устремилась к прожекторам —

похоже, приняла их за выходы на свет, — забыв или не в силах найти дорогу назад, к двери, через которую влетела.

Птица пролетела между висящими задниками — "Море", "Гора", "Испанская таверна", "Лес в Германии", "Королевский дворец", "Крестьянская свадьба", — крича на лету: чи-и-и-р-р! чи-и-и-р-р! Крики становились все более и более пронзительными, по мере того как она все яснее понимала, что попала в западню.

Попавшей в западню птице надо, чтобы вокруг стемнело и освещенным остался только путь на волю. Этого не произошло, и тогда скворец принялся биться о стены, занавесы и холсты. Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р!

В оперных театрах существует старое поверье: если убить на сцене птицу, в здании начнется пожар.

Репетировавшая певица, в брюках и футболке, вышла на сцену. Наверное, кто-то сказал ей про птицу.

Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! — запела в подражание птице Катя. Певица взглянула наверх и поняла, в чем дело. Она тоже начала подражать крику скворца. Птица откликнулась. Певица настроилась на нужную тональность, и один крик сделался почти неотличим от другого. Птица полетела к ней.

Мы с Катей заторопились вниз по металлическим ступеням. Когда мы проходили мимо рабочих, молодой сказал Кате, а я и не знал, что ты у нас примадонна!

На улице, на углу театра, куда выходила маленькая дверь, сопрано, сложив руки перед собой, выводила раз за разом, чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Старики со своим мороженым и абрикосами собрались вокруг, нисколько не удивившись. В такую жару, в опустевшем городе может произойти все что угодно.

Давай сначала выпьем эспрессо, сказала Катя, а потом пойдем на кладбище.

Она нашла место на самом солнцепеке. Я сел в тени. Вдали послышались аплодисменты. Наверное, птица вылетела наружу. Вот так история, заметила она, рассказать — никто не поверит.

На кладбище были широкие лужайки и высокие деревья. По свежескошенной траве с привередливым видом вышагивал дрозд. Мы спросили дорогу у садовника, оказавшегося боснийцем.

В конце концов мы нашли могилу в дальнем уголке. Простое надгробие и засыпанный гравием прямоугольник, на котором помещались плетеная корзина, наполненная землей, и куст с очень темной зеленью и ягодами, густой, мелколистный. Надо выяснить, как он называется, ведь Борхес любил точность во всем — когда он писал, точность давала ему возможность приземляться ровно там, где хотелось. Всю жизнь он — то постыдно, то мучительно — плутал в политике, однако на странице — никогда.

Debo justificar lo que me hiere.
No importa mi ventura o mi
desventura
Soy el poeta[1].

1. "El Cómplice" ("Сообщник"), из сборника "Тайнопись".

Я должен оправдать
причину боли.
Мне не до вас,
мои удача с неудачей.
Я — поэт.

Тот куст, по словам садовника-боснийца, назывался Buxus sempervivens. Мне следовало бы его узнать. В деревнях Верхней Савойи веточки этого растения окунают в святую воду, чтобы в последний раз окропить тело близкого, покоящееся на ложе. Священным это растение стало из-за своей редкости. На Пальмовое воскресенье в той местности обычно не хватало распустившихся ветвей вербы, поэтому савойцы начали использовать вместо них вечнозеленый самшит.

Умер он, как сообщало надгробие, 14 июня 1986 года.

Так, в тишине, мы и стояли здесь вдвоем. У Кати на плече висела сумка, я держал свой черный мотоциклетный шлем, куда запихнул перчатки. Мы склонились над могильным камнем.

На нем был высечен барельеф: люди, как могло показаться, в средневековой лодке. А может быть, они находились на суше; стоять же плечом к плечу, единым строем от них, воинов, требовала дисциплина. Они напоминали древних. На тыльной стороне надгробия были другие воины, державшие то ли копья, то ли весла, уверенные, готовые пройти — по земле, по воде ли — там, где требовалось пройти.

Когда Борхес приехал в Женеву умирать, его сопровождала Мария Кодама. В начале шестидесятых он преподавал у нее англосаксонскую и древнескандинавскую литературу. Она была вдвое моложе его. Поженившись за восемь недель до его смерти, они переехали из отеля на архивной улице под названием рю де ля Тур-Метресс в найденную ею квартиру.

Эта книга (написал он в посвящении) — твоя, Мария Кодама. Нужно ли говорить, что в мое посвящение входят сумерки, олени в садах Нары, одинокая ночь и многоликие зори, общие острова, моря, пустыни и парки, то, что уносит забвение и преображает память, пронзительный крик муэдзина, смерть в Хоуквуде, книги и гравюры? <...> Отдать можно только то, что уже отдано. Отдать можно только то, что принадлежит другому[1].

Пока мы с Катей пытались определить, на каком языке написаны выбитые на камне строки, мимо прошел молодой человек с сыном в коляске. Малыш показал на голубя, важно выступившего им навстречу, и засмеялся, пуская пузыри, в уверенности, что именно он привел птицу в движение.

Четыре слова на фасаде обелиска оказались на англосаксонском. "And Ne Forthedan Na". "Не следует бояться".

Поодаль на дорожке кладбища появились двое. Подойдя к пустой скамье, они остановились, помешкали, затем решили сесть. Женщина села на колени к своему мужчине, лицом к нему.

Слова на обратной стороне были на древнеисландском.

1. Посвящение к сборнику "Порука". Перевод с испанского Б. Дубина.

"Hann tekr sverthit Gram ok leggr i methal theira bert". "Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собою и ею"[1]. Это предложение взято из древнескандинавской саги, столь любимой Кодамой и Борхесом; они годами не переставали с ней играть.

У самого основания обелиска, там, где трава, написано: "От Ульрики — Хавьеру Отарола". Ульрика — имя, данное Борхесом Кодаме, а Хавьер — имя, данное ему ею.

Жаль, подумал я про себя, что мы не принесли цветов. Потом мне пришла идея: вместо цветов оставить одну из кожаных перчаток.

Приближался садовник на своей газонокосилке. Слышен был шум двухтактного двигателя, пахло свежескошенной травой. Не знаю другого запаха, так тесно связанного с началом: утро, детство, весна.

Память об одном рассвете.
Стихи Марона и Фроста.
Голос Маседонио Фернандеса.
Любовь и слова
двух-трех человек на свете.
Верные мои талисманы, но и
они не помогут от тьмы,
о которой лучше молчать,
о которой
поклялся молчать[2].

Я засомневался. Перчатка лишь создаст впечатление, будто ее кто-то обронил. Смятая черная оброненная перчатка! Этим ничего не выразить. Забыть об этом. Лучше прийти в другой раз с букетом цветов. Каких цветов?

Бездонная, вневременная роза,
Господень дар безжизненным
зрачкам[1].

Катя вопросительно взглянула на меня. Я кивнул. Пора было уходить. Мы медленно пошли назад, к воротам, не произнося ни слова.

Нашли вы, кого искали? — спросил садовник-босниец.

Да — спасибо вам, ответила Катя.

Родственник?

Да, родственник, сказала она.

На улице перед театром было тихо, закрыта была дверь, видевшая полет скворца. Мой мотоцикл стоял рядом с Катиным мопедом. Она пошла за шлемом. Собираясь надеть свой собственный, я вытащил перчатки. Там оказалась только одна. Я посмотрел еще раз. Только одна.

Что такое?

Перчатка пропала.

Ты ее, наверно, обронил, давай вернемся, тут совсем рядом.

Я рассказал ей о том, что было у меня в мыслях, когда мы стояли у могилы.

Ты его недооценил, заговорщически сказала она, сильно недооценил.

Пока мы смеялись, я засунул оставшуюся перчатку в карман, а она забралась на сиденье. Почти все светофоры горели зеленым, и скоро мы очутились за Роной; город оставался позади, дорога, ведущая на перевал, пет-

1. "Сага о Вельсунгах". Перевод с древнеисландского Б. Ярхо.
2. "Талисманы". Перевод с испанского Б. Дубина.

1. "The Unending Rose". Перевод с испанского Б. Дубина.

ляла. Теплый воздух пробегал по моим рукам, Катя ныряла в виражи. Я вспомнил, как недавно она процитировала Зенона Элейского в отправленной мне эсэмэске: "Все движущееся — не там, где оно есть, и не там, где его нет"; для меня это — определение музыки.

Наша — особого рода — музыка продолжалась, пока мы не достигли Коль-де-ля-Фосиль.

Там мы остановились и спешились, чтобы посмотреть вниз, на озеро, в сторону Альп и на Женеву — город с его многообразием жизней.

Из сборника "Блокнот Бенто"

Я хочу рассказать вам историю о том, как отдал японскую кисть для каллиграфии, седо. О том, где и как это произошло. Кисть подарил мне друг-актер, ездивший в Японию, поработать в театре но.

Я часто ею рисовал. Сделана она была из конского и овечьего волоса. Когда-то эти волоски росли из кожи. Может быть, поэтому, собранные в кисточку с бамбуковой ручкой, они так живо передают ощущения. Когда я рисовал этой кистью, то создавалось впечатление, будто она и мои пальцы, легко ее держащие, касаются не бумаги — кожи. Мысль о том, что бумага, на которой рисуют, подобна коже, содержится в самом этом выражении — "прикосновение кисти". "Одно-единственное касание кисти!" — так называл его великий рисовальщик Ситао.

История происходила в муниципальном бассейне одного известного, но не шикарного, парижского предместья, который я, бывало, регулярно посещал. Я приходил туда ежедневно в час дня, когда большинство людей обедали, так что в бассейне было не так людно.

Здание бассейна длинное, квадратное, стены сделаны из стекла и кирпича. Оно было построено в конце 60-х, открыто в 71-м. Располагается оно в небольшом парке, где растет несколько японских берез и плакучих ив.

Когда плаваешь в бассейне, через его стеклянные стены видны уходящие ввысь ивы. Потолок в бассейне обшит панелями, и теперь, спустя сорок лет, нескольких недостает. Сколько раз я, плавая на спине, замечал это, одновременно ощущая, как вода поддерживает и меня, и какую-нибудь историю, меня занимающую?

Существует рисунок, сделанный в XVIII веке Хуан Шэнем, — цикада, поющая на ветви плакучей ивы. Каждый листок на этом рисунке — одно прикосновение кисти.

Снаружи видно, что здание городское, не сельское, а если не знать, что это бассейн, и забыть о деревьях, можно подумать, будто оно имеет какое-то отношение к железной дороге — помещение для мытья вагонов, погрузочная платформа.

Над входом нет никаких надписей, лишь маленькая эмблема, а на ней три цвета национального флага — символ Французской республики. Входные двери стеклянные, на них по трафарету выведено POUSSEZ[1].

1. ОТ СЕБЯ (*франц.*).

Стоит толкнуть от себя одну из этих дверей и зайти внутрь, как оказываешься в другом мире, едва связанном с улицами, припаркованными машинами, торговым районом.

В воздухе слабый запах хлорки. Все освещено снизу, а не сверху — следствие того, что свет отражается от водной поверхности двух бассейнов. Акустика отчетливая — у каждого звука свое негромкое эхо. Везде преобладает горизонтальное, а не вертикальное. Большинство людей плавают, плавают из конца в конец большого бассейна, дорожка за дорожкой. Стоящие только что сняли или снимают с себя одежду, поэтому ощущения иерархии, разницы в положении, почти нет. Вместо того повсюду господствует это ощущение горизонтального равенства.

Кругом множество печатных объявлений, во всех бросаются в глаза канцеляризмы и бюрократический синтаксис.

Сушка волос прекращается за 5 мин. до закрытия.

Купание без шапочки воспрещено. Указ горсовета. Действ. с пн. 12.09.1980.

Убедительная просьба. Вход воспрещен. Только для сотрудников.

Голос, звучащий в подобных объявлениях, неотделим от той долгой политической борьбы за признание прав и обязанностей граждан, которая шла при Третьей республике. Размеренный, обезличенный комитетский голос — а где-то вдали смеется ребенок.

Году в 50-м Фернан Леже написал серию полотен под названием "Plongeurs" — "Ныряльщики в бассейне". Эти картины, с их первичными цветами и спокойными, простыми линиями, прославляли мечту и планы рабочих, которые наслаждаются досугом и — поскольку они рабочие — преображают досуг в нечто, еще не имеющее названия.

Сегодня до осуществления этой мечты дальше, чем когда бы то ни было. И все-таки порой, складывая свою одежду в шкафчик в мужской раздевалке, надевая ключ на запястье, принимая обязательный горячий душ, перед тем как ступить в ванночку для ног, подойти к бортику большого бассейна, нырнуть, я вспоминаю эти картины.

На большинстве плавающих, помимо обязательных купальных шапочек, темные очки для плавания, которые защищают глаза от хлорки. Взглядами пловцы обмениваются редко, а если кто-то из них случайно заденет ногой другого, то немедленно извиняется. Атмосфера не та, что на Лазурном берегу. Здесь каждый сам по себе, каждый независимо преследует собственную цель.

Поначалу я обратил на нее внимание, потому что она плавала не так, как все. Движения ее рук и ног были на удивление медленными — подобно движениям лягушки, — и в то же время это ей не слишком мешало. У нее были другие, не как у всех, взаимоотношения с водной стихией. Китайский мастер Ци Байши (1863–1957) любил рисовать лягушек, и сверху их головы выходили у него очень черными, словно

на них надеты купальные шапочки. На Дальнем Востоке лягушка — символ свободы.

Ее шапочка была золотисто-рыжего цвета, одета она была в купальный костюм цветочной расцветки, немного напоминавшей чинц, английский ситец. Ей было под шестьдесят, я предполагал, что она вьетнамка. Позже я обнаружил, что ошибался. Она из Камбоджи.

Каждый день она плавала почти час, дорожка за дорожкой. Как и я. Когда она решала, что пора, вскарабкавшись по одной из лесенок в углу, уходить из бассейна, на помощь ей приходил мужчина, сам плававший в нескольких дорожках от нее. Он тоже был из Юго-Восточной Азии, чуть худее, чуть ниже ростом, чем она, с лицом более точеным — ее круглое лицо напоминало луну.

Он подходил к ней сзади и клал руки на ее зад, чтобы она, стоя лицом к бортику бассейна, могла на них сесть, и слегка поддерживал ее, когда они вместе вылезали из воды.

Оказавшись на твердом полу, она направлялась от бортика к ножной ванночке, ко входу в женскую раздевалку, одна; в походке ее не было заметно прихрамывания. Однако, раз за разом наблюдая этот ритуал, я видел, что при ходьбе тело ее напряжено, словно растянуто на колышках.

Мужчина со смелым, точеным лицом был, вероятно, ее муж. Не знаю, почему я слегка сомневался на этот счет. Было ли дело в его почтительности? Или в ее холодности?

Когда она появлялась в бассейне и собиралась войти в воду, он сходил по лесенке до середины, она садилась ему на одно плечо; затем он осторожно погружался, пока вода не дойдет ему до бедер, чтобы она могла спуститься на воду и уплыть.

Оба они знали эти ритуалы погружения и извлечения наизусть и, возможно, сознавали, что вода здесь играет роль более важную, чем любой из них. Быть может, поэтому они и казались скорее партнерами-исполнителями, чем мужем и женой.

Шло время. Чередой проходили дни. Наконец однажды, когда, отмеряя свои дорожки и плывя друг другу навстречу, мы с ней впервые за тот день поравнялись — нас разделяла какая-нибудь пара метров, — мы подняли головы и кивнули друг другу. А когда, собираясь уходить из бассейна, поравнялись в последний раз, то обменялись знаком "au revoir"[1].

Как описать этот знак? Он включает в себя приподнятые брови, откинутую, словно в попытке отбросить волосы назад, голову, сощуренные в улыбке глаза. Очень незаметно. Очки, подтянутые кверху, на купальную шапочку.

Однажды, когда я после плавания принимал горячий душ — там, в мужской раздевалке, восемь душей, кранов, чтобы их включить, нет, надо нажать на старомодного вида кнопку, похожую на дверную ручку, фокус же в том, что среди этих восьми имеются некие различия в длительности по-

1. До свидания (*франц.*).

тока горячей воды, по окончании которого приходится снова нажимать на кнопку, и к тому времени я уже точно знал, в каком душе горячая струя не выключается дольше всех, и, если он был свободен, я всегда выбирал его — так вот однажды, когда я после плавания принимал горячий душ, под соседний встал тот мужчина из Юго-Восточной Азии, и мы обменялись рукопожатиями.

После мы перекинулись парой слов и договорились, когда оденемся, встретиться на улице, в маленьком парке. Так мы и сделали, и его жена присоединилась к нам.

Тогда-то я и узнал, что они из Камбоджи. Она состоит в очень дальнем родстве с семейством знаменитого короля, а впоследствии принца Сианука. Двадцати лет, в середине 70-х, бежала в Европу. До того изучала искусство в Пномпене.

Говорила она, а я задавал вопросы. У меня снова появилось ощущение, будто он выполняет роль охранника или помощника. Мы стояли у берез, рядом с их припаркованным "ситроеном" модели C15, где два сиденья спереди, а сзади свободное место. Машина, повидавшая виды. Вы по-прежнему пишете картины? — спросил я. Она подняла руку в воздух, жестом изобразив, будто выпускает птицу, и кивнула. У нее часто бывают боли, сказал он. Еще я много читаю, добавила она, на кхмерском и на китайском. Тут он дал понять, что им уже пора бы садиться в свой C15. Я заметил, что с зеркальца заднего вида свисает крохотное буддистское колесо Дхармы, похожее на штурвал корабля в миниатюре.

После того как они отъехали, я лег на траву под плакучими ивами — стоял месяц май — и понял, что думаю о боли. Она покинула Камбоджу — тогда еще Кампучию — в год, когда Сианука свергли, вероятно, с помощью ЦРУ, и, когда "красные кхмеры" под предводительством Пол Пота, захватив столицу, приступили к насильственному выселению двух миллионов ее обитателей в сельскую местность — там им, лишенным любой частной собственности, пришлось учиться тому, как стать "новыми кхмерами"! Миллион из них не выжили. В предшествующие годы Пномпень и окружающие его деревни систематически бомбили американские самолеты B-52. Погибло не меньше ста тысяч человек.

Народ Кампучии с его могучим прошлым, — Ангкор-Ват, тяжелые, не ведающие боли каменные статуи, впоследствии расколотые и разграбленные силой чего-то, что нынче принято считать страданием, — народ Кампучии в тот момент, когда она покинула родину, был окружен врагами: вьетнамцами, лаосцами, тайцами; в то время его тиранили и зверски уничтожали собственные провидцы от политики, превратившиеся в фанатиков, чтобы мстить самой реальности, чтобы свести реальность к одномерной. Подобная редукция несет с собой боль — столько, сколько поместится в сердце.

Глядя на ивы, я наблюдал за тем, как стелются по ветру

их листья. Каждый листок — маленькое прикосновение кисти. Я понял, что невозможно отделить боль, очевидно унаследованную ее телом, от боли, что пережила ее страна в последние полвека.

Сегодня Камбоджа — самая бедная страна Юго-Восточной Азии, девяносто процентов ее экспорта производится в мастерских-потогонках, где делают вещи для многонациональных торговцев тряпками, украшенными брэндом.

Мимо меня пробежала группа четырехлетних детей, они направились вверх по ступенькам, через стеклянные двери — на урок плавания.

Когда я в следующий раз увидел ее с мужем в бассейне, то приблизился к ней, дождавшись, пока она доплывет до конца очередной дорожки, и попросил ее назвать мне причину своей боли. Она ответила тут же, словно сообщила название места: полиартрит. Началось, когда я была молодая, когда поняла, что должна уехать. Спасибо, что поинтересовались.

Левая половина ее лба немного другого цвета, чем остальная часть, более коричневая — словно бы к ее коже некогда приложили продолговатый лист, от которого осталось небольшое пятно. Когда голова ее, откинутая назад, плавает на поверхности воды и лицо напоминает луну, это пятно на лбу можно сравнить с одним из "морей" на лунной поверхности.

Мы оба брели по воде, и она улыбалась. Когда я в воде, сказала она, я меньше вешу, и через некоторое время у меня перестают болеть суставы.

Я кивнул. А потом мы опять стали плавать. Плавая на животе, она, как я уже говорил, двигала ногами и руками медленно, словно лягушка. На спине она плавала, как выдра.

Камбоджа — земля, у которой уникальные, осмотические взаимоотношения с пресной водой. Кхмеры называют свою родину "тык-дэй", что означает "водная земля". Обрамленную горами, плоскую, горизонтальную, пойменную равнину Камбоджи — по площади составляющую около пятой части Франции — пересекают шесть рек, включая огромный Меконг. За время летнего сезона дождей ее поток увеличивается в пятьдесят раз! А в Пномпене, в самом начале ее дельты, уровень воды регулярно поднимается на восемь метров. Одновременно с этим каждое лето разливается лежащее к северу от Пномпеня озеро Тонлесап, в четыре раза превышая свой "нормальный" зимний размер, и превращается в гигантский резервуар, а река Тонлесап поворачивает вспять и течет в противоположном направлении, так что низовья ее становятся верховьями.

Неудивительно поэтому, что на этой равнине имелись самые разнообразные и богатые в мире возможности для пресноводной рыбной ловли, что тамошние крестьяне веками жили за счет риса и рыбы из этих вод.

В тот день, плавая в обеденный перерыв в муниципальном бассейне, после того, как она произнесла слово "полиартрит", словно название места, я решил подарить ей свою кисть для седо.

Тем же вечером я положил ее в коробочку и обернул. И каждый раз, отправляясь в бассейн, я брал ее с собой, пока наконец они снова не появились. Тогда я положил коробочку на одну из скамеек позади трамплинов для ныряния и сказал об этом ее мужу, чтобы он взял ее, когда они будут уходить. Я ушел прежде, чем они.

Прошли месяцы, мы с ними не встречались — я был в отъезде. Вернувшись в бассейн, я поискал их глазами, но не увидел. Поправив очки, я нырнул. Несколько детей ныряли ногами вперед, зажав носы. Другие, стоя на бортике, прилаживали к ногам ласты. Тут было шумнее и оживленнее, чем обычно, потому что уже наступил июль; школа закончилась, и дети, чьим семьям не по карману было уехать из Парижа, приходили сюда и часами играли в воде. Для них была особая входная плата, минимальная, а инструкторы по плаванию, они же спасатели, поддерживали беззаботную, нежесткую дисциплину. Несколько завсегдатаев по-прежнему были здесь, со своими строгими привычками и личными планами.

Я проплыл около двадцати дорожек и собирался было начать новую, как вдруг к своему огромному удивлению почувствовал, как на мое правое плечо твердо легла чья-то рука. Повернув голову, я увидел окрашенное луноподобное лицо той, что некогда изучала искусство в Пномпене. На ней была все та же золотисто-рыжая купальная шапочка, и она улыбалась — широкой улыбкой.

Вы здесь!

Она кивает и, пока мы бредем по воде, подходит близко и дважды целует меня в обе щеки.

Потом спрашивает: птица или цветок?

Птица!

Услышав это, она откидывает голову назад, на воду, и смеется. Жаль, что вы не можете услышать ее смех. В сравнении с плесканием и криками детей вокруг нас он низкий по тональности, медленный, неослабевающий. Лицо ее более луноподобно, чем всегда, луноподобно и вне времени. Смех этой женщины, которой скоро исполнится шестьдесят, все продолжается. Не знаю почему, но это — смех ребенка, того самого ребенка, чей смех слышался мне сквозь комитетские голоса.

Спустя несколько дней ее муж подплывает ко мне, осведомляется о моем здоровье, шепчет: на скамейке у трамплина. Потом они покидают бассейн. Он подходит к ней сзади, подводит руки под ее зад, а она, стоя лицом к бортику, садится на них, он слегка ее поддерживает, и они вместе вылезают из воды.

Ни она, ни он не машут мне на прощанье, как делали в другие разы. Вопрос скромности. Скромности жестов. Подарок нельзя сопровождать притязанием.

На скамейке большой конверт, я его беру. Внутри — картина на рисовой бумаге. На картине птица — ведь это я выбрал, когда она спросила, чего я хочу. На картине изображен бамбук, а на одном из его побегов примостилась лазоревка. Бамбук нарисован по всем

правилам искусства. Одно прикосновение кисти, начинающееся с верхушки стебля, останавливающееся на каждом сочленении, спускающееся и чуть расширяющееся книзу. Ветви, узкие, как спички, нарисованы кончиком кисти. Темные листья выполнены одиночными прикосновениями, словно мечущиеся рыбешки. И наконец, горизонтальные узлы, мазки кисти слева направо, между каждой парой частей полого стебля.

Птица со своей голубой шапочкой, желтой грудкой, сероватым хвостом и коготками, похожими на букву "W", на которых она может, если понадобится, висеть вниз головой, изображена по-другому. Если бамбук плавно течет, то птица кажется вышитой, ее цвета нанесены кисточкой, заостренной, как игла.

Вместе на поверхности рисовой бумаги бамбук и птица обладают элегантностью единого образа; ниже, слева от птицы, нанесено имя художника, незаметный узор. Ее зовут Л.

И все-таки когда входишь в рисунок, когда дожидаешься, пока его воздух прикоснется к твоему затылку, то чувствуешь, что эта птица бездомна. Неизъяснимо бездомна.

Я обрамил рисунок, словно свиток, не наклеивая на картон, и с огромным наслаждением выбрал место, где его повесить. Потом, как-то раз, спустя много месяцев, мне понадобилось что-то найти в одной из иллюстрированных энциклопедий Лярусса. И вот листая страницы, я случайно наткнулся в ней на небольшую иллюстрацию, изображавшую mesange bleue (лазоревку). Я был озадачен. Она казалась до странного знакомой. Тут я понял, что в этой стандартной энциклопедии передо мною модель: так две W, коготки лазоревки, располагались в точности под тем же углом; голова с клювом — тоже. Именно эту иллюстрацию взяла в качестве модели Л., рисуя примостившуюся на бамбуке птицу.

И вновь я кое-что понял о бездомности.

Полина Козеренко

Несколько слов от переводчика

В 2006 году в Польше вышла книга репортера Мариуша Щигела "Готтленд"[1]. Среди прочих сюжетов, связанных с недавним чехословацким прошлым и чешским настоящим, есть небольшой рассказ о неудавшейся попытке автора взять интервью у одной удивительной женщины — Веры Саудковой, племянницы Франца Кафки. Журналистка еженедельника "Рефлекс" Гана Бенешова была более удачлива, чем ее польские и даже американские коллеги, — девяностолетняя Вера С. согласилась поделиться с ней воспоминаниями о своей жизни...

Мариуш Щигел

Вера Саудкова – племянница Кафки

Перевод с польского Полины Козеренко

Закончив работу над "Готтлендом", я сразу же приготовил гамбургер. Он должен был получиться небольшим, в меру аппетитным и быстрым в употреблении. В какой бы стране его ни подавали (стандарт — святое Макправило), главное, чтобы он легко усваивался. Не все авторы знают, что после издания книги приготовление гамбургера — срочнейшее дело.

— Возможно, ты написал стоящую вещь, может быть, даже использовал там слова типа "Кафка", но помни, что книга — это шоу-бизнес, — объяснял мне коллега с телевидения. — Тебе необходимо сформулировать ее содержание в трех эффектных фразах. Таких, которые будут понятны везде, в каждой культуре.

© Agora SA
Редакция благодарит издательское акционерное общество "Агора" за безвозмездное предоставление прав на публикацию текста М. Щигела, напечатанного в журнале "Ксёнжки", 2011, № 1.
© Полина Козеренко. Вступление, перевод, 2012
1. См. "ИЛ", 2009, № 1; полностью книга вышла в издательстве "Новое литературное обозрение" (2009).

Мой гамбургер, соответственно, выглядел так: "Я написал книгу о том, что кто-то или что-то превращает людей в насекомых и как люди на это реагируют. От тотального смирения и прямо-таки шизофренического приспособленчества вплоть до полной отрешенности и самоубийства". Вот и все.

Если авторский вечер проходил в современном книжном магазине Милана или альтернативном клубе Москвы, я предварял свой гамбургер небольшой изысканной закуской. Звучала она так: "Обращаясь к 'Превращению' Франца Кафки..." В результате разговор вскоре обретал кафкианский дух, "который пронизывает все повествование". К тому же в моей книге есть раздел, посвященный до сих пор живущей в Праге (тогда 84-летней) племяннице Кафки, дочери его любимой сестры Оттлы.

Когда пражские кафе имитируют кафе, в которых бывал Кафка, и выглядят так, словно он только что оттуда вышел, хотя они открылись после 2000 года, когда до́ма, в котором он родился, уже не существует, а стоящий на том же месте новодел безнаказанно его изображает, только Вера С. - не имитация. Госпожа Неимитация живет на шестом этаже дома в центре города.

Мне удалось попасть в ее прихожую в 2004 году. Она не пожелала разговаривать. (Знакомая чешская документалистка сказала мне, что Вера С. очень недоверчива.) Она никогда не давала интервью. Даже американцам не удалось купить ее откровений. Когда я стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу, и просил разрешения взять интервью, она ответила: "Пожалуйста, пришлите мне письмо и объясните, о чем вы хотели бы поговорить. Я отвечу в положенный срок".

Когда, несмотря на подобный ответ, мне удалось задать ей один вопрос ("Каково вам в XXI веке?"), она вновь ответила: "Пожалуйста, пришлите мне письмо. Я отвечу в положенный срок".

Интервью так и не состоялось. Зато у меня появился гениальный сюжет.

В результате того визита подсознательно родилась удачная формула: племянница Кафки не может быть обыкновенной женщиной, она должна быть кафкианским персонажем. Отказывая в интервью и требуя написать ей письмо, Вера С. идеально вписалась в кафковскую парадигму — тщетное ожидание.

Когда книга выходила за пределами Польши, во всех странах Вера С. неизменно служила издателям (теша мое тщеславие) небольшой жемчужинкой. В прессе подчеркивали, что "на страницах книги 'Готтленд' среди прочих появ-

ляется таинственная фигура племянницы Кафки, которую автор навещает у нее дома". Для книги о чехах и Чехословакии рассказ о живущей в Праге загадочной племяннице был бесценен (особенно, если учесть, что коммунистическая Чехословакия служила доказательством тому, что Кафка был писателем реалистическим).

Как видите, даже отказав в интервью, она преподнесла мне подарок.

Поэтому я присвоил себе Веру С. и подарил ей с полсотни фраз. Она начала функционировать (у меня в голове и в историях, которые я рассказывал на авторских встречах) как завершенный сюжет.

Со времени моего визита я из года в год поглядывал на ее дом с волнением. Иногда звонил в домофон. Никто не отвечал. Сначала, учитывая ее возраст, я думал, что пани Вера перебралась в один из домов престарелых. По прошествии нескольких лет мне показалось естественным, что она должна была скончаться. Это странным образом меня успокоило — Вера С. принадлежала теперь только мне, никто не мог ее у меня украсть. Она была пленена раз и навсегда, как насекомое в янтаре. А янтарь был мой!

Однако ни один рассказ, если он правдивый, не может быть завершенным. Даже тот, который рассказывался уже тысячу раз.

Вера С. жива и в возрасте 90 лет дала первое большое интервью. Но не мне! К тому же беседовала она, куря сигарету. (Сказала, что курит уже 81 год, то есть с девятилетнего возраста.) В Чехии это стало событием. Чешский еженедельник "Рефлекс", напечатавший интервью, начал с того, что рассказал, как мне не удалось поговорить с Верой Саудковой.

Счастливица, которой племянница Кафки дала интервью, — Гана Бенешова, автор блестящего репортажного сериала "Чешские судьбы". Гана говорит, что все получилось на удивление просто.

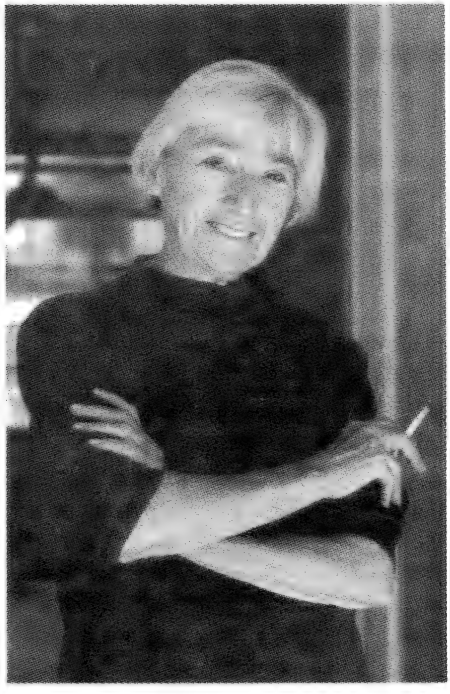
Журналистка попросила пани Веру дать ей интервью. Та отказала, как и всем остальным. Но Гана по прошествии четырех лет отправила ей письмо, где написала, о чем именно хотела бы поговорить. Через несколько дней пришел положительный ответ. Гана Бенешова, ты гигант! Ведь Вера С. недвусмысленно сказала мне: "Пожалуйста, пришлите мне письмо. Я отвечу в положенный срок".

Но Господь не подсказал: "Ицек, дай мне шанс. Купи лотерейный билет".

Гана Бенешова
Кровь Кафки: Вера Саудкова

Интервью

Перевод с чешского Полины Козеренко



Гана Бенешова. Распродажа на аукционе в середине апреля ста одиннадцати писем и открыток, которые Франц Кафка писал своей любимой сестре, вашей маме, так и не состоялась.

Вера Саудкова. Я узнала об этом через неделю после моего девяностолетнего юбилея. У меня камень с души свалился: письма не попадут в руки какого-нибудь спекулянта! Мы все чрезвычайно рады, что их купят Оксфордская библиотека и Марбахский литературный архив.

Г. Б. Часто ли мама перечитывала письма от своего старшего брата Франца?

В. С. Возможно — когда я была еще маленькой. В период протектората[1] у нее были совершенно другие заботы, нежели перебирать коробку с письмами. Мы то и дело кому-то помогали собирать вещи в концлагерь. Постоянно добывали котелки — во всей Праге они были распроданы.

Г. Б. Где до сих пор хранилась корреспонденция?

© Hana Benešová, 2011
Редакция благодарит Г. Бенешову за безвозмездное предоставление права на публикацию интервью, напечатанного в журнале "Рефлекс", 2011, № 18.
© Полина Козеренко. Перевод, 2012

1. Протекторат Богемии и Моравии — государственное образование, учрежденное указом Гитлера 15 марта 1939 г. на оккупированных территориях Богемии, Моравии и Силезии, населенных этническими чехами. Просуществовало до конца Второй мировой войны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

В. С. Сначала у мамы, а после войны большой конверт с письмами мне передал отец. Время от времени я с волнением их читала. Но я опасалась, что письма могут украсть, поэтому попросила свою двоюродную сестру Марианну поместить их на хранение в Оксфорд. Я полагала, что там они будут в безопасности. Однако библиотека со временем решила, что мы ей эти письма дарим, и не спешила их покупать. Сын вел с ними продолжительные переговоры. Я рада, что все так закончилось.

Г. Б. Сталкивались ли вы в социалистической Чехословакии с завистью: ведь ваш всемирно известный родственник пополнял семейный доход?

В. С. Кафка издавался по всему миру, но, что касалось отчислений наследникам — тут социалистическая Чехословакия показала свое истинное лицо. Через агентство по авторским правам "Дилия" мы с сестрой однажды получили 160 крон, в следующий раз 600... Мы приносили сотруднице агентства коробку конфет, подписывали документы и шли в кафе. Сложно угадать, каковы были подлинные гонорары.

Г. Б. Какая из его книг вам нравится?

В. С. Я прочитала все. Читая, всегда корю себя, что меня это мало задевает или что я вижу в книге не то, что написал Кафка. Мне неприятно, что я не понимаю его так, как должна бы. Вообще-то, я не встречала чешского читателя, который бы сбрендил от восторга на почве его произведений. Всеобщее безумие, окружающее фигуру Кафки, мне отвратительно.

Г. Б. Наверное, почитатели Кафки постоянно вас разыскивают.

В. С. На одной конференции ко мне подошел незнакомый мужчина, положил руку на плечо и, заикаясь, произнес: "Позвольте коснуться плеча, под которым течет эта кровь! Кровь Кафки!" Мне стало не по себе, и я убежала. Однажды, к примеру, некий ученый вполне серьезно спрашивал меня, не страдал ли Кафка недержанием мочи.

Г. Б. И что вы ему ответили?

В. С. "Мне это неизвестно. В нашей семье о таких вещах не говорили". Внимание кафковедов сопровождает меня всю жизнь. И поверьте — в этом нет ничего приятного. К тому же что я могу рассказать о Кафке? Ведь он умер, когда мне было три года.

Г. Б. То есть в вашей памяти совсем ничего не осталось?

В. С. Смутно припоминаю: симпатичный, доброжелательный, улыбающийся... Моя мама тоже всегда говорила о нем как о человеке добром, остроумном и веселом. Мне нра-

вилось, когда она рассказывала, как он ходил писать в домик, который она сняла на Золотой улочке. Сестры боготворили Франца. Тетя Элли мне говорила, что я похожа на дядю. "Вся во Франца, вся во Франца", — повторяла она. Мне было восемь, я стояла в ванне и меня распирало от гордости, когда я это слышала.

Г. Б. Ваша мама читала книги своего брата?

В. С. Не знаю. Мама не особенно много читала. А вот дедушка, Герман Кафка, книг сына вообще не признавал — бумагомараньем настоящему мужчине на хлеб не заработать. Когда Франц принес ему свою первую книгу, дедушка якобы сказал: "Положи на мой ночной столик". В нашей семье это была крылатая фраза. Еще одна семейная присказка гласила: "Nicht vor dem Vater — главное, не при отце". Плохие отметки, разбитое колено — всякое могло случиться, но "nicht vor dem Vater". Бабушка Юлия старалась не давать дедушке поводов для гнева. Когда она чувствовала: все идет к тому, что я собираюсь похвастаться какой-либо проказой, то незаметно подавала мне знак и шептала испытанное заклинание.

Г. Б. Ваш сын Войтех несколько лет назад заново перевел "Письмо отцу" Кафки, выбрав обращение "милый папа" вместо "дорогой отец".

В. С. Кафковеды по этому поводу страшно кипятились, хотя один выдающийся германист признал правоту Войтеха. Войтех перевел верно. Насколько я помню, в семье говорилось или "Vater", или "папа". "Отец" никто бы не сказал.

Г. Б. Отец Кафки действительно производил такое грозное впечатление, как это следует из известного письма Франца?

В. С. Я никогда не видела его в ярости, но орать он, без сомнения, умел. Однако ни разу не поднял руки на своих детей. Он обожал их и гордился ими. Все вспоминали о нем с любовью. Несколько лет назад каким-то горе-специалистам взбрело в голову, что дедушка был грубияном и скрягой. Ерунда! Если бы он хотел приспособить Франца к семейному бизнесу, то не позволил бы ему изучать право, а сразу поставил за прилавок.

Г. Б. Но строгим он все-таки был.

В. С. Мы с мамой ходили за покупками к торговцам, которые у дедушки выучились, а потом открыли собственное дело. Они рассказывали, что хозяин был строг, но справедлив. Требовал усердия и аккуратности. Когда стало ясно, что торговца из Франца не получится, дедушка продал свой галанте-

рейный магазин на Староместской площади и купил трем дочерям дом на Билковой улице в Старом городе.

Г. Б. Чем он занимался после этого?

В. С. Постоянно высчитывал, выгодно ли продал магазин и по хорошей ли цене купил дом. Дедушка толком не умел ни читать, ни писать, но был математическим гением. За обедом развлекал нас, внуков, тем, что свободно складывал в уме семь многозначных чисел. Мы старались давать ему сложные примеры, но едва успевали произнести последнюю цифру, как он уже выдавал результат.

Г. Б. Показывал ли он внукам, как в свое время детям, шрамы от обморожений?

В. С. Когда кто-то из нас ныл, что не может доесть суп, он засучивал штанину и показывал шрамы. Напоминал, что мы должны ценить все, что у нас есть. Дедушка сделал колоссальную карьеру — из коммивояжера своим трудом превратился во владельца магазина оптовой торговли. Он родился пятым ребенком в семье еврейского мясника из Большого Осека и с малых лет вынужден был помогать зарабатывать на жизнь — продавал по окрестным деревням шпильки, ленты, булавки. Ходил босиком, вот и отморозил ноги.

Г. Б. Вам нравилось навещать дедушку с бабушкой?

В. С. Очень. У них вкусно готовили, я обожала их отменные белые соусы. На праздники подавали мацу и яблочный компот. Дома у них говорили так же, как и в других пражских еврейских семьях, — по-чешски, вставляя немецкие выражения. Дедушка радовался, когда мы собирались все вместе. У него было шесть внучек — Герта, Лотти, Марианна, Ханна, Геленка и я — и один-единственный внук, Феликс. Когда у тети Элли родился Феликс, дедушка был на седьмом небе от счастья. Это было непривычно — дедушка ради семьи был готов на все, но ни с кем особо не нежничал, а наоборот, над всеми подшучивал. Дедушка умер, когда мне было десять. Бабушка — через три года. Им повезло: они умерли в своей постели. Три сестры Кафки — Элинка, Валинка и моя мама — погибли в концлагере. Нацисты убили и Феликса, и мою любимую кузину Ханну.

Г. Б. Вас и вашу сестру от концлагеря спасло то, что ваш отец был арийцем. А где ваши родители познакомились?

В. С. В Хотковых садах, в Праге. Мама ходила туда гулять с сестрами и гувернанткой. Папе она понравилась, потому что напоминала ему одну актрису. Папа изучал право, у него была императорская стипендия, а чтобы немного подзаработать, он сопровождал показы немых фильмов игрой на пианино. Когда он увидел барышню Кафкову, то подсунул ей

записку с приглашением на свидание. У мамы не было при себе карандаша, время встречи она нацарапала на бумаге булавкой. Потом разразилась Первая мировая война, папа писал с итальянского фронта любовные письма. После войны они поженились — по любви, однако брак был неудачный. Очень уж несхожие у них были характеры, да и происхождение тоже.

Г. Б. Каким был ваш отец?

В. С. Папа был патриот, сокол[1] из бедной семьи. Его отец, Антонин Давид, был церковным сторожем в храме Святого Вита. Дедушка был простым необразованным человеком. Ненавидел евреев и немцев, как и его жена — бабушка Мария. С тех пор как однажды — уже во время протектората — она погрозила пальцем и сказала: "Жиды это заслужили, они онемечились", — больше я к ним не приходила. Им, должно быть, нелегко было перенести, что единственный сын женился на еврейке. У папы был сложный характер. Он был вспыльчив и сварлив. В приступе гнева крушил все, что попадалось под руку. Краснел, на лбу набухала жила. Однажды его разозлило, что я плохо играю на пианино. Он захлопнул крышку инструмента — прямо мне по пальцам, а потом два часа рыдал и раскаивался в содеянном... Он был ужасно экономным, мама обязана была записывать каждую покупку, а папа вечером проверял, сколько потрачено. Когда я чистила картошку, он всегда заглядывал в мусорное ведро — даже заплесневелые картофелины надо было обрезать, а не выбрасывать. Папа вечно был чем-то недоволен. В семь часов вечера ходил пить пиво. Мы ждали, пока за ним закроется дверь, и с облегчением вздыхали.

Г. Б. Франц Кафка о своей младшей сестре — вашей маме — восторженно написал, что она "искренна, честна, последовательна... кротость и гордость, впечатлительность и стойкость, самоотверженность и самостоятельность, робость и смелость в равной мере".

В. С. Когда мы с сестрой были маленькими, мы думали, что 28 октября[2] флаги развеваются в честь нашей мамы, которая отмечала день рождения днем позже, чем республика. Мама у нас была замечательная. Добрая, теплая, ласковая. Ее сестры Валли и Элли были нежными созданиями, а мама — решительной и энергичной. Умела настоять на своем. На-

1. Сокол — член молодежного спортивно-патриотического объединения "Сокол", основанного в 1862 г. в Праге и продолжающего (с перерывами) функционировать до сих пор.
2. 28 октября 1918 г. — день провозглашения Чехословацкой Республики.

пример, во время Первой мировой войны убедила дедушку, что будет присматривать за имением брата ее зятя в деревне Сиржем. Подумывала, не отправиться ли в Палестину. Советовала Францу, который был вегетарианцем, чтобы тот поберег здоровье и вновь начал есть мясо, а его обязательство она возьмет на себя. И перестала есть мясо, а ей так его хотелось! Свой обет она соблюдала и после смерти Кафки. Когда мы заходили в колбасный магазин, Геленка съедала сосиску, я тоже, а мама даже не притрагивалась. Она водила к нам домой обедать бедняков с улицы, но от папы приходилось прятать их в каморку для прислуги.

Г. Б. Как вы отмечали Рождество?

В. С. Комната, в которой раздавали подарки, была два дня заперта на ключ, который папа носил с собой. Он закрывался там и наряжал елку высотой до самого потолка. Иногда за ним проскальзывал наш фокстерьер и разбивал одну из драгоценных игрушек. Ну и скандал же был! В сочельник в шесть вечера приходила моя двоюродная сестра Ханночка Германова, которая жила этажом выше, и ей вручали подарок от Иисуса[1] — как-то раз это была кукла. Она же, в свою очередь, брала меня с собой в еврейскую общину, где на Хануку раввин раздавал детям сладости. Иисусу было все равно, еврей ты или не еврей, раввин тоже не спрашивал, но для папы это имело значение. Однако Ханночка, которая была старше меня на полтора года, была моей лучшей подругой, и невозможно было мне дать подарок, а ей нет. Мою куклу звали Марушка, Ханночка дала своей имя Руженка. Моя сестра Геленка называла свою куклу Пиделия.

Г. Б. Куда вы ездили отдыхать?

В. С. Я ездила в лагеря, которые устраивала Бела Фридлендерова[2]. Мы с Геленкой ходили к ней в гостиницу "АХА" на шведскую гимнастику. Папа, сокол-инструктор, хотел, чтобы мы вступили в ряды соколов, но мама посчитала, что для девочек больше подходит гимнастика. Когда я была классе в шестом, папа купил загородный дом недалеко от Храстана-Сазаве. Я ненавидела туда ездить. Соколы, чьи летние лагеря находились там же, косо поглядывали на маму. Занятия у Белы Фридлендеровой очень мне помогли во время войны. Когда закрыли высшие учебные заведения, Бела взяла меня на работу инструктором. Вам не помешает, если я закурю?

Г. Б. Вам все еще нравится вкус сигарет?

1. В Чехии на Рождество подарки приносит младенец Иисус.
2. Бела Фридлендерова — известная спортсменка, организатор физкультурных и гимнастических курсов, в основном для девушек и женщин.

В. С. Я курю с девяти лет.

Г. Б. Не верю.

В. С. А это так. Когда мне было девять, родители решили, что могут меня послать за папиросами для папы. Он курил "египетские". Оставшуюся крону позволили взять себе. На нее я купила десяток сигарет "Зора". Закашлялась, но твердо решила, что выдержу, — хотела выглядеть так же современно, как Марлен Дитрих и Грета Гарбо. С кузиной Ханной мы ходили на их фильмы в кинотеатр "У Вейвод".

Г. Б. Дома никто не догадался?

В. С. Я курила по дороге из школы, а потом закусывала зубной пастой, которую носила в кармане. Маме не могло прийти в голову, что ее примерная Верушка покуривает. Когда во время протектората, будучи гимназисткой, на нашем газетном киоске я увидела надпись "Deutsche Frau raucht nicht" (немецкая женщина не курит), то начала курить с еще большим пылом.

Г. Б. Кем вы хотели стать?

В. С. У нас дома говорили: Верка хорошо учится, пойдет в университет, а Геленка станет хорошей домохозяйкой. А видите: я родила пятерых детей, а моя сестра стала врачом. Но, кажется, училась я и вправду хорошо, иначе моей учительнице в начальной школе на Угольном рынке не пришло бы в голову, что в реальную гимназию на Душной улице я могу пойти на год раньше — уже после четвертого класса. Однако экзамены я в итоге полностью провалила. До сих пор помню, что в предложении "Жнецы точили косы, а на лугу пели дрозды" насажала несколько грубых ошибок. Увидев это, учительница воскликнула: "Это писала не Верушка!" — и благодаря ей меня взяли в гимназию. Я думала, что в наказание, потому что ко мне там обращались на "вы" и "Давидова". По окончании я поступила на философский факультет[1] — записалась на немецкий и французский языки. Получила зачетку и была на лекции, где Вацлав Черный[2] рассказывал об Аполлинере и его пятнадцатилетней любовнице. Потом немцы закрыли университеты.

Г. Б. Девятнадцатого сентября 1941 года евреев обязали носить желтую звезду. Месяц спустя ваши тети получили повестку в лагерь.

1. В Чехии филологические науки традиционно изучаются в рамках философского факультета.
2. Вацлав Черный (1905–1987) — литературовед, писатель и переводчик. Деятель чешского антифашистского сопротивления. Противник коммунистического строя; один из подписавших "Хартию-77".

В. С. Тетя Элли и кузина Ханна с мужем уехали в гетто в Лодзь 21 октября, тетя Валли и дядя Йозеф отправились в том же направлении через десять дней. Мы помогали им собирать вещи, просидели с ними всю ночь. Вспоминали Франца, дедушку с бабушкой, уверяли друг друга, что, наверное, война скоро закончится. О том, куда они едут и что это может быть опасным, мы не говорили. Тетя Элли была бледна и плакала. Постоянно утешала себя, что с ее сыном Феликсом все в порядке, но как раз за день до отъезда ей пришла посылка. К Феликсову белью была приложена записка, сообщавшая, что он умер от тифа. Утром мы проводили их к сборному пункту у Дворца выставок. Больше мы их никогда не видели.

Г. Б. Дядя Кафки, врач Зигфрид Леви, лагерю предпочел добровольную смерть.

В. С. Зигфрид жил в нашем доме. Вечером мы с Геленкой пришли к нему и обнаружили, что он и не думал собираться. Мы ни о чем не спрашивали, а он ничего не объяснял. После полуночи мы оставили его одного. На рассвете вернулись. Он лежал на кровати, в бедре у него торчал шприц. Он еще дышал. Мы немного посидели с ним, а потом вызвали врача. Когда приехала "скорая", он уже был мертв.

Г. Б. Мама была вынуждена носить еврейскую звезду...

В. С. Она об этом не говорила. Когда я ходила на прогулку с нашим фокстерьером Белинкой, то специально надевала мамино пальто со звездой — в то время евреям уже запрещалось иметь собак.

Г. Б. Вы не боялись, что на вас донесут?

В. С. Нет. Я боялась, когда после покушения на Гейдриха[1] полиция обыскивала дом за домом. В комнате нашей горничной нашли ее любовника. К счастью, полицейские только посмеялись и пошли дальше. Даже не проверили у него документы.

Г. Б. Вы говорили, что у вас был фокстерьер.

В. С. Сначала у нас была Пегги. Для ее щенков мама подыскала хороших хозяев. Через месяц, на всякий случай, она всех их обошла и обнаружила, что с одним щенком, Белинкой, плохо обращаются. И, не раздумывая, забрала его назад. Когда Пегги умерла, сторож в парке разрешил похоронить ее в клумбе за кустами. В могилку мама положила мя-

1. Рейнхард Гейдрих (1904–1942) — государственный деятель нацистской Германии, в 1941–1942 гг. рейхспротектор Богемии и Моравии. 27 мая 1942 г. был убит в результате покушения, спланированного чехословацким правительством в изгнании при участии Великобритании.

чик. У моей мамы нет могилы. Она погибла в Освенциме. Я все думаю, каково это — задохнуться в газовой камере. Так умерла моя мама. Но никто не может мне на это ответить.

Г. Б. Не думайте об этом.

В. С. В Либоце[1], где мы в конце пятидесятых купили домик, кухню осаждали тучи муравьев. Я купила ДДТ, средство для уничтожения насекомых, и обрызгала их. Они начали падать замертво — один за другим. Больше я никогда так не делала.

Г. Б. Упрекали ли вы отца, что, если бы он не развелся, то смог бы спасти жену?

В. С. Когда закончилась война, я каждый день ходила на Центральный вокзал и среди убогих, плешивых нищих искала маму. Думала, может, она забыла, как ее зовут и где она живет. Геленка искала ее рядом с домом... Позже я несколько раз набрасывалась на отца с упреками, что он виноват в маминой смерти. Он плакал.

Г. Б. Вы помирились?

В. С. Ну да. Со временем. Уже когда у меня родились дети. Папа любил ходить к нам в гости, он был счастлив, что у него много внуков, и ценил моего мужа.

Г. Б. Кому из ваших родителей принадлежала идея развестись?

В. С. Я уверена, что маме. Она знала, как сильно папа дорожит своим местом на службе. Он добился его потом и кровью. Даже в зрелые годы кричал во сне: ему снилось, что он провалил экзамен. Сначала родители не сказали нам о разводе. Мама осталась дома, но, когда звонили в дверь, пряталась за шкаф. Правда, кусочек платья все равно торчал. Папа формально снял для себя комнату на нашей улице. В августе 42-го мама получила повестку в лагерь. Папа уверял нас: "Мама вернется..." Как сейчас вижу его вечером накануне маминого отъезда стоящим на балконе и старательно чистящим мамины кожаные сапожки. Это было, как бы лучше сказать... негероично. Утром мы с Геленкой проводили маму к пункту сбора и к папе больше не вернулись. Стали жить у одного знакомого, но Геленка была несовершеннолетней, поэтому ее папа отсудил.

Г. Б. Вы получили от мамы из Терезина[2] хоть какую-нибудь весточку?

1. Либоц — район на северо-западе Праги.
2. Терезин — городок в северной Чехии, где во время Второй мировой войны нацисты основали гетто для временного содержания евреев, которых впоследствии отправляли в Аушвиц и другие лагеря смерти.

В. С. Один молодой жандарм приносил нам мамины письма. Мы предлагали ему вознаграждение, но он ничего не брал, только однажды попросил черствого хлеба. Мама писала, что у нее все хорошо, что погода хорошая. Пыталась нас убедить, что ни в чем не испытывает недостатка. В каждом письме писала: "Передавайте привет вашей подружке Уа-уа". Это было прозвище папы, который, когда мы были маленькими, играл с нами в индейцев. Для мамы было крайне важно, чтобы мы ни в чем его не укоряли, чтобы у него не было чувства вины. В последнем письме она пишет, что уезжает — записалась санитаркой к детям из Белостока. Немцы якобы собирались обменять детей, но сделка не состоялась. Санитарки и тысяча двести их подопечных были отправлены на смерть.

Г. Б. Со временем вы вышли замуж за мужчину, который во время войны предоставил вам убежище.

В. С. Мой первый муж, Карел Пройса, говорил, что был знаком с Кафкой. Когда он узнал, что мои родители развелись, то хотел жениться на сестре Франца — моей маме, чтобы ее спасти. Но это уже было невозможно. В итоге он женился на мне. Никакой любовью тут не пахло — казалось странным, что мы живем вместе, не расписавшись. Актер Театра на Виноградах, коллаборант Владимир Майер, рисовал мелом на наших дверях еврейскую звезду. Это он еще не подозревал, что в нашей виноградской квартире в доме номер 5 по Коронной улице мы прячем мужниного друга, писателя Иржи Вейля[1]. Вейль пришел к нам, после того как инсценировал самоубийство — на берегу Влтавы он оставил пальто и прощальное письмо.

Г. Б. Был ли автор романа "Жизнь со звездой" благодарен вам за то, как вы ради него рисковали?

В. С. Не особенно. Считал это само собой разумеющимся. Он не очень-то с нами считался, это было трудное сосуществование. К тому же после февральской бомбардировки Праги[2] к нам постоянно ходили проверять устойчивость дома, было страшно. Тогда я уже не преподавала у Белы, а бы-

1. Иржи Вейль (1900—1959) — чешский журналист и писатель еврейского происхождения, поборник "литературы факта". Автор романов "Москва — граница" (1937), в котором отражена атмосфера подозрительности и шпиономании в Москве того времени, и "Жизнь со звездой" (1949) — во многом автобиографического повествования о судьбе еврея, ожидающего отправки в лагерь смерти.

2. Бомбардировка оккупированной Праги 14 февраля 1945 г. ВВС США. Впоследствии руководство ВВС утверждало, что произошла ошибка: самолеты, летевшие бомбить Дрезден, сбились с курса.

ла вынуждена работать в фермерском хозяйстве в районе Юлиска. Нас было одиннадцать девчонок, все полукровки. Старшей была актриса Люба Германова. С Любой в начале майского восстания[1] мы пошли к зданию радио, но, услышав выстрелы, вернулись на Юлиску. И увидели латышей, которые нас караулили. Они висели на дереве.

Г. Б. Почему после войны вы не пошли учиться?

В. С. Мне было двадцать четыре года, и я собиралась разорвать брак, заключенный, чтобы избежать опасности. Об учебе и не думала, мне нужна была работа. Я получила место секретарши в Синдикате чешских писателей. Взвешивала кофе. УННРА[2] присылала писателям посылки с кофе, а в Синдикате его делили согласно внутренней иерархии: этому 100 граммов, тому 150. Больше всего кофе получал Незвал[3]. В Синдикате я познакомилась со своим вторым мужем, переводчиком Эриком Адольфом Саудеком, в то время театральным обозревателем газеты "Лидове новины". Он пригласил меня на премьеру мюзикла "Радуга Финиана", где играл знаменитый Ян Верих[4]. Публика безумствовала, стоило ему выйти на сцену. Я вспомнила, как наша горничная рыдала, когда в "Журнале для женщин и девушек" прочитала, что режиссер Восковец женился. Она учила нас с Геленкой песенкам из этого мюзикла, взяв слово, что мы никогда не будем петь при родителях песню "Жизнь — всего лишь случайность" из-за ее неприличного содержания. Дело в том, что слова "один раз ты внизу, а другой — наверху" она поняла по-своему.

Г. Б. Когда вы познакомились с супругом, он был еще женат.

В. С. Эрик был на семнадцать лет старше меня, а его жена, актриса Национального театра Ева Врхлицкая, — в свою очередь, на шестнадцать лет старше его. Брак с Евой спас его от отправки в лагерь. Я очень уважала ее за то, как она

1. Пражское восстание (5–8 мая 1945 г.) против немецких оккупантов и коллаборационистского правительства.
2. Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации. Создана в 1943 г. для оказания помощи в районах, освобожденных от оккупантов; в Европе просуществовала до конца июня 1947 г.
3. Витезслав Незвал (1900–1958) — поэт, писатель, драматург. Один из основателей чешского поэтизма и сюрреализма. После Второй мировой войны писал также в духе соцреализма.
4. Ян Верих (1905–1980) — актер театра и кино, писатель. Представитель чешского межвоенного театрального авангарда. Часто выступал в дуэте с актером и режиссером Иржи Восковцем (1905–1981, наст. фамилия Вахсман) в Освобожденном театре, закрытом в 1938 г. за антифашистские постановки.

поддерживала его во время войны, и не хотела стать причиной распада брака, хотя и формального, но все же расстаться с Эриком была не в состоянии. Ева вела себя очень тактично, ни разу ни в чем меня не упрекнула.

Г. Б. Со своим вторым мужем и детьми вы несколько лет прожили в писательском замке.

В. С. Сначала мы жили на съемных квартирах. Когда перед рождением третьего ребенка, наконец, поженились, то переселились в замок Добржиш[1]. Я с детьми жила в одной комнате, у Эрика был свой кабинет на другом этаже замка. Я не была важной барыней, быстро подружилась с кухарками и горничными. Каждый вечер в шесть часов могла прийти на кухню, чтобы сварить манную кашу.

Г. Б. Какими были взаимоотношения между писателями в Добржишском замке?

В. С. Все были членами партии и, думаю, в основном хорошо относились друг к другу. Многие выпивали. Ян Дрда[2] охотно развлекал все общество, с удовольствием играл на гитаре. Он страдал, что превратился в объект насмешек. Я знала его еще по Синдикату писателей. Когда он получил пост главного редактора газеты "Лидове новины", предложил мне место редактора в отделе культуры. Однажды я ехала с ним в машине. На Вацлавской площади загорелся красный. Несколько прохожих грязно обругали Дрду. Он чуть не расплакался. Когда ему нужно было идти и с деланой радостью встречать какую-либо делегацию, он всегда напивался. В замке было прекрасно, но оставаться там вечно мы не могли. После того как мой муж получил за переводы Шекспира государственный орден второй степени, мы по дешевке купили дом в Либоце и сделали там дорогой ремонт.

Г. Б. Ваш муж перевел практически всего Шекспира. Наверное, он постоянно был в работе.

В. С. Сначала Эрик был завлитом Национального театра. Его поздние возвращения со спектаклей я переносила с трудом. Поэтому он решил, что займется исключительно переводами. Не раз случалось, что в два часа ночи он вставал, записывал какую-то мысль, а потом утром этого не помнил. Мы были вместе на премьере "Венецианского купца". Эрик изрядно попотел, переводя длинный монолог Шейлока о тяжкой еврейской доле, и ему было любопытно, как это сыг-

1. Замок в стиле рококо в 40 км к югу от Праги. С 1945 г. использовался как Дом писателей.
2. Ян Дрда (1915–1970) – репортер, прозаик, драматург, в 1948–1952 гг. главный редактор крупнейшей газеты "Лидове новины".

рает Зденек Штепанек[1]. Однако актер весь монолог выбросил, схватился за голову и принялся восклицать "ай-ай-ай". Так он причитал несколько минут. Эрик побледнел — он решил, что спектакль провалился. Но... Штепанек был встречен овацией! Мы потом издевались над Эриком — нельзя требовать от пожилого актера, чтобы тот заучивал такие длинные тексты.

Г. Б. Было ли у него время читать что-то, кроме того, что он переводил?

В. С. Он постоянно перечитывал "Сказки тысячи и одной ночи" по-немецки. Книга вся истрепалась. Как сейчас вижу его за ее чтением. Я вышла замуж за любимого человека и прожила с ним хорошую жизнь. У нас родилось пятеро детей: Владимир, Войтех, Аничка, Йозифек и Франтишек. Йозифек умер от лейкемии, когда ему было пять лет. Я еще повела его записываться в школу, чтобы он порадовался. Мой муж трагически погиб в 63-м году во время отпуска в Болгарии. Утонул. Наши старшие дети это видели. Все приплыли к скале, немного позагорали. Посмотрели на заход солнца. И Эрик якобы произнес: "Боже, боже, какая красота". Потом все прыгнули в воду, и он сказал детям, чтобы они плыли вперед. Я была на пляже с младшим, восьмилетним Франтишеком. Вдруг на берегу началась суматоха. Какие-то болгарки подбежали ко мне и начали, рыдая, обнимать. В Прагу я вернулась одна с детьми. Каждое утро ходила на вокзал узнавать, привез ли поезд из Софии гроб. Железнодорожники шутили: "Из Софии никого, а вот из Подмоклов нам привезли какого-то лесника, не угодно ли?"

Г. Б. Человеческое бездушие не имеет предела.

В. С. Когда я овдовела, мне было сорок два года, у меня на руках было четверо детей, а еще у нас — после трагических событий в своей семье — жила подруга дочери Анички. К тому же был еще наш дом в Либоце. Вскоре вокруг вдовы с домом начали околачиваться "друзья", которые предпочитали выпивать, а не писать. Это было невыносимо.

Г. Б. Вам помогло тогда, что вы — племянница Кафки?

В. С. Мне нужно было найти хорошее место. Я позвонила Иржи Гаеку[2], работавшему тогда в издательстве "Свобода", и спросила, не взяли бы они меня. Он ответил, что постарает-

1. Зденек Штепанек (1896—1968) — один из самых выдающихся чешских актеров театра и кино, драматург, режиссер, сценарист. Многолетний член труппы Национального театра.
2. Иржи Гаек (1919—1994) — литературный и театральный критик, историк.

ся узнать. На следующий день позвонил мне: похоже, племянницу Кафки хотят все.

Г. Б. Почему вы не назвали свою дочь Оттилия?

В. С. Я думала об этом. Маму все называли Оттла. А вдруг бы мою девочку одноклассники и друзья дразнили Отилькой[1]? Маму я вспоминаю каждый день. Мне жаль, что мои дети ее не знали. Она была доброй, самоотверженной. Когда к нам в дом, который мы сняли в Плане, на каникулы приехал Франц, мама выделила ему лучшую комнату, а со мной переехала в кухню. Ее сестры и их мужья над ней подтрунивали, мол, мама ведет себя странно. Дядя Поллак любил рассказывать, как однажды вечером он встретил факельное шествие — свояченицу Оттлу с детьми. Мама не успела погулять с нами днем и поэтому вышла вечером, прикрепив к коляске бумажный фонарик.

1. От чешского слова “otylý” — толстый, жирный.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио "Свобода"

Steven Pinker *The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined.* — Viking, 2011

Стивен Пинкер — профессор психологии Гарварда — так назвал свою книгу: "Лучшие стороны нашей натуры. О причинах спада уровня насилия". В 700-страничном труде он берется ответить на вечные (и вечно спорные) вопросы: добр ли человек по своей природе или зло заложено в его натуре? Что демонстрируют века человеческой истории: нравственный прогресс или нравственный упадок? Есть ли причины для оптимизма при взгляде в будущее? Пинкер отвечает однозначно:

Постепенный спад уровня насилия — может быть, самое значительное и при этом самое недооцененное и даже малозамеченное изменение в истории человеческого существа.

Истории человечества по нынешним представлениям — двести тысячелетий, и бóльшая часть этих тысячелетий не документирована. Лет двадцать назад появилась отрасль археологии, которую прозвали atrociology (от английского atrocity — жестокость, зверство), — то есть археология, специализирующаяся на изучении истории насилия. Пользуясь результатами этих исследований, профессор Пинкер делает такие выводы:

Есть убедительные исследования 90-х годов: индейских захоронений в Колорадо и Массачусетсе (существовавших до появления Колумба); доисторических захоронений в Британской Колумбии и в Швеции, а также архивных документов XIV века о статистике убийств в Лондоне и Оксфорде, XV века — в Амстердаме и XVI века — в Риме. Из этих исследований ясно, что в доисторических поселениях от половины до двух третей жителей погибало насильственной смертью. Для европейских городов статистика составлялась из расчета на каждые 100 000 населения (хотя их население было тогда гораздо меньше). Выходило, что в XIV, XV веках в Лондоне жертвами насилия становилось 55 человек на каждые 100 000 населения. В Оксфорде — 100, в Амстердаме — 50, в Риме — между 30 и 70-ю. Сейчас ежегодная статистика убийств в Риме — 1 человек на каждые 100 000 населения, в Лондоне — 2 человека, в Осло — тоже 2 (и даже после теракта Брейвика на острове Утейя это добавит не более 16 человек на 100 000).

"Сейчас в Европе, — пишет Пинкер, — ваш шанс быть убитым в 10, в 20, а то и в 50 раз ниже, чем 500 лет назад". Одна из умиротворяющих сил истории — возникновение государств. "Государство, — пишет он, — препятствует 'войне всех против всех' и реже применяет силу, чем традиционные племена и банды". Автор согласен с философом Томасом Гоббсом, писавшим: "Даже плохое правительство лучше, чем отсутствие правительства". (Правда, Гоббс умер за два с половиной века до Сталина и Гитлера. Но он не мог не знать о Нероне, Атилле, Чингис-хане и Иване Грозном).

Опираясь на книгу немецкого историка и культуролога Норберта Элиаса "О процессе цивилизации", Пинкер утверждает, что новые нормы общежития, установленные государствами, постепенно изменили саму человеческую психологию, которая стала учитывать интересы и нужды других людей.

Распространение грамотности, по Пинкеру, сыграло важную роль в процессе цивилизации, потому что чтение, как, между прочим, говорил и Бродский в своей Нобелевской лекции, расширило "сферу сочувствия". Сделала доброе дело и коммерция, требуя терпимости и "обращая врагов в покупателей".

Рецензент журнала "Нью-Йоркер" Элизабет Колберт заметила, что Пинкер сосредотачивает свое внимание исключительно на Западной Европе:

> В книге "Лучшие стороны нашей натуры" мало материалов об Африке, Азии или Южной Америке. Что касается Соед. Штатов, то здесь, если верить Пинкеру, уровень насилия в несколько раз выше, чем в Западной Европе, а в некоторых частях страны приближается к средневековому. Статистика убийств прошлого года в Новом Орлеане — 49 человек на каждые 100 000 (почти как в Амстердаме 600 лет назад). В Детройте и Сент-Луисе 2010 года — 40 человек — сравнимо с Лондоном XV века. (И это — заметное улучшение, поскольку в 80-х годах рэйтинг Детройта достигал 60-ти человек на 100 000.)[1]

Рецензент Колберт замечает, что автор, восхваляя Европу, совершенно не отвел в книге места кровавым моментам колониальной истории:

> Дело не только в масштабах кровопролитий, — пишет она, — но и в стирании различий между цивилизованными народами и дикими. Испанцы, научившиеся в XVI веке правилам гигиены, устраивали резню за резней на двух континентах. Британцы, отказавшиеся от зверских казней, торговали рабами, равно как и португальцы, голландцы и генуэзцы. А если говорить о процессе умиротворения человечества, то особенно сомнителен XX век, когда мировые войны унесли: Первая — 15, а Вторая — 50 миллионов жизней.

Профессор Пинкер тоже не проходит мимо этого феномена:

1. Здесь и дальше — Elizabeth Kolbert. Peace in Our Time // New Yorker, Oct. 3, 2011.

На первый взгляд кажется, что пример XX века делает нелепыми рассуждения о процессе спада уровня насилия. Но всё познается в сравнении. Битва на Сомме, оккупация Польши, блокада Ленинграда, Сталинградская битва и битва в Арденнах — нам, жившим в это время, кажутся ни с чем не сравнимыми по ожесточенности и потерям. Но вспомните другие, полузабытые кровопролития: падение Рима, набеги Тамерлана. Только монгольское нашествие унесло в XIII веке 40 млн жизней — в мире, чье население составляло лишь одну седьмую нынешнего.

"Математика Пинкера неубедительна. — возражает Колберт. — Монголы завоёвывали мир в течение века. Арабская торговля рабами разворачивалась два века. А Вторая мировая война шла всего шесть лет".

Одной из умиротворяющих исторических тенденций Пинкер считает тенденцию к осмыслению происходящего. "Обдумывание, — пишет он, — приглушает голос крови, смиряет бешеные порывы к насилию и заставляет нас обращаться с людьми так, как мы хотели бы, чтобы они обращались с нами". В качестве обнадеживающего примера Пинкер приводит мирное разрешение Карибского кризиса 1962 года. Но рецензент Колберт немедленно находит другие примеры:

> Вместе со смертоносным оружием наше время принесло и смертоносные идеи. Коммунизм и фашизм — изобретения не менее современные, чем права женщин и Евросоюз. Если прибавить к потерям в войнах жертвы режимов Сталина, Гитлера и Мао, то число людей, погибших насильственной смертью в середине XX века, перевалит за сто миллионов. А Пол Пот — создатель "полей смерти" — изучал марксизм в Сорбонне".

"Стивен Пинкер в своей книге убедительно доказал, что насилие идет на спад, — пишет принстонский профессор Питер Зингер в статье "Ушло ли насилие в прошлое". — В том же, что касается будущего, Пинкер, несмотря на свой оптимизм, не видит никаких гарантий, особенно во времена ядерного терроризма, глобального потепления и столкновения христианской и исламской цивилизаций"[1].

Словом, если в недалеком будущем разгорится Третья мировая война или террористы доберутся до ядерного оружия, вы сможете утешить себя тем, что в течение всей предыдущей истории происходил стабильный спад насилия. Но боюсь, что закрыв книгу "Лучшие стороны нашей натуры", вы останетесь при тех же сомнениях, какие испытывали перед тем, как ее открыть.

Evelyn Juers *House of Exile. The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroger-Mann.* — Farrar, Straus & Giroux, 2011, 384 p.

Историк литературы Эвелин Джуерс дала книге о Маннах

1. Peter Singer. Is Violence History? // New York Times, Oct. 6, 2011.

название с явным намеком на монарший статус своих героев: "Династия ссыльных. Жизнь и времена Генриха Манна и Нелли Крёгер-Манн". В соответствии с названием книга превратилась из жизнеописания одного писателя — Генриха Манна — в мозаичный портрет целого поколения и той эпохи, к которой как нельзя лучше подходит китайское выражение "Не дай вам Бог жить в интересные времена". Рецензент книги критик Джон Саймон пишет о ней в "Нью-Йорк-таймс":

Книга о Генрихе Манне постепенно наполняется бесконечной чередой беглецов от нацизма — перемещенных лиц, потерявших родину, язык, а часто и свое место в искусстве. Среди персонажей: Бертольт Брехт, Герман Брох, Франц Верфель, Стефан Цвейг, Уолтер Бенджамен, Джозеф Рот, Лион Фейхтвангер, Якоб Вассерман, юморист Альфред Полгар, коллажист Курт Швиттерс и многие, многие другие, очень и не очень знаменитые.

И рецензент Саймон явно шокирован тем, что автор книги уже в названии приобщила к этой царственной "династии ссыльных" сомнительную фигуру Нелли Крёгер, второй жены Генриха Манна, к которой его знаменитый брат Томас Манн никогда не обращался по имени, а за глаза называл не иначе, как "эта ужасная потаскуха".

В начале 30-х годов в Германии шестидесятилетний Генрих Манн был уже известным писателем, братом еще более известного писателя и президентом литературной секции Прусской академии искусств. Он был автором нескольких популярнейших книг, в том числе трилогии "Империя" и романа "Учитель Гнус, или Конец одного тирана" (по которому в 1932 году был снят фильм "Голубой ангел" с Марлен Дитрих). Критики называли Генриха Манна наследником Флобера. Он был одним из самых ярких представителей берлинской элиты — антифашистом, социалистом и в свои 60 лет плейбоем. И однажды в ночном клубе его проводила к столику так называемая animirdame — молодая женщина, в чьи обязанности входило вдохновлять посетителей на избыточную выпивку. Ее звали Нэлли Крёгер.

Дочь прислуги из рыбацкой деревушки в Шлезвиг-Гольштинии (и неизвестного отца), Нелли росла в бедности, работала прачкой, недолго побыла в модистках и, наконец, поступила в ночной клуб, где и встретила Генриха Манна. Вообще-то ее звали Эмми, но имя Нелли казалось ей более изысканным.

В отличие от некоторых своих и манновских современников, биограф Эвелин Джуерс считает, что проституткой Нелли никогда не была и что Томас Манн называл ее потаскухой только из неприязни. Общий друг братьев Манн, писатель Алфред Канторович, набросал более полный портрет Нелли:

...Занятная, возбуждающе привлекательная женщина необычайной живости и полного неведения о правилах светской сдер-

жанности. Она была родом из прибалтийской деревушки, имела пристрастие к выпивке и сквернословила, как матрос. И я был заворожен любовными отношениями между стареющим знаменитым писателем и этой молодой, красивой, но неотесанной женщиной. Она и вправду стала его "Голубым ангелом".

С первых дней зарождения фашизма Генрих Манн постоянно и публично демонстрировал отвращение к этому идеологическому направлению (в отличие от Томаса, который долго отмалчивался). Но, как и следовало ожидать, оба они попали в черные списки, и в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером, их книги были запрещены. Генрих Манн работал тогда над замечательной исторической эпопеей о французском короле Генрихе IV, точнее, над ее первой частью — "Юность короля Генриха IV". Он уехал во Францию собирать материал *за день* до того, как пришли штурмовики с ордером на его арест. Нелли еще оставалась в Германии — доделывать хозяйственные дела, и все беды обрушились на нее и на прежнюю семью Генриха. Его первая жена — Мария Канова-Манн — попала в концлагерь Терезианшдадт. (Забегая вперед, надо сказать, что она выжила там, но умерла через год после освобождения, в 1946 году). Нелли в лагерь не попала, но ее не раз подвергали аресту и подолгу держали в тюрьме, прежде чем выпустить из страны. В книге 1945 года "Возвращение в эпоху" Генрих Манн написал, что в его жизни были два счастливейших момента: когда у него родилась дочь и когда Нелли вырвалась из Германии во Францию, чтобы разделить с ним ссылку. В 1939 году Генрих и Нелли Манн бежали из Франции через Испанию — в Америку.

Мало кто из известных писателей в эмиграции так потерял в статусе, как Генрих Манн. Один из самых популярных романистов Германии, в Америке он был смутно известен как человек, причастный к фильму "Голубой ангел". Друзья устроили его в Голливуд сценаристом, но он потерпел сокрушительную неудачу на этом поприще. Нелли убирала чужие дома, Томас Манн подкидывал денег, но все равно им не хватало на самое необходимое. Генрих абсолютно пал духом. Эвелин Джуерс пишет:

> Тот, кому пришлось разделить с Генрихом Манном жизнь в иммиграции, должен был обладать огромным запасом любви — и нежной эмоциональной, и глубокой духовной.

Но Нелли не была ни однолюбом, ни стоиком. Уже во Франции у нее начались загулы, запои и даже была одна попытка самоубийства.

Безопасная и безразличная Америка стала для Нелли безвоздушным пространством. Клан Маннов и в Германии ее не признавал, а в Америке, лишившись своей семьи и своего круга, она и вовсе стала изгоем — Томас Манн не смягчился к ней даже после испытаний, пережитых ею в Германии.

Временами Нелли отказывалась выполнять работы, которые казались ей унизительными. Она бросала вызов судьбе: гоняла в пьяном виде по Лос-Анджелесу на машине (которую у них должны были вот-вот отобрать за неуплату) и несколько раз попадала в полицию. Жизнь осложнялась пристальным вниманием агентов ФБР, которые просматривали почту Генриха Манна и вообще следили за ним, подозревая в сочувствии коммунистам.

Подруга Нелли актриса Салка Вертель писала о ней в воспоминаниях:

Она боялась полиции. Живя с семидесятилетним Генрихом, она, сорокалетняя, боялась старости. Она боялась английского языка, который не могла освоить, и алкоголизма, с которым безуспешно сражалась. После очередного конфликта с полицией ее вызвали в суд, и в панике она выпила снотворное".

"Генрих сидел один, — пишет Джуерс, — не зажигая света, и ждал возвращения своего "Голубого ангела". Зазвонил телефон. Он схватил трубку, и чужой голос сказал ему, что Нелли умерла".

Это был декабрь 1944 года. Через 5 лет Генрих Манн принял предложение правительства Восточной Германии вернуться на родину и занять свой прежний пост в Прусской академии искусств.

Нетрудно представить, что ждало гуманиста, пацифиста и интеллектуала Генриха Манна в коммунистической Восточной Германии 1950 года, но он снова спасся в последний момент — умер за день до отъезда.

Среди книг

с Ю. Л. Оболенской

Испанские силуэты и краски в русском поэтическом пейзаже XX века

Испанские мотивы в русской поэзии XX века / Сост. и автор предисловия Т. В. Балашова. — М.: Центр книги Рудомино. 2011. — 527 с.

Так счастливо сложились обстоятельства, что празднование года Испании в России позволило составителю антологии "Испанские мотивы в русской поэзии XX века" Татьяне Балашовой опубликовать уникальную по содержанию и великолепно оформленную книгу[1]. Книгу, которая позволяет проследить, как осмыслялся и осваивался в России исторический, культурный и духовный опыт не только Испании, но и стран-посредниц почти четырехсотлетнего знакомства наших национальных культур и реконструировать по поэтическим репликам — монологам поэтов — развивающийся в XX веке диалог русской и испанской культуры. В Антологии поражает не только широта материала — это произведения более 100 поэтов России и русского зарубежья, но и попытка автора осмыслить роль и место "испанской темы" в русской поэзии прошлого века. Этой задаче в издании подчинено все: и кропотливый отбор обширнейшего корпуса текстов, и эмоциональная, но при этом научно аргументированная вступительная статья Т. В. Балашовой, и содержательные комментарии, представляющие особый интерес и ценность для читателей и специалистов[1]. Эти комментарии не только отражают глубокое знание и понимание русской поэзии, испанских реалий, как духовной, так и материальной жизни, но и содержат *ключи* к расшифровке подтекста представленного в антологии произведения и дают возможность увидеть его в контексте эпохи и узнать обстоятельства создания.

Собранные в антологии стихи — это не просто калейдоскоп испанских тем и сюжетов: страсть, восторг, боль и драматизм повествования четырех поколений поэтов позволяют нам понять ту роль, которую в XX веке играла Испания — реальная или воображаемая — в

© Ю. Л. Оболенская, 2012

1. Это издание осуществлено Всероссийской Государственной библиотекой иностранной литературы им. Рудомино при финансовой поддержке Института Сервантеса в Москве.

1. Так, подлинные исследовательские находки читатели обнаружат в комментариях Т. Балашовой к стихотворениям А. Блока, М. Волошина и С. Маковского.

духовной жизни нашей страны. В жизни людей, порой весьма далеких от испанской литературы и культуры, и знакомых лишь с именами и разрозненными сведениями, стереотипными представлениями, чужими впечатлениями и оценками. Оказалось, что отчетливо звучащие в представленных стихах русские темы XX века пронизаны испанскими нотами.

Во второй половине прошлого века на улице можно было попросить любого прохожего назвать имена испанского писателя и поэта, причем 95 % опрошенных ответили бы без запинки — Сервантес и Лорка. И у каждого первое имя вызвало бы светлую грусть об идеалисте-мечтателе в тазике для бритья и щемящую горечь об убитом Поэте. Антология позволяет лучше понять не только "нашу Испанию", но и нас самих и время, пережитое страной. Русские поэты не просто примеряют роли Дон Кихота или Кармен на себя самих или своих героев, они убеждают нас в *присущем* им донкихотстве, либо вольнолюбивости севильянки. "Задумал силой меряться / не с кем-нибудь — с судьбой / как Дон-Кихот и мельница / воюю сам с собой" — пишет Ю. Левитанский в 1981году. А у Т. Смертиной в "Деревенской Кармен" (1987) вятская обладательница "самых черных в мире глаз" сама режет без ножа: "Буйной юбкой промелькнув, / Бровью мир перечеркнув, / Брызнув локонами с плеч — / Не перечь".

Возникает вопрос: а откуда и давно ли появились у русских не только "испанская грусть", как у того хлопца из "Гренады" М. Светлова, но и донкихотство и любовь-свобода, не терпящая никаких оков?

Когда мы говорим о диалоге культур (а выражение это стало клише, ритуальной формой, характеризующей любой культурный контакт), мы забываем о том, что этот диалог происходит не в некоем виртуальном абстрактном пространстве культурного контакта, а в индивидуальном сознании — в головах и душах людей, воспринимающих конкретный текст культуры. Отмечу, что "изнутри" определенной модели культуры и "снаружи" (иностранцами) любой текст культуры, причем не обязательно вербальный — литературное произведение, — но и музыка, живописное полотно, танец, праздник, действо под названием "коррида", естественно воспринимается по-разному. Странным и достойным особого внимания обычно кажется иностранцам (в данном случае нам, русским) — сама норма жизни, обыденное, а эксцесс — воспринимается как должное, "правильное", присущее данной культуре в целом. Невладение сложнейшей многозначностью испанской культуры еще долго будет приводить нас к прямолинейному восприятию, упрощенной или негативно окрашенной интерпретации любого факта испанской культуры, например, ритуалов, связанных со Страстной неделей или карнавала, корриды и т. п. Тем более это касается сложного соотношения уровней структуры произведения искусства и сложности интерпретации его смыслов. Вместе с тем мысль

М. М. Бахтина о "сотворчестве понимающих", о понимании как превращении чужого в "свое-чужое" как нельзя полнее отразилась в освоении испанской культурной традиции в России. Поэзия всегда воплощает индивидуальный духовный опыт творца, но одновременно и коллективный опыт — поколения, эпохи и опыт нации, национальной традиции. В стихах антологии мы видим, как менялся этот опыт на протяжении самого драматичного для нашей страны и для Испании века, как по-разному осваивался предлагаемый испанской традицией опыт нашими русскими поэтами разных школ и направлений в начале века (символистами, футуристами, акмеистами и т. д.), после революции, после Второй мировой войны, в 60-70-годы и новым поколением поэтов конца XX века. Каждое новое поколение поэтов, начиная с поэтов Серебряного века, ищет среди знаковых фигур испанской истории и культуры духовные авторитеты и созвучные их мировосприятию идеи: так, символистами были востребованы драмы Кальдерона и поэзия испанских мистиков — Св. Тересы Авильской и Св. Хуана де ла Крус, для футуристов, как и многих из поэтов 20-х годов, особое значение приобретает личность Христофора Колумба. К середине века воплощенные в этих фигурах идеи и идеалы утрачивают свою актуальность, их вытесняют Гойя, Дали, Лорка.

Индивидуальный опыт поэта во многом опирается на русскую традицию XIX века и сложившиеся уже тогда основные мифологемы, отражающие архетипы образов испанского "происхождения", а скорее *комплекс нарицательности*, приобретенный именами таких персонажей, как Дон Кихот, Дон Жуан или Кармен. Исследований на тему влияния образов Дон Кихота и Дон Жуана на духовную жизнь России XIX века написано довольно много, однако, на мой взгляд, в них не делается акцент на то, что испанские корни этих двух образов на русской почве *прорастают* по-разному. К. Бальмонт очень точно отметил общеевропейскую востребованность этих образов: "Кроме внешних монархий существуют внутренние. Мы, европейцы, не можем прожить и нескольких часов без того, чтобы не сказать Дон Кихот и Дон Жуан". Но, в отличие от "русского" Дон Кихота "русский" Дон Жуан имел несколько прототипов — в трактовках Мольера, Байрона, Моцарта и Гофмана, — причем в представленных в Антологии стихах можно найти влияние на русских поэтов каждого из этих европейских *родителей* ветреника-испанца.

При этом важно то, что, начиная с А. С. Пушкина, почти каждый русский поэт становится сотворцом мифологем Дон Кихота, Дон Жуана и Кармен, дополняет их своим опытом, отталкиваясь от отечественной и мировой культурной традиции, и расшифровывает испанские коды по-своему. В знаковых фигурах, среди которых перечисленные литературные персонажи, и выдающиеся испанцы — М. де Сервантес, Ф. Гарсиа Лорка, Х. Колумб,

Ф. Гойя, — русских поэтов XX века привлекает динамизм, внутренняя свобода, деятельное служение Добру, противостояние трагической судьбе.

Ироничность повествования о давно известных и почитаемых героях и иронические стихи о серенадах, любвеобильных донах и доньях (от залихватских комических стихов Н. Агнивцева до горькой иронии Д. Самойлова и И. Бродского) — это реакция отторжения общепринятых в XIX веке романтических представлений об Испании, а также шаблонных, набивших оскомину однозначных трактовок образов и вместе с тем — отражение горького опыта века XX.

На первый взгляд, большинство стихов посвящены стандартному набору перечисленных в путеводителях объектов и имен, среди которых города Толедо, Севилья, Мадрид, Барселона, памятники архитектуры, художники Веласкес, Гойя, Эль Греко, Мурильо, Дали, Пикассо, литературные персонажи Дон Кихот, Дон Жуан, Кармен, Дульсинея, экзотичные пейзажи, обычаи, испанские реалии, среди которых, в первую очередь конечно, фламенко и коррида. Потом обнаруживаешь много стихов о Федерико Гарсиа Лорке, об испанской Гражданской войне 1936—1939 годов, о донье Анне, о командоре, о Санчо Пансе; об актерах, исполнявших испанцев, и русских поэтах, писавших об Испании. Да и сами испанцы оказываются органично *вписанными* в русские обстоятельства.

Знаковые фигуры испанской культуры и факты их биографии в стихах поэтов XX века превращаются в биографии самих поэтов или России. Так Гойя у А. Вознесенского говорит о себе: "Я — Гойя! / ... Я — горе. / Я — голос / войны, городов головни / на снегу сорок первого года. / Я — голод..." Картины "черного Гойи" и офорты "Ужасы войны" ассоциируются у А. Вознесенского с картинами ужасов нашей войны 1941-1945 годов. Ярким примером полного "обрусения" героев Сервантеса стала "Баллада о Дон Кихотах" Б. Окуджавы, к сожалению, не вошедшая в Антологию[1].

У Ю. Мориц коррида вызывает ассоциации с горьким опытом, пережитым нашей страной, с неправедным "судом коллектива": "Несчастный человек / стоит перед судом / угрюмого, большого коллектива, / где даже негодяй, злодей / уверен в том, что совесть у него / безгрешна и правдива".

Очевидное восхищение поэтов испанским танцем (причем таковым большинство считает только фламенко) дополняется единодушным осуждением корриды. Но танец этот у И. Бродского в "Испанской танцовщице" прочувствован и описан не просто с необычайной глубиной, но в точных определениях специалиста по фламенко — испанца: "О — слепок боли в груди и взрывы в мозгу", он "сросся с бездной", "в нем — все — угрозы / надеж-

1. Позволю все же себе процитировать известные первые строки этой баллады: "У Москвы у реки, в переулке Глубоком, / дульцинеи взирают из окон / ждут, когда возвратятся с работы / донкихоты..."

да, гибель". А "Бой быков" А. Кушнера тоже мог принадлежать перу испанца, именно такой бой мы видим в испанских офортах Гойи, рисунках Пикассо и Дали: "Я видел как смерть обижают шутя / Смеются над дикой, угрюмой, дремучей, / Как бы вокруг пальца ее обведя. / Запомню на всякий мучительный случай, / Как жарко горит золотое шитье, / Как жесты ее победителя ловки, / Как, мертвую, тащат с арены ее / В пыли и позоре на длинной веревке". Ощущение близости и сходства корриды и фламенко, присущее испанцам, отражено в стихах переводчика и поэта Валентина Парнаха, посвященных испанской танцовщице Лолите Линарес Кастро, где ее жесты сравниваются с жестами тореро, в прекрасном танце-корриде прорастает смерть.

"Песнь о Гарсиа Лорке" Н. Асеева словно написана самим Лоркой: "Шел он гордо, / срывая в пути апельсины, / и бросая с размаху в пруды и трясины; / те плоды под луною в воде золотели..." Ведь это почти дословная цитата из знаменитого стихотворения Гарсиа Лорки о том, как схватили Антоньито дель Камборьо: "Беспечный, на полдороге, / Нарезав лимонов спелых, / Он ими швырялся в воду, / Ее золотою сделав". (Стихотворение Лорки цитирую в переводе самого Асеева. — *Ю. О.*).

В нескольких стихах об испанской гитаре также заметно влияние Лорки и одновременно М. Цветаевой, в переводе которой его знаменитая "Гитара", узнаваемая по первым строчкам: "Начинается плач гитары / разбивается чаша утра..." — так полюбилась в России[1]. Федерико Гарсиа Лорка стал в СССР воплощением трагической судьбы поэта-мученика; тема гибели поэта — жертвы власти, столь близкая русскому национальному самосознанию[2], стала особой темой в русской поэзии XX века. В антологии представлены полтора десятка стихов, посвященных Ф. Гарсиа Лорке; при этом неудивительно, что большинство стихотворений, посвященных Лорке, написаны поэтами старшего поколения, чей опыт отражает непосредственную реакцию на события в Испании 1939 года. Однако представленные в антологии стихи о Лорке поэтов, родившихся после Гражданской войны в Испании, отражают скорее уже "унаследованную" боль по утрате и одновременно трепетное отношение к творчеству Лорки, знакомому русским по прекрасным переводам О. Савича, М. Самаева, А. Гелескула, С. Гончаренко. Так, Вл. Костров в стихотворении "Лорка", опубликованном уже в XXI веке, выразил отношение нескольких поколений русских читателей и поэтов к Лорке-ми-

1. Наверное, читатели полнее и острее ощутили бы выявленные Цветаевой смыслы строк испанского поэта и по-иному оценили место в творчестве М. Цветаевой двух выполненных ею переводов стихотворений Гарсиа Лорки — "Гитары" и "Селенья" — подлинных шедевров переводческого мастерства, если бы знали, что поэт создала их в 1941 г., за два месяца до своего самоубийства в Елабуге.
2. Неслучайно образ и судьба Ф. Лорки ассоциируются с судьбой О. Мандельштама у Ю. Мориц в "Главное — уметь договориться".

фологеме: "И обида далекая все угнетает. / Каждый день почему-то/душа виновата. / Мне, как счастья, / все время его не хватает. / Мне как правды, / все время его маловато / <...> Я ему поверяю / свою незадачу / <...> О, читаю и плачу, и снова читаю".

Испания у каждого поэта, без сомнения, своя, и пути к ней были разными. В антологии представлены широко известные поэты, которые много и успешно переводили стихи, драмы и прозу с испанского – начиная с К. Бальмонта и В. Брюсова, М. Цветаевой, Д. Самойлова, И. Бродского и заканчивая М. Самаевым, С. Гончаренко и Н. Ванханен. С начала XX века поэты продолжают пушкинскую традицию *авторских* переводов и созданий оригинальных произведений на основе архетипических образов. От "Каменного гостя" А. С. Пушкина русский путь лежит к демонически-романтическому Дон Жуану К. Бальмонта, к горькому русскому Дон Жуану 1917 года М. Цветаевой – "прекрасному и несчастному", лежащему "в снежной постели", затем к ироничному "Дон Жуану в Египте" Н. Гумилева и наконец сразу трем Дон Жуанам Д. Самойлова.

О них стоит сказать подробнее, так как в этих стихах заключены сразу несколько типов русских прочтений этой мифологемы: черты романтического байроновского образа заметны в незавершенных набросках "Юного Дон Жуана", известных последними строчками: "Едет он, отмечен Богом / И на пекло обречен, / И легендами оболган, / И любимыми прощен". А в 1974 году Самойловым был написан иронично-безысходный "Старый Дон Жуан" с трагическим концом: апокалипсическая бездна мрачного финала "Дон Жуана" В. А. Моцарта слышится в ответе черепа на вопрос: "Что там за гранью?" – "Тьма без времени и воли". Нельзя не упомянуть, что первый Дон Жуан Самойлова написан в 1938 году – это ехидный, иронично-комический "Конец Дон Жуана" с участием Мефистофеля.

Русский поэтический Дон Жуан – необычное явление, это плод русской рефлексии по поводу европейского опыта освоения образа в разные эпохи, а, следовательно, результат взаимопроникновения нескольких национальных и культурных традиций. Это испанец, в интерпретации характера которого русские поэты опираются не только и не столько на испанский оригинал – средневековые легенды или драму Тирсо де Молины "Севильский насмешник, или Каменный гость" начала XVII века. В русском Дон Жуане мы находим черты Жуана Байрона и Гофмана, Мольера и Моцарта. Пушкинский Гуан[1], по-

1. М. П. Алексеев в работе "Из истории русско-испанских литературных отношений XVI – начала XIX века" отмечает, что Пушкин знал название пьесы де Молины из Вольтера и использовал именно его, а главным источником трагедии считает оперу Моцарта. Однако Алексеев справедливо замечает, что источником повести Гофмана "Дон Жуан" тоже была опера Моцарта, но трактовка образа у Пушкина и Гофмана – прямо противоположны. "Русская культура и романский мир". – Л., 1985, с. 158.

жалуй, стал архетипом для русского Жуана, и не потому, что он известнее и доступнее, в нем читатель видел жизнеутверждающую силу любви наперекор преградам, суевериям, деспотизму церкви, гимн чувственной любви даже за последней чертой. Последняя строка трагедии вдохновила не одного русского поэта на собственную трактовку "вечного сюжета" с использованием пушкинских слов: "Я гибну — кончено. — О Дона Анна!" В антологии есть несколько вдохновленных Пушкиным стихов, и в том числе, содержащих прямую цитату из "Каменного гостя": например, в стихах Ю. Левитанского 1991 года "Жить среди книг..." находим: "...все кончено, я гибну, донна Анна!"

В русском Дон Жуане XX века не так много черт мольеровского повесы Жуана, в нем скорее — глубина трагической любви Дона Гуана Пушкина, причем черты пушкинского Гуана дополняются моцартовским вселенским масштабом трагедии героя, бросившего вызов судьбе. Не случайно, столько стихотворений посвящено командору и донье Анне, еще одна русская черта — множество стихов о старом, одиноком, несчастном и страдающем Дон Жуане. Образ севильского соблазнителя оказывается нагружен столькими смыслами в русской традиции, что поэты поверяют его, сталкивая с другими архетипическими образами — Кармен (у Цветаевой) и Мефистофелем (у Самойлова). Дон Жуан — бесспорно, самый противоречивый и сложный для русской культуры образ, он еще в развитии[1], он все еще "становится" (подобно тому, как верно заметил М. Мамардашвили: "Человек не существует, он — становится").

Трактовка образов Кармен и Дон Кихота в России кажется более устоявшейся и однозначной, хотя стихов, посвященных этим персонажам, огромное количество. Но вот почему они в России такие — это интересно. Мотивы трактовки этих образов у нас, естественно, разные: восхищенные Испанией французы Мериме и Бизе подарили миру неистовую испанку — воплощение любви и вольности, причем влияние изобразительного и музыкального ряда на сложившееся восприятие этого образа во всем мире трудно переоценить. Знаменитый испанский танцовщик фламенко и балетмейстер Антонио Гадес, поставив свой балет "Кармен", хотел вернуть героиню, танцующей фламенко, на родную почву и вернул ее с музыкой гениального испанского гитариста фламенко Пако де Лусия. Но и он все же не обошелся без музыки Бизе, тема Бизе и финальная ария Кармен стали кульминацией вольной экранизации балета Гадеса в фильме "Кармен" Карлоса Сауры.

В русской поэзии XX века Кармен и хабанера из оперы

1. Любопытную трактовку старого Дон Жуана предлагает О. Хлебников в "Серенаде старого Дон Жуана" 2005 г., сравнивая героя-любовника со старушками-сплетницами на лавочке у подъезда, тайком благословляющих "юных и сплошь бесстыдных".

Бизе почти всегда в одном ассоциативном ряду. И блоковский цикл "Кармен" и четыре "Хабанеры" Северянина тому яркое подтверждение. Но есть и другая Кармен, которая все-таки *вернулась* в Испанию в стихах Ф. Лорки, и это не Кармен Мериме, а танцующая на улицах Севильи светловолосая красавица из "Танца" ("В Севилье танцует Кармен"). Героиня стихов О. Шевченко – "Кармен" именно эта – Лорки, что подтверждает эпиграф из этого стихотворения поэта: "...змея в волосах желтеет". Но вот то, что Кармен у Шевченко вдруг оборачивается шолоховской Аксиньей – это новое развитие мифологемы на русской почве: "Боже мой, что ты делаешь с миром, / как мешаешь ты чет и нечет! / Обернувшийся Гвадалквивиром / тихий Дон под тобою течет".

Интерпретация Достоевским Дон Кихота[1] не только повлияла на русскую трактовку образа, но и на общеевропейскую в целом и испанскую в частности. Она вернулась в Испанию отраженным светом в образах героев Достоевского, и прежде всего в князе Мышкине. Неслучайно в поэме-мистерии Бродского "Шествие" князь Мышкин "ковыляет" рядом с "неустрашимым рыцарем" Дон Кихотом. Дон Кихот, став кумиром и пророком нового времени в России XIX века, в веке XX становится почти национальной идеей, воплощением романтического служения благородным идеалам и нестяжательства, мифологемой вполне созвучной меняющимся контекстам века: и новой идеологии сталинских времен, и романтизму 60-х, и возрожденным христианским идеалам. Вместе с тем оценки рыцаря печального образа у русских поэтов XX века все же разнятся, причем даже в творчестве одного поэта эти оценки пересматриваются на протяжении его жизни. Пример П. Антокольского в этом отношении очень показателен: на протяжении 50 лет он обращается к образу Дон Кихота, по крайней мере, трижды: в 1920 году со злобой называет его "старой карикатурой", а в 1969-м с горечью восклицает: "Да здравствует вне категорий / Высокая роль чудака!"[1]. Популярность спектаклей и фильмов о Дон Кихоте в СССР, а потом в России на протяжении всего XX века – свидетельство превращения рыцаря печального образа в культовую фигуру. Во многих стихах антологии в описаниях Дон Кихота также заметно влияние запечатленного в сознании нескольких поколений читателей изобразительного ряда – и по сей день не утративших своей актуальности знаменитых иллюстраций Г. Доре.

1. Квинтэссенцией этой интерпретации стали известные строки из "Дневника писателя" Ф. М. Достоевского за 1876 г.: "Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь у людей: "Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?" – то человек мог бы молча подать Дон-Кихота..."

1. Подробнее об этой метаморфозе см. предисловие к антологии Т. Балашовой. С. 19.

"Испанское" давно стала частью нашей национальной культуры, мы живем в однажды *открытом* нами мире Дон Кихота и Дон Жуана, Эль Греко и Веласкеса, обостренно воспринимая испанское искусство, судьбу страны в целом и тех, кто ее прославил. А вот то, что Испания могла стать для поэтов личной судьбой — иногда в результате грандиозной мистификации, как это стало с Черубиной де Габриак, или виделась судьбоносной в силу стечения жизненных обстоятельств либо духовной близости мировосприятия поэта испанскому, как это было с Б. Ахмадулиной, — тема чрезвычайно интересная. Примечания составителя к стихам Черубины де Габриак — законченное исследовательское эссе в миниатюре — позволяют понять эту сторону русской поэтической "испаномании". А вот комментарий к стихам Ахмадулиной, к сожалению, в это издание не вошел, остается надеяться, что и он, равно как и многие другие результаты исследовательской работы Т. В. Балашовой, опубликованные в ряде статей, дополнят следующее издание этой антологии[1]. Известно, что в своей судьбе Ахмадулина ощущала влияние Испании, о чем она, в частности, упоминает в своей поэме "Моя родословная".

Мистическим видением судьбы Испании оказался наделен М. Светлов, поскольку довольно тяжело рационально объяснить содержание написанной им в 1926 году "Гренады" за 10 лет (!) до начала гражданской войны в Испании, также необъяснима и достоверность ряда деталей, точно передающих суть испанского характера в стихах поэтов, никогда не бывавших в Испании.

Крылья Европы — Испания и Россия — благодаря гению своих писателей, Сервантеса и Кальдерона, Достоевского и Толстого, дали миру новые ценностные ориентиры. Еще в XIX веке Достоевский увидел в Дон Кихоте Сервантеса воплощенный горький опыт человечества, а русские поэты XX века, как легко убедиться, читая стихи, представленные в антологии, "чистили" себя не "под Лениным", как написал когда-то В. Маяковский, а под Дон Кихотом и Федерико Гарсиа Лоркой, исповедуя идеи служения прекрасному и жертвенности.

1. Антологии "Испанские мотивы в русской поэзии XX века" присуждена премия Ассоциации Книгоиздателей России и московского БЮРО ЮНЭСКО в номинации "Лучшая книга 2011 года, вносящая вклад в диалог культур".

Адам Фоулдз
Adam Foulds
[р. 1974]. Английский писатель и поэт.

Автор романа *Правда об этих странных временах* [*The Truth About These Strange Times*, 2007] и романа в стихах *Нарушенное обещание* [*The Broken Word*, 2008]. Роман публикуется по изданию *The Quickening Maze* [London: Jonathan Cape, 2009].

Томас Хюрлиман
Thomas Hürlimann
[р. 1950]. Швейцарский писатель и драматург, лауреат многих премий, в том числе литературной премии Фонда Конрада Аденауэра [1997], Золотурнской литературной премии [1998], премии имени Жан-Поля [2003], премии *ЛитераТур Норд* [2007], премии имени Херберта Хаага [2010].

Автор сборников рассказов *Тессинка* [*Die Tessinerin*, 1981] и *Прыжок в корзину для бумаг* [*Der Sprung in den Papierkorb*, 2008], повестей *Беседка* [*Das Gartenhaus*, 1989] и *Фройляйн Штарк* [*Fräulein Stark*, 2001; рус. перев. 2004], романов *Большой кат* [*Der große Kater*, 1998] и *Сорок роз* [*Vierzig Rosen*, 2006; рус. перев. 2007], книги *Песня отчизны. Все пьесы* [*Das Lied der Heimat. Alle Stücke*, 1998] и др.
Рассказы печатаются по книге *Вечерняя чарка. Рассказы за тридцать лет* [*Dämmerschoppen. Geschichten aus 30 Jahren*. Zürich: Ammann, 2009].

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008], премии имени Жуковского [2010].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, произведения К. Крахта, А. Шмидта, А. Дёблина, Т. Бернхарда, Г. Йонке и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Анна Холландер
Anne Hollander
Американский историк, искусствовед, художественный критик, член научного общества Института гуманитарных наук в Нью-Йорке.

Автор книг *Секс и костюмы* [*Sex and Suits*, 1994], *Пища для ока: эссе* [*Feeding the Eye: Essays*, 1999], *Фабрика взгляда: одежда и драпировка в живописи* [*Fabric of Vision: Dress and Drapery in Painting*, 2002] и др.
Текст публикуется по изданию *Seeing Through Clothes* [Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1993].

Цзи Чэн
[1582–1642]. Китайский художник, архитектор.

Занимался устроением садов в Южном Китае. Секреты своего ремесла записал в *Устроении садов* [1631] – первом трактате о садово-парковом искусстве.

Текст печатается по изданию Цзи Чэн *Юаньечжуши* / Под ред. Чэнь Чжи [Пекин: изд-во Чжунгодзяньчжугуньечбаньшэ, 2006].

Джон Берджер
John Berger
[р. 1926]. Прозаик, поэт, арт-критик, художник, драматург и сценарист. Лауреат Букеровской премии [1972].

Автор романов *Художник нашего времени* [*A Painter of Our Time*, 1958], *G.* [1972], *От А до Я* [*From A to X*, 2008] и др., многих сборников эссе, в том числе *Время кубизма и другие эссе* [*The Moment of Cubism and Other Essays*, 1969], *Способы видеть* [*Ways of Seeing*, 1972], *О взгляде* [*About Looking*, 1980], *Здесь нам суждено встречаться* [*Here Is Where We Meet*, 2005], *Блокнот Бенто* [*Bento's Sketchbook*, 2011].
Публикуемые рассказы взяты из книг *Здесь нам суждено встречаться* [*Here Is Where We Meet*. London: Bloomsbury, 2005], *Блокнот Бенто* [*Bento's Sketchbook*. Brooklyn: Verso, 2011].

Полина Сергеевна Козеренко
Переводчик с польского и чешского языков.

В ее переводе изданы книга М. Щигела *Готтленд*, рассказы В. Береся, Я. Мельхиора, Я. Л. Вишневского. В *ИЛ* в ее переводе опубликован очерк Я. Ю. Щепанского *Майя* [2007, № 12], главы из книги М. Щигела *Готтленд* [2009, № 1], репортаж В. Тохмана *Бешеный пес* [2011, № 10], а также статья *Литература в свете лампы* [2011, № 10].

Мариуш Щигел
Mariusz Szczygieł
[р. 1966]. Польский журналист, писатель, лауреат многих наград за репортажи и телевизионные ток-шоу.

Автор многочисленных репортажей в прессе, сборников репортажей *Воскресенье, которое случилось в среду* [*Niedziela, która zdarzyła się w środę*, 1997], *Сотвори себе рай* [*Zrób sobie raj*, 2010] и др. В *ИЛ* опубликованы фрагменты его книги *Готтленд* [2009, № 1].

Гана Бенешова
Журналист.

Сотрудничает с журналом *Рефлекс*.

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Юлия Леонардовна Оболенская
Доктор филологических наук, заслужен-

Автор более 115 научных работ, пособий, монографий, в том числе *Мифы и легенды народов Испании* [2004], *Диалог культур и диалектика перевода. Судьбы произведений русских писателей 19 века в Испании и Латинской Америке* [1998], *Художественный*

ный профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ, руководитель "Центра иберо-романских исследований". Известный испанист, переводовед, культуролог, исследователь испанской культуры и языковых взаимосвязей.

перевод и межкультурная коммуникация [2010], научных и научно-популярных статей, а также статей энциклопедических.

Переводчики

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого, польского и испанского языков. Кандидат психологических наук, доцент МГУ. Лауреат конкурса Британского совета по переводу британской поэзии [2005].

Автор книги стихов *Mezzo Forte* [2001]. В *ИЛ* публиковались ее переводы стихотворения А. Э. Хаусмана [2006, № 6], новеллы Д. Болджера *Улицы Марты* [2007, № 6], рассказа К. Карсон *Выгодная сделка* [2007, № 6] и пьесы С. Дагдейл *Подобия* [2009, № 1].

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения М. Бадрожич, У. Кольбе, Р. Леттау, Л. Тролле, К. Хайна, Т. Хетхе, П. Хэртлинга, Т. Хюрлимана, В *ИЛ* в его переводе напечатаны эссе Х. М. Энценсбергера [1994, № 9, 1995, № 6, 1997, № 9], П. Бикселя [2002, № 9], У. Видмера [2006, № 6], А. Коллерича [2006, № 6], фрагменты книги В. фон Штернбурга *Как будто всё в последний раз* — о жизни и творчестве Э. М. Ремарка [2000, № 10], повесть Ю. Амана *В поисках блудного сына* — о жизни и творчестве Р. Вальзера [2007, № 7], несколько миниатюр Р. Вальзера [2007, № 7], роман Г. Кляйна *Либидиссе* [2008, № 6] и др. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*.

Вадим Юрьевич Михайлин
[р. 1964]. Антрополог, переводчик, культуролог, литературовед, профессор

Автор книги *Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции* [2005], многих статей по исторической антропологии, теории и истории литературы и культуры. В *ИЛ* в его переводе публиковались отрывки из путевой прозы И. Во

Саратовского госуниверситета, директор Лаборатории исторической, социальной и культурной антропологии.

[1999, № 2], проза Дж. Барта [1999, № 5] и Г. Стайн [1999, № 7], *Литературные гиды*, посвященные жизни и творчеству Г. Стайн [1999, № 7] и Л. Даррелла [2000, № 11], короткая проза Б. Маркуса [2004, № 4].

Елена Андреевна Кузьмина

Преподаватель китайского языка. Специалист по садово-парковому искусству Китая.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Асланян

Журналист, переводчик с английского. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2010].

Переводила современных английских и североамериканских писателей: З. Смит, Дж. Летема, Р. Лиддла, А. Смит, М. Галлант, Т. Маккарти, П. Акройда, М. Эмиса и др. Совместно с Р. и Э. Чандлер работала над переводом на английский повести В. Гроссмана *Все течет*. В *ИЛ* в ее переводе публиковались рассказы М. Галлант [2006, № 11; 2008, № 7]. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Старого Света*.

[7] 2012

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР "ЖЕЛАНИЙ СВОЕВОЛЬНЫЙ РОЙ". ЭРОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. XV—XXI ВВ.: СТИХИ ПЬЕРА ДЕ РОНСАРА, ЖАНА ДЕ ЛАФОНТЕНА, ПОЛЯ ВЕРЛЕНА, ПЬЕР-ЖАНА БЕРАНЖЕ, ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ, ЖОРЖА БРАССЕНСА И ДР. / РАССКАЗЫ ГРАФА ДЕ МИРАБО, РЕТИФА ДЕ ЛА БРЕТОННА, КОЛЕТТ И ДР. / ЭССЕ БОРИСА ВИАНА, НАДИН БИСМЮТ И ДР.

В оформлении обложек использованы картины китайских художников Ли Куэя [*Зеленые горы в лучах заходящего солнца*, период династии Цин (1644–1911)]. Лэн Мэя [*Летняя императорская резиденция Бишушанчжуан* (в Чэндэ, провинция Хэбэй), период ранней династии Цин], Лю Чжэньчуна [*Горы и реки*, 1809–?)], Яо Вэньханя [*Четыре сезона*, эпоха правления цинского императора под девизом Цяньлун династии Цин].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

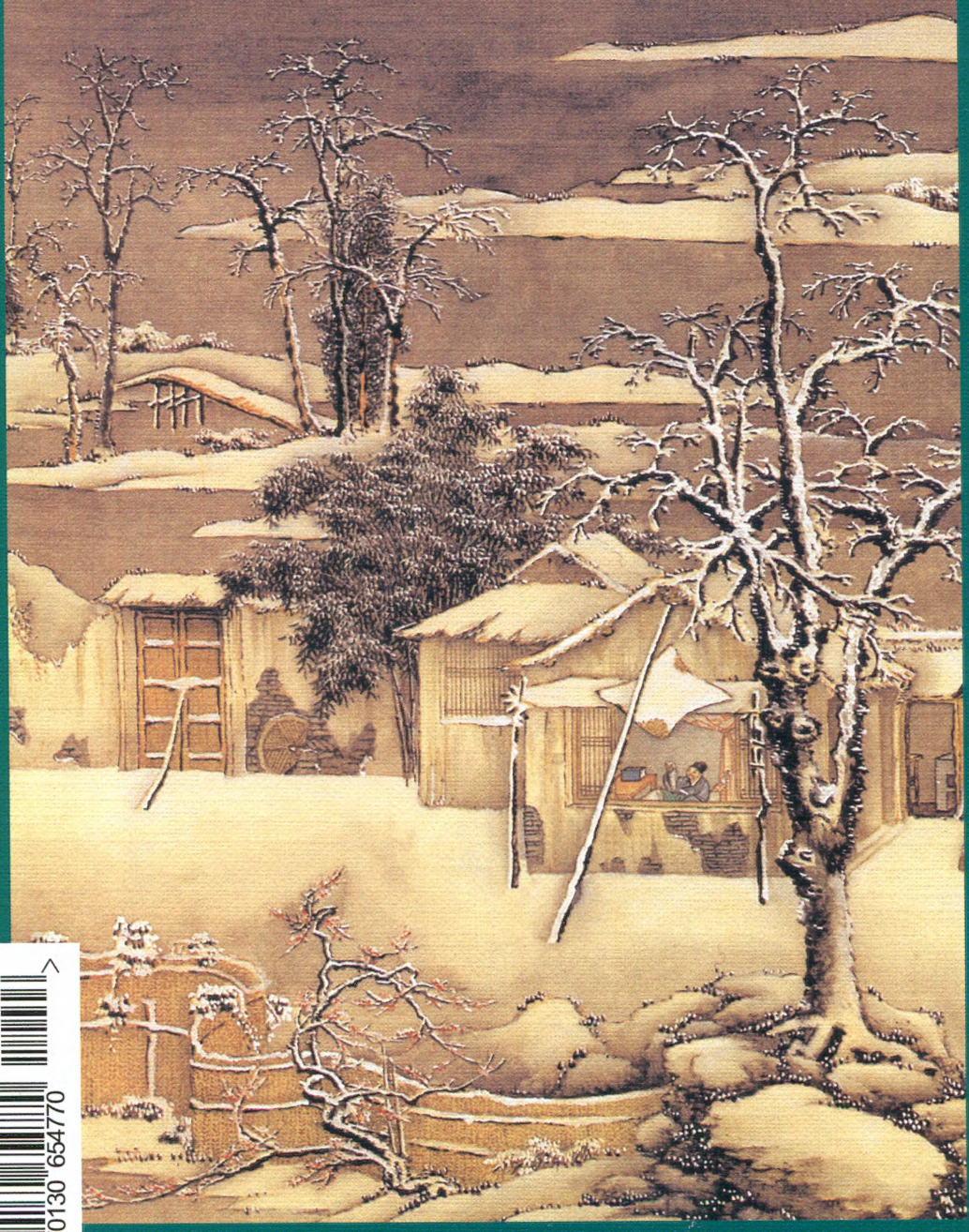
Подписано в печать 15.05.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 91.
Тираж 5500 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ISSN 0130-6545

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41



ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2012, №6. 1-288

ISSN 0130-6545 12006
9 770130 654770